

Посвящается моему мужу
Юрию Вербицкому

Судьба семьи в судьбе страны

Ольга Сидельникова-Вербицкая

«НА ЧТО ДУША МОЯ ОГЛЯНЕТСЯ...»

Париж
Санкт-Петербург
2017



МЕНЯ ЗДЕСЬ РУССКИМ ИМЕНЕМ КОГДА-ТО НАРЕКЛИ...

В моей книге нет вымысла, это правдивый рассказ о России. Здесь я родилась и жила. Как и мои предки, которые были русскими людьми, испокон веков жили на своей земле и другой судьбы не желали. Да только «человек предполагает, а Бог располагает», путанная русская судьба разметала многих моих родичей по белу свету, и последний их приют оказался на чужбине.

А мне от рождения выпал неутомимый интерес к своим корням, я услышала голос прошлого. Пращуры мои словно просили сыскать их следы, вернуть память о них на родину. И я тронулась в путь. Я шла к ним всю жизнь через историю моей страны, пробиралась через дремучие леса и болота российской жизни. Шла по своей родословной, по следам великой и грозной русской истории, которые уводили меня в чужие заморские земли. Наверное, Промысел Божий вёл меня и не дал мне сбиться с дороги.

Моя жизнь и судьба моих родных сложились в историю моей страны, неразрывно и пронзительно соединились мы с судьбой России, но я не претендую на исторический анализ событий, мой интерес — «кровный». Большая часть пути мной уже пройдена. В конце дороги я просто хочу оглянуться на заповедную, сказочную мою страну Россию. Полюбовать-

ся, поклониться с благодарностью, от всего сердца сказать ей слова прощения и прощания ...

...Книга эта для тех, кто любит невыдуманные истории, не сказки, а — сказы. Мой сказ начнётся с зачина. Он перенесёт моего читателя на сто пятьдесят лет назад, в северные края, в село Архангельское, что расположилось близ города Вологда. Тут, возле храма Архангелу Михаилу, в деревянном и простом доме проживает с семьёй мой прапрадед, священник Николай Елевфертьевич Монастырёв. Вот он сидит, перебирая какие-то бумаги. Из невысокого окна виден ему зелёный спуск к речке Богтюга. Дальше, на другом её берегу, луга и лес... Скоро надо идти в храм, на вечернюю службу, а пока у отца Николая есть немного времени для воспоминаний и раздумий. Спокойный, уходящий в вечность час...

Отсюда, с этого момента, и начнётся мой рассказ, мой путь, моя жизнь. Ну, с Богом!

Часть первая. ПРИБЛИЖЕНИЕ

НА РЕКЕ БОГТЮГЕ. 1863 год

Это море, великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малыя с большими; там — плавают корабли...

Псалом Давида о сотворении мира.

Отец Николай имел обычай не выбрасывать старые бумаги. За жизнь накопилось предостаточно всякой корреспонденции, журналов, газет... Впрочем, это, должно быть, многие люди сохраняют, а вот листки, пусть даже порванные и помятые, «закаляканные» первыми детскими рисунками, неуклюжими буквами и цифрами, оставляют на память только люди чувствительные, выражаясь светским языком, — сентиментальные. Эту черту в себе отец Николай знал, но школьные тетради пятерых своих детей хранил скорее из педагогических соображений.

«Как рано виден будущий человек, — думал он, перебирая внушительную стопу, — все черты характера заложены с малолетства, ребёнок всё пускает в ход с первых своих дней. Всё испробует: и нетерпение, и гнев, и дерзость. Тут уж не прозевать родителям, педагогам, да и священнику тоже работу с ребятишками упускать никак нельзя. Две старшие

дочки-погодки, Анечка и Юля, всё делали сообща и почти одинаково. Вот и почерк у той и другой — не отличишь, изящный, бисерный. Таки-ми вот и выросли: барышни скромные, но со вкусом весьма утончённым. Знакомые называют их «оригиналками» за привычку одеваться в одинаковые платья и всюду появляться вдвоём. С болезнью матери, конечно, всегдашняя их весёлость поубавилась, он видел недавно, как сидели они рядышком, молча, с заплаканными глазами... Соня — та совсем другая. На неё управу найти нелегко, всегда быстрая, резкая, своенравная. Не просто она доставалась матери, ему приходилось часто вмешиваться, успокаивать жену, объясняться с педагогами. «Опять, Сонюшка, рвёшь удила?», — спрашивал он свою норовистую дочку, но добиться от неё раскаяния в содеянном было нелегко. Теперь Соне исполнилось девятнадцать, но в доме несчастье, порядок жизни нарушился, и вся надежда у него на старших сестёр, и, особенно, на сына Александра. Тот хоть и моложе Сони, но он единственный в семье, кого она слушает. Александр всегда был разумен и терпелив. С малых лет обращал на себя внимание своим умением основательно и досконально во всём разобраться, внимательно выслушать, принять собственное решение. В духовном училище был первым учеником, теперь вот переведён уже на высшее отделение Вологодской духовной семинарии, опять с хорошими отзывами об успехах и поведении. Бог даст, отец Николай увидит Александра рукоположенным в священники, а вот жена...

Хотя, что и говорить, Александр удался в мать. В детстве он так любил бывать с ней, заслушивался её рассказами, сказками до позднего часа. А она умела и любила рассказывать, всякая история у неё оживала, дополнялась интересными подробностями, деталями, которые только она и умела подмечать. Ариадна Аркадьевна любила читать и детей своих рано обучила грамоте, она обладала прекрасным, образным русским

языком, — Александр перенял эту черту. Как это пригодится ему на жизненном поприще!.. Младшему сыну Николаю уготовано то же будущее, хоть Коля и не так способен, как Александр. В семинарию он только что поступил, впереди пять лет непростой учёбы, пусть старается, тем более, что отец учит сыновей на свои средства. А у Монастырёвых, так уж семейно сложилось, деятельность связана с церковью. Брат, покойный Варфоломей, был пономарём Ильинской церкви, как и отец их, Елевфертий. У Варфоломея тоже пятеро детей, две дочери, Геннафа и Валентина, давно замужем, сыновья Андрей и Николай — семинаристы Вологодской духовной семинарии, младший Евгений — в духовном училище. Брат умер рано, жена его, Павла Васильевна, одна детей вытягивала, немного они с Ариадной помогли, а учились дети, как и положено сиротам, — бесплатно.

Отец Николай перебирал стопу бумаг, не спеша и с удовольствием. Именно в эти минуты многое он додумывал, осознавал окончательно, или вдруг появлялась некая совсем новая мысль-идея, во всяком случае, разбирать архив было небесполезно. В который раз ему захотелось приняться за родовую семейную историю, записать всё, что помнил из рассказов отца, деда. Откуда, когда и от кого пошли Монастырёвы, какого беспокойного и не робкого нрава были они, как подняла, возвеличила их судьба, а затем и покарала страшно. И сквозь историю монастырёвского рода проступит история России... Он уже подбирал необходимое для этой работы, совсем, было, решал начать, но всё что-то мешало. Теперь вот болезнь жены... Отец Николай взял в руки журнал «Вологодского уезда клировые вести», полистал. Журнал был за 1850 год, то есть двенадцатилетней давности. Нашёл место, где шли сведения о Богтюжской Михайло-Архангельской церкви, в которой он скоро четверть века, как состоит священником. Открыл на закладке место, где было писано про него

самого. Это хорошо подойдёт для начала книги, как-никак, но надо ведь будет дать сведения об авторе...

«...Священник Николай Елевфертьев Монастырёв, Вологодского уезда Никольской Харитоньевской церкви пономаря сын. По окончании курса вологодской семинарии уволен (выпущен) с аттестатом 1-го разряда.

С 8 сентября 1838 года по 25 февраля 1839 года был лектором по классу греческого языка в 1-м низшем курсе вологодской семинарии.

С 16 апреля 1839 года посвящён в сей, Михайло-Архангельской, церкви в священники и грамоту имеет.

За честное поведение, усердную и ревностную службу 14 сентября 1847 года награждён набедренником... Жена Ариадна Аркадьевна 28 лет... Священнику Аркадию Дмитриевскому он — зять. Судим и оштрафован не был...»

Отец Николай глянул за окно, туда, где начинался спуск к реке Богтюге. Ему показалось, будто он видит, как по лугу возвращается с прогулки жена с детьми. У девочек венки на головках, мальчики на ходу мастерят что-то из прутьев... Будто вчера всё это было... Бог весть, напишет ли он свои воспоминания, время летит, всё меняется. А хотелось бы оставить внукам и правнукам семейную историю про древний и славный род Монастырёвых... Чтоб помнили. Чтобы гордились. Бог даст, род их продлится, будут и внуки, и правнуки.

Какими они будут? Какой будет Россия?

МЕСТО И ВРЕМЯ МОЕГО РОЖДЕНИЯ

Рыдают гуси, клином размежив
Поля небес, изрытых облаками.
Моя душа над родиной летит,
Обняв её бесплотными руками.

Алексей Шадрин

Стоял октябрь 1941 года, холодное и страшное время, уже четвёртый месяц шла война, фашисты стояли под Москвой. Действие происходило в 20 километрах от столицы, в небольшом городке Балашиха. Зима в тот год началась непривычно рано, морозило и выпал первый снег. Жителей уведомили, что если немцы возьмут Москву, — будет взорвана балашихинская хлопкопрядильная фабрика. Люди спешно покидали город, что возможно — забирали с собой, везли на санках. В основном те, кто жил рядом с фабрикой. Моя же мама, наоборот, направлялась, трюхая осторожно, в сторону опасного места. Мама шла в больницу рожать меня.

Окружающий мир был почти таким, каким виделся тургеневскому герою в рассказе «Призраки», — и в этот мир я готовилась прийти.

«...Мы летели тише обыкновенного, и я имел возможность уследить глазами, как постепенно разворачивалось передо мною, подобно свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Леса, кусты, поля, овраги, реки — изредка деревни, церкви — и опять поля, и леса, и кусты, и овраги... Грустно стало мне и как-то равнодушно скучно. И не потому стало мне грустно и скучно, что пролетал я именно над Россией. Нет! Сама земля, эта плоская поверхность, которая расстилалась подо мною, весь земной шар с его населением, мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха, эта хрупкая, шероховатая кора, этот нарост на огненной

песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим, растительным царством, эти люди — мухи, в тысячу раз ничтожнее мух, их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, однообразной возни, их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным — как это мне вдруг все опротивело! Сердце во мне медленно перевернулось, и не захотелось мне более глазеть на эти незначительные картины, на эту пошлую выставку...»

Москву бомбили, мама видела в большом больничном окне всю картину воздушного боя, небо вспыхивало, слышались разрывы, частая стрельба. Каждый миг мог стать последним, но не стал. Мама благополучно произвела меня на свет Божий, через два дня по несвоевременному морозцу потопала обратно домой с маленьким свертком в руках. Дом, где жила моя семья, был оставлен людьми, в комнате было холодно. Я согревалась маминым теплом, ее молоком, а мокрые пеленки она сушила на груди. Господь был милостив, Он дал маме силы...

Городок наш Балашиха — милое Подмосковье. Река Пехорка — вполне полноценная, настоящая река. В 1830 году князь Трубецкой решил построить вместо мельницы у большой плотины маленькую суконную фабрику. Следующий хозяин перестроил её под производство хлопчатобумажных тканей, были выписаны машины из Англии и мастер для их налаживания — Майкл Лунн. Было это в 1850 году, а затем Лунн стал директором фабрики, оставался им до дня своей кончины, до 1895 года, и за этот промежуток построил нашу Балашиху. Им были выстроены казармы, больница, богадельня, клуб. Всё из красного кирпича, с толстыми стенами, по виду — на века.

Таинственный англичанин занимал моё воображение с детства. Фамилия его запоминалась сразу: Лунн, луна, лунатик.... Но лунатиком хозяйственный и дальновидный англичанин не был, он всё рассчитывал с умом.

Казармами назывались дома для рабочих фабрики, — длинные коридоры, комнатки-каморки. В каждой могла жить семья или одинокие люди. Иногда комнатку делила простыня, жильцы-соседи назывались тогда «каморочные». Полы в коридорах были асфальтовые, тёплые, в большой общей кухне орудовала нанятая стряпуха, варила ушедшим на смену щи да кашу, ставила и снимала с печи чугушки, помешивала варево, чтобы не пригорело, укрывала, чтобы не остыло. А в подвале казарм устроены были прачечные — приходи, стирай, суши. Такой вот нехитрый, но предусмотренный во всех отношениях быт.

Способных молодых рабочих хозяин посылал учиться в Англию, так что техники и инженеры на фабрике были свои, доморожденные, из тех же казарм. Дело Лунна-отца в том же направлении продолжали его дети.

Во время революции 1905 года, под влиянием пропаганды, рабочими фабрики было решено, что Лунны — кровопийцы и эксплуататоры, и что следует-де выдвинуть им требования. Но — какие? Трудящиеся долго чесали в затылках и, вероятно, это действие навело их на счастливую мысль. Они потребовали сменить в бане шайки, то есть тазы: не желаем, мол, мыться в железных, подавайте, эксплуататоры, медные! Хозяева тазы поменяли, но дожидаться финала этой неумной русской кутерьмы не стали — отбыли обратно в Англию.

...А Майкл Лунн похоронен возле Никольской церкви, над рекой. Место высокое, оттуда как на ладони — его родная фабрика, его детище, а ещё виден его большой деревянный дом на берегу, в старом липовом парке. Он был выстроен Лунном прямо напротив фабричных корпусов, до него долетали все производственные звуки: и гудок высокой трубы, зовущей рабочих на смену, и чёткий ритм ткацких станков. После отъезда хозяев в Англию, то есть после революции, там поселились учителя

балашихинских школ, в каждой комнате — по семье, получилась такая вот учительская казарма.

В одной такой комнатке жила наша семья. Октябрьским днём 1941 года мама принесла меня в стены этого дома, пустого и холодного. Папа мой был на фронте, старшая сестрёнка, почти пятилетняя Инночка, — у бабушки. Моя жизнь началась в бывшем поместье человека, которого судьба из туманного Альбиона занесла в маленький русский город, и хоть к тому времени, о котором пишу, дом стал советским общежитием, имиджа своего он не утратил.

...На просторных, обращённых к реке террасах всё ещё стояла белая плетёная мебель. Останавливала, заставляя любоваться собой, лестница, чугунная, узорного литья. На дверях и окнах сохранились ещё медные, нежные на ощупь ручки, и почти в каждой комнате сохранилась какая-то от прежних времен мебель. В нашей комнате остались секретер, комод и похожий на трон дубовый стул.

Весь этот дворянский антураж влиял на жильцов дома. Они любили неторопливые прогулки под липами, гамаки, качели, беседы у реки тихими летними вечерами, любительские спектакли. Удивительные стрекозы — большие, сильные, искристые садились, не боясь, на плечи. Неповторимый речной аромат окружал наш дом, вода у берега к середине лета зацветала, на влажный песок выползали пирамидки улиток...

Много позже, слушая мамины рассказы о том, что было «до меня», я поняла, что дом не так-то уж и преображал своих новых обитателей, они были ему родными по происхождению и товарищами по несчастью. Это были осколки «старого мира» — все те, кто не смог или не захотел уехать, остался в России, и кого почему-то до поры до времени пощадила судьба. Бывшие кадеты, выпускники университета, военные инженеры и дети священников сделались школьными учителями. Маленькое жалование и

крошечные комнатки не огорчали — слишком многое было у них на памяти. Наверное, им казалось, что они скрылись от зорких глаз новой власти, что о них забыли. Увы, они ошибались.

Николай Павлович Королёв, с выправкой военного, преподавал географию. Прямой и чёткий, он проходил через кухню на первом этаже, направляясь в свою комнату, где обитал с супругой Марьей Ивановной и дочкой-школьницей по имени Революция. В праздники Королёвы принимали гостей, любили петь хором песни прошлых лет, особенно одну — «Быстры, как волны дни нашей жизни». В самом начале войны Николай Павлович и Марья Ивановна исчезли за одну ночь. Распространился слух, что пионерка Революция повторила подвиг Павлика Морозова, то есть донесла на папу и маму «куда надо». Было ли это правдой — неизвестно, так как девочка тоже исчезла следом за родителями.

За стеной, рядом с нами, проживала Ольга Алексеевна Смирнова. По утрам она занималась вокалом, нажимала клавиши пианино и вторила им высоким голосом. Это сохранилось в моей детской памяти. Позднее, я узнала о событиях, которые произошли в доме до моего рождения...

Когда мама, став женой, пришла в дом над рекой, она сразу стала заметной фигурой среди жильцов лунновского поместья. Гладко зачёсанные русые волосы, собранные в большой пучок, большие зелёные глаза, крупный нос, пышные губы, и хозяйка отличная!

Бегаёт фигуристая Клавдия Фёдоровна со второго этажа в кухню, что на первом, вынимает из духовки горячие душистые пирожки на противне и несёт быстренько к себе в комнатку, мужу. А запахи-то — по всему дому! А жильцы непролетарского происхождения такой хозяйственной хваткой похвалиться не могут. Мама обстоятельство это учитывает, угостит соседей обязательно. К Смирновым сама в дверь постучит: угощайтесь, Ольга Алексеевна, это Вам и супругу. А супруг Ольги Алексеевны,

Константин Алексеевич, пирожок тут же разломит горячий: ох, хорош, с грибами! Маме моей и смешно и досадно, рассказывает потом папе: пироги-то с мясом, а они распробовали, что с грибами... Папа улыбается, жена у него молодая, почти на десять лет моложе. Сядут на диван, он рассказывает: я Константина Алексеевича давно знаю, ещё по Малоярославцу. В 19-ом меня мобилизовали в Красную Армию, он у нас военную подготовку вёл. Сухощавый, с бородкой, бывший царский офицер. Мне шестнадцать было, да и другие тоже не старше. Мы все ему подражали... А как он лошадей понимал! Мама слушает, кивает, рада, что сидят они вот так рядышком с мужем, с дорогим её Ростиком, с уважаемым школьным завучем Ростиславом Семёновичем.

Она его сразу, как увидела, так и заметила. Он часто ходил мимо окна, где они с подругой по техникуму жили. Она в окно на него смотрела, пока река не замёрзала, а зимой он ходил на работу другой дорогой — через замёрзшую речку. Мама его везде замечала, в магазине, в столовой... Он на обед обязательно два киселя клюквенных просил, понятно было, что очень кисель любит. Не очень высокий, но складный, всегда подтянутый мужчина, с аккуратными воротничками и при галстукке. Непривычный, не по тому времени был у него взгляд тёмных глаз, не наружу — с любопытством, а с прохладцей — в себя. «Мой будет!» — говорила мама подруге, а у самой тяжёлые волосы, полные губы и васильковая кофта.

Это — 1935-й год. Мама заведует школой ФЗУ, где, в основном, бывшие беспризорники, они живут и учатся при фабрике. А там во всю хозяйничают сами рабочие, строят светлое будущее. Мама моя хоть и молодая, но понимает, что для этого будущего надо людей готовить. Купила для своих подопечных музыкальные инструменты, и вышло так, что учить ребятшек игре на них стал тот же Смирнов, муж Ольги Алексеевны. Вот как жизнь его интересно складывалась!

«Ты ему скажи: я Вас помню», — советует мама, а папа мой смотрит задумчиво и думает, что очень ещё многого в этой жизни молодая его жена, дорогая Клавочка, не понимает...

Потом мои родители стали ожидать первого своего ребёнка, папа хотел девочку. Мама носила очень большой живот и стеснялась его. В тот год, впервые после запрета, в Советской России снова наряжали новогодние ёлки. Папа повёл жену на праздник в школу, где он работал, хотел, чтобы она полюбовалась на украшенную ёлочку. До родов было «рукой подать», мама сняла в раздевалке пальто, увидела себя в зеркале в полный рост и ахнула: как же ты с такой громадиной и уродиной ходить не стесняешься! Папа смеялся, счастливый. Он был так рад семье, жене, будущему ребёнку...

Летом они успели побывать в Крыму, жили на берегу моря в маленьком местечке Атузы. Тогда Крым населяли татары, в Атузах они выращивали табак, а с гор к морю спускались виноградники. Еду мои родители готовили на дворе, вкушали её «под чинарой густой» и вели дневник, который называли «книга живота». Колхозники-татары приходили по вечерам беседовать с папой. О чём они тогда, в 1936 году, могли его спрашивать? И что он им отвечал?..

Сестра моя родилась в той же больнице, где потом появилась на свет и я. Её назвали Инной, она чудом появилась на свет, мама рожала её четыре дня, они обе чуть не умерли. Посмотреть на Инночку пришли Смирновы, Константин Алексеевич сказал: «Теперь надо сына... Я вас научу, чтобы в следующий раз был сын». Он пригласил моих родителей на свой день рождения, они пошли, и мама надела бежевые туфли-лодочки. Потом долго все вместе гуляли в парке. Возвращались домой поздно, мама шла босиком, новые туфли натёрли пятки.

...Константина Алексеевича они больше никогда не видели, через несколько дней, ночью, его забрали люди в милицейской форме, и он исчез

навсегда. Это был 1937 год, тогда люди в Советской стране по ночам вздрагивали, услышав шум подъезжающего к их дому автомобиля. Ольге Алексеевне сказали, что, конечно, муж её виноват, потому и арестован, и — «что значит, — ничего не совершил? А о чём он думал — Вы знаете?» Продолжать такой разговор было опасно, Ольга Алексеевна это понимала.

МОЕЙ СЕСТРЕ ИННОЧКЕ

Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печёт
Летают и пляшут стрекозы,
Весёлый ведут хоровод...
Гр. А. К. Толстой

...Детство моё прошло рядом с сестрой, которую я и сейчас, по детской привычке, зову «Ипочка», и если упоминаю себя в том времени в единственном числе, то всё равно подразумеваю — мы. Инна была старше почти на пять лет, но ей часто приходилось заменять маму, она так и говорила: «Я тебе вторая мать», — и я выслушивала это заявление на полном серьёзе. Теперь мне хочется ещё раз побыть с ней вдвоём в нашем милом доме, который мы и спустя шестьдесят лет вспоминаем, как самое дорогое.

Балашиха живёт, существует, приятный подмосковный городок. На месте деревянных домишек построены многоэтажки, а вот Лунновские строения — казармы, богадельня, больница, моя школа, — они стоят, как стояли. И церковь Никольская действует, и могила хозяина Лунна возле неё сохранилась. В той больнице, где мама произвела нас на свет, мы с Инной много лет спустя родили себе по дочке.

Дом на берегу пока ещё живёт, там теперь офис, в каждой комнате — кабинет, и в нашей бывшей — тоже. Мы с Инной как-то зашли туда, поднялись на второй этаж, сели возле нашей двери: «Вы к кому, по какому вопросу?» — спросили нас, мы объяснили, почему мы здесь. О, чудо! Нас поняли и больше не беспокоили.

Мы долго сидели и вспоминали...

«...Помнишь, Инночка, какие огромные, высоченные росли тогда у дома липы? Теперь их почти нет, ведь это были очень старые деревья. От них оставались, в конце концов, чудесные волшебные пни, я хорошо это помню. Гнилые в своей середине, они светились в темноте. Я отламывала светящиеся гнилушки, тащила домой, прятала под рояль и ночью пыталась увидеть зеленовато-холодные огоньки. Но не увидела ни разу, вне тёплого летнего вечера, вне вольного воздуха, гнилушки не светились, умирали... А дом я помню очень даже хорошо, подожди, сейчас скажу, где кто проживал... Вон там — Бутовы, за ними сразу — Тамановы, Мария Ивановна с мужем, оба учителя географии, и с ними жила Люся, сестра Марии Ивановны, взрослая девушка, но по развитию — пятилетний ребёнок. Какая это была прекрасная наша подруга, добрая, доверчивая. От обид, которых, конечно, доставалось ей немало, она принималась горько плакать. На меня это производило тяжелейшее впечатление, хотелось убежать, исчезнуть или расправиться с обидчиком. Но всё бушевало только внутри, в свои четыре года я мало, что могла исправить в этом мире. Только на следующий день приносила Люсе в подарок какую-то свою игрушку или разноцветные горошки-конфеты из маминых запасов. Она радостно смеялась, и мы усаживались под одной из лип играть в дочки-матери. Однажды, когда мама по карточкам получила целый килограмм таких сладких горошков, я привела домой всех своих подруг: Танечку и Люду Мачикиных, Верочку Ракитину и, конечно, Люсю. До сих пор помню чувство гордости, с кото-

рым щедро насыпала конфетки в их карманы. Мама, придя с работы, глянула в пустой пакет: «А я думала, надолго хватит...». Комната Акифьевых была направо, в конце. У пожарной лестницы восьмилетний Алик Акифьев учил меня духовным стихам: «Я устал, иду с работы, ангел душу мне храни...» Однажды, защищая тебя, я с ним подралась! Анна Максимовна Кусова, учительница физики, строгая дама в пенсне, не любила, когда дети собирались у пожарной лестницы, то есть прямо под её окном. Ей мешал шум. У неё был муж, добродушный толстяк, и сын, крупный, барственно вальяжный. Оба они работали актёрами в кукольном театре Сергея Образцова. Обитателям дома по очереди доставались билеты в этот театр. Помнишь, как однажды ездила в театр мама? Вернулась поздно, мы уже спали. А утром нас ждал сюрприз: коробочка с шоколадными фигурными конфетами, их следовало брать не руками, а маленькими серебрястыми щипчиками. Называлось это чудо — «Театральный набор»... За этой вот дверью и была наша комната, я спала возле комода на раскладушке, помню один свой сон, он мне приснился в четыре года. Как будто ночь, но я не сплю, лежу и смотрю на стену, за которой находится лестница, и вижу вдруг, что она, стена эта, — исчезла. И в тот же момент слышу, как снизу, от кухни, под чьими-то тяжёлыми шагами начали скрипеть деревянные ступеньки. Всё выше, всё ближе... Я боюсь смотреть, но всё равно смотрю и вот уже различаю нечто совершенно ужасное: два огромных силуэта, два страшных великана поднимаются медленно наверх, сейчас возьмутся за ручку нашей двери, откроют и войдут! ...А помнишь, у Бутовых была собачка Джимка, беленькая и вертлявая, и у неё родились щенки. Мы взяли одного, чёрненького и толстого. Назвали его Жучёк, Жуча, с ним мы и переехали потом в другой дом. Мне было тогда шесть, а тебе — одиннадцать...».

...Медных, тёплых на ощупь, дверных ручек в нашем доме больше не было, двери в офисе были новые, окна пластиковые. Мы с Инной мед-

ленно спускались по лестнице, направлялись к выходу, а мне казалось, что я по-прежнему слышу, как занимается вокальными упражнениями Ольга Алексеевна Смирнова. Она нажимает клавишу пианино и вторит ей высоким голосом, но звук, казалось мне, обрывается и падает бессильно вниз, как слеза...

...Как в счастливом детском сне видится мне моё начало. Видятся люди, которые жили рядом или о которых слышала потом от мамы. Отчётливо помню наш прежний, по сию пору загадочный, милый дом у реки. От него тянется — вьётся дальше ниточка моей личной истории, катится волшебный клубочек, разматывая мою родословную...

МОНАСТЫРЁВЫ

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...
На них основаны от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека
И всё величие его.

А.С. Пушкин

Однажды я увидела сон. Я нахожусь в каком-то доме на втором этаже. Окно выходит в парк. Ночь, непроглядная темнота. За окном буря, страшно шумят деревья. Комнату я только угадываю, стоя к ней спиной, знаю, что она не велика и узкая. Мне страшно, я пытаюсь закрыть окно.

Рамы старые, разбухшие, шпингалет тяжёлый, старинного образца, чтобы его задвинуть тянётся, встаю на цыпочки, — и при этом мне всё более и более страшно... И вдруг успокаиваюсь, вспомнив, что внизу, на первом этаже, спит кухарка.

Такой вот странный, нездешний сон. Может, он пришёл из детства, и мне приснилась наша комната в учительском доме? Там окно как раз выходило в парк... Но почему-то я уверена, что мне привиделся эпизод из жизни моей бабушки по отцу — Людмилы Александровны Монастырёвой. Когда-то она, возможно, была напугана ночной непогодой, может быть что-то неприятное, даже страшное, случилось с ней в это время. Своё потрясение она через гены и десятилетия передала мне, своей внучке.

...Из семейного предания известно, что Монастырёвы ведут своё начало от древнего княжеского рода. Возник он в IX веке, на севере, там, куда явились в те времена братья-варяги, Рюрик и Синеус. Рюрик обосновался в Новгороде, Синеус — на Белом озере. Монастырёвы были Белозерскими. В энциклопедическом словаре «Брокгауз и Ефрон», — том XIX, 1896 г., С-Петербург, — написано следующее:

«Монастырёвы дворянский род, происходящий по сказаниям родословцев, от князей смоленских и, несомненно, восходящий к жившему в XIV веке Александру Монастырю. Один из сыновей его, Дмитрий, убит был в бою с татарами на Воже (1380). Петр Михайлович Монастырёв убит при взятии Казани (1552), Иван Фёдорович был воеводою в кетском остроге (1666), Нарыме (1667) и Томске (1671). Род Монастырёвых угас в начале XIX века».

Уже с 1378 года в войске московского князя русская летопись упоминает князя Дмитрия Александровича Монастырёва. Соглашаясь служить московскому князю, удельные князья теряли княжеское своё достоинство и становились боярами. Чтобы решиться на такой шаг, нужно было по-

нимать значение Москвы, возможности Дмитрия Донского, а главное, — необходимость объединения Руси для освобождения её от татар. Как во все времена, Россия нуждалась в патриотах, и Белозерский князь, «болярин» Дмитрий Монастырёв, несомненно, патриотом был. В августе 1378 года русское войско первый раз встретились с татарами в открытом бою на реке Вожа под городом Коломной. Русские разбили татар, но хан Мамай не поверил, что его время на Руси кончилось. В сентябре 1380 года он пришёл с несметным войском на Куликово поле, и убедился в этом окончательно. Князь Дмитрий Александрович Монастырёв жизнью заплатил за русскую победу. По одним источникам, он был убит в первой битве на Воже, но из летописи следует другое...

...Должно быть, он был ещё молодым человеком и сентябрьским утром 1380 года подивился, что «бысть мгла велия по всей земле, аки тма», и кольнуло сердце предчувствием, что не выйдет он живым из сегодняшней битвы. Но не было времени предаваться предчувствиям, помолился он Заступнице Небесной, Пресвятой Богородице Белозерской, на которую сызмальства научен был надеяться, и заспешил к своей дружине. «...Исполчишася христианьстии полцы вси и возложиша на себе доспехи, и сташа на поле Куликове, на усть Непрядвы реки; бе же то поле велико и чисто и отлог велик имея на усть реки Непрядвы». Войско в тридцать тысяч человек привели Белозерские князья на Куликово поле осенью 1380 под руку Дмитрия Донского.

Много в той битве полегло русского народа. Погиб князь Дмитрий Александрович Монастырёв.

«...И возплака князь великий великим плачем со слезами и наеха место, идеже лежаху вкупе восемь князей Белозерских убиенных, бе же сии мужествени и крепки зело, яко нарочитые и славнии удалцы, и яко един единого ради умре, и со множеством бояр их... Убьени же быша нарочи-

тые, и великие, их же имена суть сия: князь Феодор Романович Белозерский и сын его Иван, князь Федор Семёнович, князь Иван Михайлович, князь Дмитрий Манастырёв...

...И воспеша священницы вечную память всем православным христианом, избиенным от татар на поле Куликове между Дона и Мечи. И паки рече сам князь великий: «Буди вам всем братия и друзи, православнии христиане, пострадавшие за Православную веру и за все христианство на поле Куликове, вечная память!».

Дмитрий Донской, вернувшись «на княжение на Москве», за службу «чествовал и жаловал по достоинству», в том числе наградил землями и Манастырёвых. До 1485 года имеются сведения о них, как о крупных землевладельцах в городе Белозерске, последним из которых значится Иван Григорьевич Манастырёв. В Твери в этом же отрезке времени был боярин-воевода по прозвищу Манастыр. В Тверской области по сей день, есть деревня «Манастырёво».

Потом, как у А. С. Пушкина в стихотворении «Моя родословная»:

С Петром мой пращур не поладил,
И был за то повешен им...

Не пришлись Манастырёвы ко двору Петра I, не приняли резких и стремительных его ломок устоявшейся российской жизни. При расправе над взбунтовавшимися стрельцами Петром будто бы самолично были казнены двое Манастырёвых: московский стольник Иван Левонтьевич и голова стрелецкий Филимон Фёдорович. Таковы предания...

... В 1865 году Александр Николаевич Манастырёв, сын вологодского священника, окончив духовную семинарию, перебрался в Москву и поступил в Московский Императорский Университет, на юридический факультет. В 1869 году женился. Девичья фамилия прабабушки Марии Ан-

дреевны канула в лету, но и она, должно быть, была хорошего, «добротного» рода, так как именно от неё дети и внуки на всю жизнь твёрдо усваивали строгие жизненные принципы, ибо, повторяла она «Вы — Манастырёвы, голубая кровь...»

В доме, что стоял напротив Боровицких ворот Московского Кремля, родились дети Манастырёвых. В самом сердце России, на заповедном месте, с древней легенды началось их детство...

... В середине пятидесятих годов XIV столетия в Золотой Орде тяжело заболела Тайдулла, любимая жена хана Джанибека. Хан, все, испробовав, обратился к Святителю Алексию, митрополиту Московскому, известному как имеющий силу получать от Бога по молитве своей. Летописи говорят, что перед отъездом митрополит долго молился в Богородицкой церкви, и Бог послал ему знамение: на алтаре самовоспламенилась свеча. Святитель Алексей отправился в Орду, с молитвою окропил ханшу святой водой, и она выздоровела.

За это чудесное исцеление Джанибек подарил митрополиту принадлежавшее Золотой Орде ханское посольское подворье, находившееся в самом центре Московского Кремля. На этом месте Святитель Алексей выстроил Чудов монастырь. В те времена, когда семья Манастырёвых проживала вблизи от кремлёвских святынь, колокольный звон Чудова монастыря дети слышали каждый день, под него они засыпали и с ним же встречали утро. Кто знает, как отразилась на их судьбе эта каждодневная весть о силе Молитвы, о Милости Божьей, о Великом Чуде Веры...

... Первым родился сын Уалент, а через несколько лет в метрических книгах московской Благовещенской на Бережках церкви, писано: «1875 года, августа 17 дня, родилась Людмила, крещена 19 дня, родители ея Губернский Секретарь Александр Николаев Манастырёв и законная жена его Марья Андреева, православные и оба в первом браке. Воспри-

емниками были граф Пётр Николаев Толстой и дочь тайного советника Наталья Петрова Нарышкина, крестил Благовещенской церкви священник Пётр Громов с причтом».

Это появилась на свет моя бабушка по отцу. Она была в семье четвертым ребёнком. Через двенадцать лет, десятым по счёту, родился её брат, наречённый Нестором, о чём в метрических книгах московской Николо-Стрелецкой, у Боровицких ворот церкви, писано:

«1887 года ноября шестнадцатого дня родился Нестор, крещён 18 дня. Родители его: присяжный поверенный Округа Московской Судебной Палаты Александр Николаевич Монастырёв и законная жена его Марья Андреевна, оба православного вероисповедания, восприемниками были: Старший контролёр Государственного Банка Николай Алексеевич Цветков и дворянка девица Анна Павловна Понамарёва. Крестил Николо-Боровицкой церкви священник Михаил Демидов с причтом».

Через два года после Нестора родился последний ребёнок, получивший имя Сократ. Всего у Монастырёвых было одиннадцать детей.

Детство дети провели в доме у Боровицких ворот, а затем семья переехала в небольшой особнячок на Плющихе. Сохранилась ветхая фотография, изображение выцвело, но всё же можно рассмотреть семейную группу, вольно расположившуюся на траве среди деревьев. В центре на стуле восседает Мария Андреевна, за ней стоят рослые юноши в студенческих фуражках и старшая сестра, крупная, улыбчивая Мария. У ног матери в траве расположились средние, но тоже вполне возмужалые отроки. На первом плане — два мальчика, семи и девяти лет, Сократ и Нестор. На голове Нестора — берет с большим помпоном, как у французского моряка. А Людмила, будущая моя бабушка, сидит рядом с младшими братьями, две косы спустились на грудь, она смотрит в объектив,

будто чуть отстранившись от всех... Надпись, сделанная чернилами, гласит: «Семья Монастырёвых. Плющиха, 58. 1896 год».

Людмиле идёт двадцать первый год, она всерьёз занимается музыкой, учится в Московской консерватории, хочет стать концертирующей пианисткой. Среди её друзей известные композиторы — Скрябин, Ипполитов-Иванов.

Старшие дети уже вполне определившиеся люди, Валент — архитектор, Борис — без пяти минут врач. Все, по традиции, оканчивают Московский университет. Мария совсем скоро выйдет замуж за Алексея Еврафовича Фаворского, молодого учёного-химика, имя его впоследствии будет отмечено во всех отечественных, и не только, энциклопедиях. Нестор и Сократ пользуются любовью всех старших Монастырёвых, снисходительным отношением к их мальчишеской свободе. Им есть где развернуться.

Плющиха — тихая московская улица. Начинается она в центре, от Зубовской и Смоленской площадей, а затем спускается-вьётся к реке, переходя в крутые переулочки Первый Вражский, Второй Вражский... Такие вот совсем патриархальные названия, и как замечательно, значительно образованы от слова «овраг». Можно спуститься бегом по склону к самой реке, остановиться на полном ходу и смотреть. Какая же она широкая и полноводная, Москва-река! Как, не торопясь, величаво движется вода, а всё-таки суда и баржи проплывают мимо довольно споро, и вот уж скрылись из глаз. Откуда они идут? Вероятно, с Волги, а до того, может быть, побывали в Чёрном море... Матросы на палубах заняты делом, некогда им разглядывать прекрасные зелёные берега. А из зелени выглядывают маковки церквей, золотятся кресты, два мальчика машут вслед проплывающим судам. За домом Монастырёвых, в ветвях высоких деревьев прячутся купола храма Воздвиженья Креста Господня на Чистом Вражке, и

...звоны, звоны! К заутрене, к вечерне, праздничный перезвон на Рождество и Пасху. А у Монастырёвых абсолютно все в доме музицируют, то и дело — звуки рояля, но, конечно, лучше всех, профессиональней, играет Людмила. Внешне она очень женственна, обаятельна, в полном смысле — прелестна. Видно, что натура тонкая, загадочная, а потому — слегка от всех отдалена.

С Плющихи Монастырёвы перебрались на Потылиху, на другой берег, в собственный новый дом. Место — наикрасивейшее!

«...На правом берегу Москвы-реки за Окружным мостом, за впадением речки Сетуни в Москву-реку, прямо напротив Новодевичьего монастыря — посёлок Потылиха... Последний дом по берегу Москвы-реки — дом Монастырёвых. Большой заброшенный, неплодоносящий яблоневый сад, заброшенный огород, по берегу идёт аллея лип. Дом большой, старый, серый, двухэтажный, впереди дома терраса, выходящая на Москву-реку, с неё вид на Новодевичий монастырь. На закате солнца он освещён горячим светом... Дом похож на мелкопоместную усадьбу: по ступеням поднимаешься на террасу, оттуда дверь в большую тёмную залу. Она находится в центре дома, в ней большой стол и старинный, довольно расстроенный, коричневый рояль... На стенах, в плоских тёмных рамках большие картины, много тёмных марин, писанных маслом...»

Так писал о доме прадеда московский художник Макс Бирштейн, он и рисовал его не раз. Но было это намного позже того времени, в котором я нахожусь. А тогда, в 1900 году, дом был новым, яблоневый сад плодоносил, рояль звучал прекрасно, в семье же случилась большая неприятность, о которой вслух не говорили: безоглядно и трагично влюбилась Людмила. То есть известно стало уже о последствиях этой любви. Прабабушка Марья Андреевна была сражена, произошедшее с дочерью не

вмещалось в её строгие понятия, ударило по её гордости монастырёвской «голубой кровью».

Кто он был, — первая и роковая любовь бедной Людмилы, — тайна. Имя его вслух не произносилось, но никогда прабабушка не простила свою дочь до конца: «Счастье, что все дети, Слава Богу, взрослые, дурной пример не так опасен. Конечно, младшие ещё подростки и, всё-таки, — мальчишки, беда, если б девочки... Но видно, что понимают всё, жалеют сестру...»

Людмилу жалели в семье все. Особенно когда видели гневное выражение на лице матери. Скоро её выдали замуж.

Сведений о моём дедушке, Семёне Назаровиче Сидельникове, сохранилось очень мало. Родился в 1867 году, в городе Калуге, из мещан. После технического железнодорожного училища поступил на службу в армию и, через положенный срок, вышел офицером. Вероятно, в это время и познакомился он с Людмилой Монастырёвой.

Чисто внешне, глядя на фотографии, можно с уверенностью сказать, что люди они категорически разные, более того, — друг другу противоположенные. Она — деликатная, исключительно тонкая натура, поинтеллигентски в себе не уверенная. Он — твёрдый, суровый, вероятно не имеющий привычки к раздумьям и колебаниям человек. Обстоятельства заставили Людмилу искать его дружбы и поддержки, Семён Сидельников защитил её от свалившихся невзгод.

Они поженились, и вскоре родилась девочка, названная, как и мать, — Людмилой. Семён Сидельников был уже в звании капитана. Как офицер, он, к великой радости Марии Андреевны, пекущейся о чести древнего рода, получил дворянский титул.

В семье Монастырёвых появился военный человек, офицер, младшим братьям Людмилы он был особенно интересен. Как и старшим детям, им

предстояло получить высшее образование, их готовили в Московский университет. Там, на юридическом факультете, преподавал их отец. Муж старшей сестры Марии, Алексей Фаворский, был уже заметным учёным, друзья и знакомые в основном были университетской публикой. Так что путь для младших сыновей был предопределён. Но, выросшие в большей свободе, погодки Нестор и Сократ отличались от всех детей Александра Николаевича и Марии Андреевны, они были смелее, крепче физически и гораздо более уверенные в себе. Нестору уже шёл пятнадцатый, Сократу — на два года меньше. Они отметили чёткую строгость нового родича, он был лишён привычных семейных фантазий.

Монастырёвы славились своей оригинальностью и выдумками, одни имена, которые они давали детям, чего стоили! В память о варяжских корнях первого сына назвали Уалент, этим именем он был и крещён. Людмила — это уже Киевская Русь. Имя Нестор было дано кстати — в ноябре именинник Нестор, Печерский летописец, но вот Сократ!.. Настоящий путь «из варяг в греки».

По наследству от матери всем детям Монастырёвых достались глаза с постоянной смешинкой, улыбающиеся глаза. Александр Николаевич любил шутливо подписывать фотографии, например, на фото, где он изображён в кресле в расшитом восточном халате, мелкая чернильная запись гласит: «Словно эмир бухарский». Снимок Марии Андреевны с накинутой на плечи меховой пластиной, прокомментирован им так: «В боа не в пример эффектно...».

Муж Людмилы был другим человеком, военная его специальность — пехотные войска, в конце концов, показалась мальчикам скучной. Вот если бы он был моряком, — сколько бы смог увидеть, какие пережить приключения! На старинных картинах, что висят в зале, море изображено то бурным, грозным и беспощадным, а то, вдруг, — бескрайняя лазур-

ная гладь. Есть о чём рассказать, вернувшись из плавания... Может быть, тогда Людмила не выглядела бы такой грустной... Сестру они стали видеть крайне редко.

...Местом службы Семёна Назаровича был город Малоярославец Калужской губернии, где располагалась 116-я пехотная дивизия. Там они с Людмилой и поселились. Приобрели в окрестностях участок земли, выстроили дом. Усадьба называлась «хутор Татарское», и даже фамилия соседей была Симбухины, то есть, — потомки Сибму-хана. Фото нового дома Людмила прислала сестре Марии с припиской: «Помести в альбом». Видно, что поначалу ей всё нравилась, новая, самостоятельная жизнь воспринималась, как надежда на счастье.

Вот на фотографии плотного картона — моя бабушка, Людмила Александровна, молодая, изящно одетая, в большой модной шляпе, прикрывающей прелестное лицо и грустные глаза. К её ногам жмётся девочка лет трёх, похожая на мать, тоже Людмила и тоже — с грустными глазами. У неё длинное платье с оборками, капор с рюшами. Другая девочка, крошечная, годовалая Эммочка, вся в кружевах, сидит у матери на руках. Одежда не скрывает округлившийся бабушкин живот, она ждёт третьего ребёнка, им будет мой отец.

Он появился на свет божий 22 августа 1903 года, его назвали Ростислав. К слову сказать, мой отец, как видно, получил при рождении сильного и бдительного ангела-хранителя. На свет появился слабеньким, говорили «не жилец», но окреп помаленьку и на здоровье после не жаловался. И вообще всю долгую последующую жизнь выпадали ему на долю чудесные избавления, удивительные совпадения и неожиданные обретения. Иногда кажется, что в этом сыграл важную роль год рождения моего отца, 1903-й. В середине июля того года, по старому стилю, произошло

великое событие: Православная Россия обрела Святые Мощи Серафима Саровского. Бабушка моя доживала последний месяц беременности, конечно, молилась Великому Святому о счастливом разрешении и о будущем младенце. Много знаменательных, важных для России моментов случилось в тот год...

Шло время, а счастье в доме Людмилы и Семёна Сидельниковых так и не поселилось. Хозяйство и уход за многочисленными детьми в усадьбе Татарское постепенно перешли в руки денщиков. Людмила всё чаще плакала и почти всё время музицировала. Дети забирались под рояль и слушали её игру, замерев. Слушали часами, испытывая восторг и любовь, мать они обожали. Дети и были единственными бабушкиными слушателями, дед не поощрял её выходов из дома, разве что на Потылиху, к родителям. Он не забывал Людмиле ошибку молодости.

...Вот на старой фотографии — взрослые сестры и братья Монастырёвы. Октябрь 1912 года. По какому случаю собрались они в родительском доме? Судя по весёлому настроению, — это семейное торжество. Провожают Нестора, он уже моряк, офицер, сдал экзамен при Морском корпусе и получил назначение на Чёрное море. Расположились шутилой группой на веранде, видно, что все уже хорошо определились в жизни, одеты с некоторым щегольством, уверенные лица... Перед фотокамерой устроили маскарад: у одного на голове граммофонная труба, другой надел женскую шляпу со страусовым пером. На заднем плане стоят Нестор и Сократ, красивые и бравые, возле них — Людмила. Она стоит рядом с Нестором, прислонившись, вернее сказать, вжавшись в стену. Ей 37 лет, она ждёт восьмого ребёнка, и приехала проститься с младшим братом. Больше вот так весело и беззаботно все вместе они никогда не собирались. Много событий стояло на пороге.

Дом в Татарском совсем скоро сгорел, это страшное событие случилось, когда дома были только дети. Все, слава Богу, спаслись, никто не пострадал, а от имения остался только флигель и подросток, уже плодоносящий сад. Следующий, 1913 год, семья жила в Москве, на Серпуховке. Пора было учить детей. Старшую, Людмилу, еще раньше отдали в Институт благородных девиц, Ростислав или, как его звали близкие, Рося, поступил в кадетский корпус, средние и самые младшие оставались возле матери, она обучала их игре на рояле, помогала готовить уроки. Часто бывали на Потылихе, дети любили навещать бабушку и дедушку, любили встречи с многочисленными двоюродными сёстрами и братьями. Бывало шумно и весело, много игр, развлечений, связанных с рекой. Летом — купание, зимой — сани, коньки, лыжи. Постоянной темой разговоров в семье были, конечно, младшие братья, всеобщие любимцы, беспокойные и одарённые.

После окончания гимназии Нестор поступил в Московский университет, на юридический факультет, в 1908-м стал юнкером флота. В 1912-м закончил Морской Корпус в Кронштадте, получил чин корабельного гардемарина и в том же году — мичмана. В доме на Потылихе родные обсуждали успехи Нестора с гордостью и волнением: «Пишет, что отправляется весной в Либаву, принят в Офицерский класс подводного плавания. И, к тому же, собирается жениться! Да, да, на той самой девушке, она скоро получает диплом врача...»

Сократ после гимназии так же, как и брат, выбрал профессию отца, окончил юридический факультет Московского университета, готовился стать адвокатом. Но...

На пороге стоял 1914 год.

ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА...

Умом Россию не понять...
Ф. Тютчев

Считается, что к 1913 году Россия находилась на вершине экономического развития. Ещё более обещающими были прогнозы европейских специалистов. По их подсчётам Россия в двадцатых годах должна была стать самой мощной державой в мире, но... Началась Первая мировая или, как её ещё называли в те годы, — Великая война.

О том времени написано много книг, опубликованы свидетельства очевидцев и документы. Я иду по следам кровно близких мне людей и считаю возможным посмотреть их глазами на известные исторические события.

В своей книге «Гибель царского флота» Нестор Монастырёв вспоминал роковой август 1914-го:

«...Все с восторгом шли на смерть. Петербург сильно изменился. На всех центральных улицах шумели патриотические манифестации, несущие портрет царя. Сами собой прекратились забастовки. На Дворцовой площади, перед Зимним дворцом, собрались десятки тысяч людей. На балконе появился царь. Все, как один, упали на колени. Многие плакали от охвативших их чувств. Это описать невозможно, если не пережить самому. Есть моменты, в которые русский народ готов продемонстрировать чудеса доблести и самопожертвования, на которые способен только Великий Славянский род. Надо быть русским, чтобы понять сущность русской души, одинаково способной взлететь до небывалых высот, либо провалиться в бездонную преисподнюю».

Окончив офицерский класс подводного плавания в Либаве, мичман Нестор Монастырёв с началом войны продолжил службу на Черномор-

ском флоте и провёл её на кораблях надводных и подводных. На миноносце «Жаркий» участвовал в боевых действиях на Кавказском фронте, на подводном минном заградителе «Краб» участвовал в минировании Босфора. Впервые в мировой практике в 1915 году подводный минный заградитель «Краб» произвёл постановку мин из подводного положения в районе пролива Босфор. Через неделю на них подорвался германский крейсер «Бреслау». За успешное выполнение боевого задания Нестор Монастырёв был награждён Георгиевским оружием, получил из рук Государя высочайший подарок — золотой портсигар, и был произведён в лейтенанты. В 1916 он назначается старшим офицером на подводную лодку «Кашалот» и несколько позже — командиром подводной лодки «Скат».

Но ситуация, в которой оказалась Россия, начала очень быстро, как саркома, разрушать, казалось бы, мощный организм страны. Начали рушиться нравственные устои, сначала — в тылу, а затем — в армии. Через два года после начала войны участь России была решена, всё «покатилось в преисподнюю».

Из книги Н. Монастырёва «Гибель Царского флота».

«...Огромная русская армия, бросая оружие, стала разбегаться по домам. Это, собственно, была уже не армия, а дикая, неуправляемая, озверевшая толпа, мародерствующая и уничтожающая всё на своём пути. В эти страшные дни были убиты тысячи офицеров, пытавшихся сохранить хоть какой-нибудь порядок... Незадолго до этого я, получив двухнедельный отпуск, отправился из Балаклавы в Севастополь. Над городом и стоявшими в бухтах кораблями полыхали красные полотнища... Все корабли заменили священный Андреевский флаг на красную тряпку — символ «3-го Интернационала». Что это за «3-й Интернационал» никто не

знал, не понимал и не мог объяснить. Даже большевистские агитаторы. В этом весь ужас... Кровавые дни в Севастополе продолжались.

Вместе с женой вечером 28 декабря я находился на борту госпитального судна «Пётр Великий», уходящего в Батум, чтобы провести отпуск в Тифлисе. Только гораздо позднее, я узнал, что это спасло мне жизнь. Когда мы с женой уже находились на борту, банда матросов ворвалась в мою городскую квартиру с тем, чтобы схватить меня и расстрелять. На следующий день командир судна показал мне принятую радиограмму об арестах и массовых расстрелах офицеров в Севастополе. Я спасся чудом.

Те дни у меня часто ассоциировались со страшным сном, который я однажды видел в детстве. Мне как-то приснилось, что ко мне приближается ведьма с дико горящими глазами и огромными лапами, чтобы меня задушить. Я пытался кричать, звать на помощь или хотя бы убежать. Но не мог ничего...»

...Гражданская война в России набирала силу. Слово «гражданская» звучит мягче, чем братоубийственная, но невозможно смягчить и сделать более привлекательным убийство брата, соотечественника, родного по языку, истории, вере. Для Монастырёвых это тяжёлое время вылилось и вовсе в семейную трагедию: братья Сократ и Нестор оказались по разную сторону баррикад.

С начала Гражданской войны Сократ находился в 6-м Гренадерском Таврическом полку, вначале как вольноопределяющийся, затем, к 16-му году, — поручик. В ноябре того же года поручик армейской пехоты Сократ Монастырёв окончил Гатчинскую авиашколу и удостоился звания «военный лётчик». Им владело одно лишь желание — летать. О его бесстрашии и удачливости ходили легенды.

Затем он был назначен инструктором Одесской авиационной школы имени Его Императорского Величества Великого князя Александра Ми-

хайловича. С начала 1917-го выполнял там обязанности обучающего офицера и являлся адъютантом школы.

После октябрьского переворота Одесса испытала те же ужасы, что Кронштадт и Севастополь. Красный террор и там уничтожал цвет российской армии — офицеров. Что случилось в те дни в судьбе младшего Монастырёва — неизвестно, но судьба его переменилась самым решительным образом: с 1-го марта 1918 года Сократ Монастырёв состоит на службе в Красной Армии и занимает должность командира 3-го Московского авиационного отряда.

ОНИ — ЗА РОССИЮ, И МЫ — ЗАРОССИЮ...

«...Тогда Пётр приступил к Нему и сказал:
Господи! Сколько раз прощать брату моему,
согрешающему против меня? До семи ли раз?
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз,
но до седмижды семидесяти раз...»

Евангелие от Матфея, 18.21–22

Из воспоминаний очевидца...

«...Херсон был взят... Десант подходил к пристани. Его встретили беглым огнём из нескольких пулемётов, расставленных по набережной и в течение нескольких минут пули косили людей на буксире и ничем не защищённой барже. Но они не дрогнули и продолжали идти вперёд. Большевики не выдержали и побежали. Офицеры, высадившись на берег, немедленно бросились преследовать красных.

...Как страшное напоминание о только что минувшем, в подвалах большевистской «чрезвычайки» и во многих других местах откапывают

всё новые трупы растерзанных, обезображенных, замученных ею. В последнюю ночь большевиками «выведено в расход» 130 человек, а всего здесь убито около 600. Были найдены бесконечные списки новых обречённых на муку и смерть жертв. В саду были зарыты по горло в землю с проколотыми глазами, обрезанными ушами и носами, с обезображенными ртами заложники. Их было 20 человек — самые именитые и популярные граждане города. Они пробыли восемь часов в земле, и только уходя, большевики обезобразили их и закололи штыками. Это было одно из тех ужасных мест, которые густой кровавой сетью покрыли всё лицо Земли Русской, покрыли её, родимую, слезами и муками и превратили её неисчислимы богатства в голодную смертельную пустыню...»

(Капитан С. К. Терещенко «За честь Родины», Бизертинский морской сборник, редактор Н. Монастырёв, вып. XXV, № 7—8; XXVI, № 9—10, 1923 г).

...Как молились за своих «младшеньких» мои прадедушка и прабабушка? О чём они, бедные, просили Заступницу? «Белый» и «красный» — оба были любимыми и дорогими.

Я знаю, что «домовой» церковь Монастырёвы считали Троицкую церковь в Голенищеве. Начало её восходило к XIУ веку и связывалось с именем Святителя Алексия, во времена которого здесь был сад, стояли клетки и кельи, «...место бе тихо и безмолвно и тайно от всяких плищей». Затем, сообщает летопись, «в лето 6782 (1474) преосвященный Геронтий, митрополит всея Руси, вниз по реке Сетуни, на той же Голенищевской земле, у Алексеева Чюдотворцева сада, церковь поставил... и двор срядил и с теремы и с погребы и с ледники и с всем устроил».

Идти с Потылихи в Голенищеве не очень далеко. Приходили, ставили свечи, подавали записки «О здравии воина Нестора, воина Сократа, воина Семёна...».

После октябрьского переворота бабушку Людмилу Александровну с детьми выгнали из квартиры. Пешком, через всю Москву, пришла она на Потылиху к родителям. Старшие дети не окончили учёбы, Кадетский корпус, где учился мой отец, был расформирован. Обстоятельства разбрасывали, рушили российские семьи.

Дед мой, Семён Назарович Сидельников, весной 1918 года оказался в Киеве, в звании генерал-майора, и состоял начальником инженерного управления Гетманской армии. Флигель-адъютант Павел Петрович Скоропадский (1873—1945) во время Первой мировой войны командовал кавалерийской дивизией, а в 1918 году был избран Гетманом Украины.

После заключения позорного для России Брестского мира, остатки русской армии, все те, кто не нарушил присяги, данной Отечеству и Государю, не пошёл за большевиками, двигались на юг, оседали в Киеве. Немцы занимали Украину, Скоропадский пытался, не всегда успешно, обеспечивать некоторый призрачный местный правительственный аппарат.

Известно, что П. П. Скоропадским и его окружением разрабатывался план спасения Николая II и его семьи. Было составлено письмо к германскому императору Вильгельму II, содействием которого необходимо было заручиться. В Екатеринбург были посланы разведчики, но к этому времени наступила ужасная развязка: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Государь Николай II, Государыня Александра Фёдоровна, Наследник и четыре Великие княжны были расстреляны...

В 1918 году на юге России началось организованное сопротивление большевикам. Создавалась Добровольческая армия. В августе она заняла Новороссийск, здесь, в этом порту началось создание Белого флота.

В Белом Черноморском флоте Нестор Монастырёв вначале служил минным офицером подводной лодки «Тюлень», затем был назначен командиром «Утки». «Утка» была одной из наиболее активно используе-

мых подлодок. При эвакуации Новороссийска она ушла на глазах занявших порт красных войск, причём увела на буксире яхту и расстреляла весь артзапас по батарее, которая её обстреливала. За активную и успешную деятельность командир корабля Нестор Александрович Монастырёв был произведён в капитаны 2-го ранга (приказ генерала Врангеля от 26.10.1920 г.)

...Но уже к началу 1920 года военная ситуация для Добровольческой армии стала резко ухудшаться. Исход Гражданской войны был обозначен.

Из книги Нестора Монастырёва «Записки морского офицера».

«...Сама по себе Добровольческая армия, которая в основе своей имела кадр идейных людей, своей жизнью искренне и беспредельно жертвовавших ради спасения Отечества, с продвижением вперёд пополнялась элементом совершенно иного характера, которому были далеки идеалы этой воистину подвижнической армии. Лучшие люди постепенно гибли, а на смену им приходили те, кто не мог уже поддерживать священный огонь и считал, что своя рубаха ближе к телу, поэтому, несмотря на внешний успех белого движения, на победы Добровольческой армии, её нравственная сила и мораль стали быстро падать. Это проявлялось в насилии по отношению к населению и жестокостям, таким же, какие производились красными, но разница была в том, что «красные» были пролетариями, а мы, — «белые», — в представлении простого народа были монархистами, которые идут отбирать землю. Естественно, что в толще народной Добровольческая армия не встречала сочувствия и поддержки».

ЭВАКУАЦИЯ

...И под белым тленом,
Как от пули падающий,
На оба колена упал Главнокомандующий.
Трижды землю поцеловавши,
Трижды город перекрестил,
Прыгнул под пули в лодку...
— Ваше Превосходительство, грести?
— Грести!..

В. Маяковский

«Гнездо реакции — в Москве. Там сидят поработители, трактующие народ, как стадо. Только слепота и недобросовестность могут считать нас реакционерами. Мы боремся за раскрепощение народа от ига, какого он не видел в самые мрачные времена своей истории.

Пока в России не установится настоящая государственная власть, любого построения, но такая, которая будет основана на освящённых вековыми исканиями человеческой мысли, началах законности, обеспеченности личных и имущественных прав, на началах уважения к международным обязательствам, — в Европе никогда не наступит ни мира, ни улучшения экономических условий. Невозможно будет заключить ни одного мало-мальски прочного международного соглашения и ни о чём как следует договориться».

В июне 20-го года Врангель произнёс эти пророчески слова. Как жаль, что справедливость этих слов подтверждена человеческими жертвами в мировом масштабе. Гражданская война унесла жизни почти двадцати миллионов человек. Около трёх миллионов отправились в эмиграцию.

...Командир подводной лодки «Утка» Нестор Монастырёв, как и командиры других судов, готовился к предстоящей эвакуации. Он прове-

рлял готовность техники и экипажа, зная, что должен принять на судно большое количество людей. Заботы не оставляли времени для переживания. Нестор старался не думать, что покидает Россию, что это последние часы на родине.

Из книги Нестора Монастырёва «Гибель царского флота».

«У нас ещё оставался Крым, последний клочок русской земли, который мы надеялись отстоять.

Генерал Деникин передал командование над остатками армии генералу Врангелю, чьё имя пользовалось большой популярностью в армии. Но все понимали, что положение Крыма, отрезанного от всего мира, не имеющего ни денег, ни природных ресурсов, ни запасов продовольствия, было критическим. А помощи ждать было неоткуда. Англичане решительно отказались оказать нам какое-либо содействие. Франция, по своему обычаю, решительно не отказалась, но и ничем не помогла, приводя в своё оправдание разную чепуху. Заключив мир с Польшей, большевики сосредоточили на подступах к Крыму почти все свои войска. Сыграли им на руку и неожиданно грянувшие морозы, столь редкие в это время года в Крыму. Замерзший Сиваш дал красным возможность нанести удар в обход Перекопа. Наша несчастная крошечная армия больше не могла держаться, и генерал Врангель, понимая это, отдал приказ готовиться к эвакуации.

Эвакуация прошла успешно. Я получил приказ следовать в Босфор и при входе в пролив поднять французский флаг. Мне объяснили, что Франция берёт остатки нашего флота под свою защиту.

Утром 17 ноября опустился густой туман, который держался до 9 часов утра. Затем солнце рассеяло туман и осветило Севастополь. Корабли и пароходы выходили в море, начав долгий путь трагической русской эмиграции. Даже море присмирело, как бы желая дать нам последнее утешение на нашем крестном пути.

Малым ходом «Утка» стала выходить из гавани. Все, кто мог, вышли на верхнюю палубу. Последний раз сверкали для нас золочёные купола и кресты русских церквей. Прощай, Родина, прощай, моя Отчизна! Прощай, Севастополь, колыбель славного Черноморского флота!...»

Разных людей провожал тогда севастопольский берег, последний край родной земли. Были среди них и герои моей книги, те, с кем через много лет свяжет меня судьба...

Генерал-майор Николай Павлович Никушкин с семьёй покидал Крым на пароходе Св. Николай. Ещё в сентябре 17-го он забрал из родового имения жену и дочерей. И — вовремя, далее началось безумие. Через месяц они узнали, что имение разграбили, как при обычном разбое, растаскивая по домам мебель, круша стены в поисках будто бы спрятанного клада. Но что говорить об этом, когда гибнет Россия. Главное — жена и дети, дочери Александра, Мария и Вера живы.

То же думал и полковник Николай Васильевич Вербицкий. Заботила, прежде всего, судьба детей, молоденьких дочерей Инны и Тамары, сына Всеволода — молодого гусара, офицера Ахтырского полка. Жена полковника, Елена Михайловна, урождённая Лермонтова, в тех же войсках, что и муж, работала в полевом госпитале. Теперь её тревожило, что родная сестра Алла Михайловна оставалась в Севастополе. Такое вот приняла решение. С другой стороны, женщину с двумя детьми вряд ли тронут...

Отъезжающим казалось, что не надолго они оставляют Россию. Всё поправится, наладится, станет прежним немного погода. Все, кто заполнил палубы, на это надеялись. Но...прощай, Севастополь, прощайте те, кто остался на берегу. Храни вас Бог!

...Эвакуация прошла успешно. 132 судна взяли на борт и тем самым спасли от верной смерти 150 тысяч человек. Когда в оставленный Севастополь вошли красные, они замучили и расстреляли Аллу Михайлов-

ну Лермонтову, мать двух мальчиков. Убили десятки тысяч оставшихся в Крыму людей.

Из воспоминаний очевидца.

«...Пытки происходили в подвале. Над лестницей была прикреплена доска, смазанная воском, по которой вели обречённых. Она прогибалась, люди скользили и падали на большой крюк, свисавший с потолка. Здесь варили в масле, отрубали пальцы, выворачивали ноги и руки, вырезали лампы, прибивали гвоздями погоны к плечам, выжигали Георгиевский крест на груди раскалённым железом, снимали целиком кожу с рук, пытались самыми зверскими способами сотни, тысячи людей и, наконец, отправляли их «в штаб Духонина»... И это был ещё лучший исход. Среди них были женщины и часто дети, обречённые на смерть за любовь к своим мужьям, отцам и братьям».

(Капитан С. К. Терещенко. «За честь Родины», Бизертинский морской сборник, редактор Н. Монастырёв, вып. XXV, № 7–8; XXVI, № 9–10, 1923 г.)

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...
Товарищ, мы едем далёко,
Подальше от нашей земли.
Песня «Доброфлота»

Из книги Н. Монастырёва «Гибель царского флота».

«...В пути я невольно предался воспоминаниям о прошлом. Более ста лет назад эти воды бороздили корабли адмиралов Ушакова и Синявина.

На островах Адриатики господствовал Андреевский флаг, имя России произносилось порабощёнными народами с надеждой и благоговением.

Но всё проходит и поворачивается колесо истории. И вот мы идём здесь сегодня, ища спасения в чужой стране, разбитые в неравном бою с врагами всего человечества большевиками-чудовищами, захватившими нашу страну. Франция, самоотверженно подавшая нам руку помощи, всё-таки до конца не понимала, за что мы сражались и насколько опасен большевизм. Да и никто в мире не понимал, что не ослабь мы, ценой собственной гибели, большевиков, — эта зараза быстро бы распространилась по всей Европе, уничтожив навсегда мировую цивилизацию.

Пройдут годы, прежде чем народы мира, и, в первую очередь, — русский народ, поймут и оценят наш подвиг...».

Четыре подводные лодки оказались первыми русскими кораблями, подошедшими к турецкому берегу в ноябре 1920 года. К борту головной Утки» сразу подошёл французский катер, и старшему на переходе Нестору Александровичу Монастырёву предложили пришвартовать свои корабли во французской базе в бухте Золотой Рог. Остальные русские корабли и суда следовали на рейд Моде у азиатского берега Мраморного моря. Там высадили большую часть пехотных войск на Галлиполийском полуострове, где тех ожидали тяжёлые испытания: эпидемии и голод.

21 ноября флот был переформирован в Русскую эскадру, в состав которой вошёл и дивизион из 4 подводных лодок с плавбазой «Добыча». Начальником дивизиона стал капитан 2-го ранга Н. А. Монастырёв. 8 декабря русские корабли начали свой последний путь в Бизерту, французский порт в Тунисе.

... К 29-му декабря всё, что осталось от Черноморского флота, собралось в Бизерте, и больше русским судам в море выйти было не суждено.

Однако жизнь на них не замерла, моряки продолжали служить России. Все субмарины в 1921 году прошли ремонт силами экипажей. Именно на борту подводной лодки «Утка» начал выходить первый заграничный морской журнал «Бизертинский морской сборник» под редакцией капитана 2-го ранга Нестора Монастырёва.

Текст сборника печатался на машинке, а тираж изготовлялся в литографии Морского корпуса, который тоже эвакуировался из Севастополя и прибыл с эскадрой. Журнал распространялся в 17 странах, включая США, Японию и даже Советскую Россию.

В журнале обобщался опыт Первой мировой и Гражданской войн, печатались воспоминания очевидцев тех событий. Как написал Н. А. Монастырёв в предисловии к первому номеру: «...журнал является единственной книгой, где офицеры, интересующиеся морским делом и историей войны, могут освежить и пополнить свои знания».

Но главное — «Бизертинский морской сборник» почти три года свидетельствовал миру о том, что русские моряки не сломлены.

Нестор прослеживал в сборнике жизнь эскадры в тунисском порту, все происходящие, каждодневные события, а их было достаточно:

«...В театре Гарибальди были поставлены одна сцена из «Фауста» и одна из «Аиды». Участвующие — офицеры и команда, и эскадронные дамы. Спектакль прошёл прекрасно. Несмотря на ограниченные средства, благодаря дарованию, присутствующему русским, наше искусство всегда будет на высоте.

...На «Георгии Победоносце» были прочитаны лекции...

...С сокращением штатов оркестр «Генерала Корнилова» перестал играть в городском саду.

...С сокращением штатов пришлось закрыть класс офицерского подводного плавания (а оставался до окончания курсов всего один месяц).

...26 ноября (9 декабря) состоялся Георгиевский праздник. Утром было торжественное богослужение на «Георгии Победоносце». Служил о. Георгий Спасский со всем духовенством. После службы все георгиевские кавалеры были приглашены на обед к командующему эскадрой.

...На Рождество Христово были устроены ёлки для детей на «Георгии Победоносце».

...И всё-таки в октябре 1924 года на всех русских кораблях в последний раз спустили Андреевский флаг.

История русского флота, детища Петра I, — закончилась.

«Приказ главнокомандующего Русской Армией. 11 февраля 1925 года.

По требованию французских властей суда русской эскадры в Бизерте сданы представителям местной морской префектуры.

Рассеялись по чужой земле русские моряки, сберёгшие до конца достоинство Андреевского флага, и не их вина, если судьба не дала им возможности вернуть корабли Отечеству.

Опущен флаг, но жив дух Российского флота. Ярким светом горит он в душе заброшенного на чужбину русского моряка. Андреевский флаг незримо реет над русскими скитальцами. С помощью Божьей он вновь осенит родные корабли.

Сознание выполненного до конца долга да будет утешением вам, доблестные моряки, в страданные дни и опорой в грядущих испытаниях.

Дорогому помощнику моему, адмиралу Кедрову, славному адмиралу Беренсу, доблестным гг. офицерам и молодецким командам низкий поклон.

Генерал Врангель».

Спуск флага в Бизертинской бухте вошёл в историю России скорбной минутой, многие моряки рассказали о ней, написал об этом в своих книгах и Нестор Александрович Монастырёв.

«Моя карьера морского офицера закончилась. Не об этом мечтал я в своей юности, выбирая жизненный путь. Я мечтал о дальних походах, о радостных лицах друзей, о славе нашей Родины и её флота, о славе Андреевского флага.

Андреевский флаг спущен! Тёплая звёздная ночь окутывает своей тенью корабли, которые мы только что покинули. У меня на душе холодно и пусто. Теперь я окончательно потерял всё, что мне было дорого...».

К этому времени Нестору только что исполнилось 38 лет. Его жене Людмиле, судовому врачу, — 34 года. Крушением жизни они были выброшены на тунисский берег. Россию они потеряли навсегда. Впрочем, такой страны больше не существовало, а Российская Советская Республика была местом страшным. Там оставались родные, и думать об их судьбе было трудно.

Как и все, прибывшие с русской эскадрой, Нестор Монастырёв назывался теперь «беженцем». Привыкнуть к этому было нелегко, — слово «беженец» плохо совместимо с кодексом воина и офицера. И так же трудно было осмыслить, что отныне они — «ничьи», но надо продолжать жить.

Врачи были востребованы, французская администрация предложила Людмиле Сергеевне работу в Тунисе. Для этого надо было принять фран-

цузское подданство. Долго потом члены эскадры помнили, как, повстречав на бизертинской улице товарища, Нестор объявил:

— Можешь поздравить, я — француз.

И пошёл дальше, не оборачиваясь. Товарищ смотрел вслед. Он был слегка шокирован... А Нестор Монастырёв просто подвёл черту.

...Поселились в Табарке, на западе Туниса. Дом построили на холме, сразу из дверей открывалась морская даль. Средств хватало на вполне приличную жизнь. Детей у них не было. Людмила Сергеевна работала, Нестор Александрович писал историю русского флота. Став морским писателем, он издал на разных языках около 10 книг и был награждён французской академией «Пальмовой ветвью». Состоял членом Исторической комиссии Общества бывших русских офицеров в Америке. Ещё он мастерил модели всех судов, входивших когда-то в эскадру, и, конечно, подводных лодок, которыми довелось командовать...

В 1935 году журнал «Часовой» в Париже, сотрудником которого он являлся, напечатал заметку «Морской музей кап. 2 р. Монастырёва». Вот маленькая выдержка оттуда.

«...Нашъ сотрудникъ кап. 2 р. Монастырёвъ, известный подводникъ и историкъ русскаго флота. Здесь, за рубежомъ на французскомъ, немецкомъ и итальянскомъ языкахъ вышелъ рядъ его интересныхъ и поучительныхъ книгъ: «Въ Черномъ море», «На трёхъ моряхъ» и «История русскаго флота». В печати находятся (в частности и на болгарскомъ языке) «Славянская раса и море», «Къ южнымъ морямъ», «Северные витязи» и «Погружающийся корабль». Надо признать, что среди зарубежныхъ морскихъ писателей Н. А. Монастырёвъ занимает одно изъ видныхъ местъ.

Этимъ, однако, деятельность кап. 2 р. Монастырёва на пользу русскому флоту за рубежомъ не ограничилась. Наряду с писательской деятель-

ностью, он решил собрать в далёкой северной Африке, куда судьба забросила последние остатки нашего флота, музей, ему посвящённый. В нём собраны модели кораблей, участвовавших в Великую войну, главным образом подводных лодок, как например «Скаты», «Кашалоты», «Крабы», «Утки» и др., а также модели кораблей, на которых были совершены географические открытия и арктические плавания.

В виде реликвии хранится кормовой флаг «Утки».

В Табарке Нестора Александровича называли «комендант» за морскую фуражку, без которой он не появлялся. А появлялся он в городе не часто, предпочитал уединение. В доме было много книг, хорошее пианино. Для прогулок Нестор Александрович пользовался велосипедом, Людмила Сергеевна запомнилась горожанам как владелица первого в Табарке автомобиля.

В 63 года Нестор Александрович перенёс инсульт, последние годы не вставал, отказали ноги. Умер он 13 февраля 1957 года. Через полгода скончалась Людмила Сергеевна. Они прожили вместе почти 45 лет... Погребение их, как записано в церковной книге, «совершил Игумен Пантелеймон на местном кладбище».

ВСТРЕЧА

Белая гвардия,
Белая стая,
Белое воинство,
Белая кость...

Р. Рождественский

...Я уже знала, что надо идти вперёд по дорожке до каменной стены, а там — налево и вверх, так как кладбище расположилось на склоне хол-

ма, над самым морем. Я пошла и, почти сразу, увидела его, — потемневшего железа ажурный православный крест. Ах, этот ком в горле и невозможность говорить... Верный признак старости. Вот и добралась, сказала я им мысленно, поклон вам, родные мои! Далёко навещать вас, из России до Африки путь не близок.

Море обнимало кладбищенский холм и уходило дальше, подступало к другим холмам, покрытым пробковыми лесами. Через пролив, прямо напротив кладбища, вершину холма венчал романтического очертания замок. Цвет неба и цвет моря сливались и создавали необычайно пронзительное ощущение жизни на земле. Тут, под тяжёлой серой плитой они лежат рядом: капитан 2-го ранга, георгиевский кавалер Нестор Александрович Монастырёв и его жена, судовой врач Людмила Сергеевна Монастырёва, урождённая Енишерлова. Первая женщина в истории войны 1914 года, зачисленная в Морское ведомство, врач госпитального судна Черноморского флота «Пётр Великий», эвакуированная вместе с севастопольским госпиталем в Бизерту, прошедшая все неженские тяготы пути рядом с тяжелоранеными.

Сегодня 29 ноября, день рождения Нестора Александровича. Разве не чудо, что именно в этот день я стою здесь, у его могилы? Говорят, что в Тунисе в это время года такая погода, как сегодня, — редкость. Воздух исключительной прозрачности и голубизны от обилия неба и моря. Замок на холме виден отчётливо, круглую массивную башню венчают резко очерченные зубцы.

...Никогда не забыть мне Северную Африку, Тунис и эту встречу! Тихие, сонные бухты Бизерты, где сгинула последняя русская эскадра, молчали. Дом Монастырёвых в Табарке стоял на высоком холме, пустой и заколоченный, но странно живой, будто вчера покинутый хозяевами. Возле дома мощные кактусы угощали вкусными и сочными, багрового

цвета плодами. Какой-то особый был сорт этих кактусов, не колючий. Мне рассказали, что возле дома Монастырёвых когда-то прогуливались павлины... Вероятно, этот сказочный антураж развлекал и отвлекал хозяев от грустных мыслей.

И вот — осталась высокая их могила, чтобы вечно видеть море, море, море...

В одной из табачных лавок, непонятно какими путями попавшие туда, сохранились три модели русских подводных лодок, сделанных руками их командира. Всё, что осталось от музея, созданного Нестором Александровичем. Последнее напоминание о том, петровском флоте. Пока ещё эти модели можно увидеть, миниатюрная «Утка» — в боевой готовности, крошечные пушки подлодки — не задраены.

Кортик Нестора, по счастью, был передан в Петербург, в Военно-морской музей. Он хранятся как экспонат, имеет инвентарный номер и краткое описание, через которое невозможно дотянуться до того волнительного и торжественного момента, когда Георгиевское оружие было вручено Нестору Монастырёву.

«...Клинок прямой, четырёхгранный, без украшений. Верхняя часть рукояти сферической формы, украшена лавровыми ветвями и рельефным вензелем Императора Николая II. На торце головки прикреплён муляж знака ордена Св. Георгия. На обеих сторонах крестовины нанесена надпись — «ЗА ХРАБРОСТЬ».

...На пианино Монастырёвых я играла, оно сохранилось в доме Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн, вместе со своими родителями, прибывшей когда-то в Бизерту восьмилетней девочкой, ставшей хранительницей памяти о русских моряках, прекрасным писателем и

всеобщей «Бабу». Звуки расстроенного пианино были неточными, расплывались, как и положено голосам из прошлого.

Анастасия Александровна, зная о замысле моей будущей книги, сказала важные для меня слова:

— Чтобы шли «знаки» — нужна доза страстного интереса. Даже не исторического, а исключительно кровного. И только тогда — «бывают странные сближенья»...

Она показала нам «русскую» Бизерту, — бухту, в которую навсегда причалили русские корабли, кладбище, где похоронены моряки эскадры, церковь, которую они построили здесь. В доме Анастасии Александровны всё напоминало милое прошлое нашей России: иконы, книги, макеты кораблей...

— Я помню, как Нестор Александрович приходил к папе о чём-то посоветоваться. Он был очень красивый... Как-то он сказал, что род Монастырёвых ведёт своё начало от Рюрика, и тут же начался спор: существовали или нет во времена Рюрика монастыри...

Ну, вот и привет из прошлого, Монастырёвы — голубая кровь... Я думаю, что прабабушка Мария Андреевна так старательно вдалбливала это детям в качестве воспитательной установки — быть всегда «на высоте». Что ж, в конце концов «голубая» кровь никого из моих предков не подвела, помогла вынести всё с достоинством... Пусть бы с таким же успехом осуществлялась она в их потомках.

...Уходя, у самых ворот, я обернулась. Отсюда кладбище было похоже на корабль, выходящий в море. Прямо на носу корабля, под православным крестом спит русский моряк, красивый и бравый москвич с «летописным» именем Нестор: «крупный морской историк, писатель, большой русский патриот», и «один из последних Баянов Российского флота, редкий по благородству и преданности России человек», как было

написано в некрологе. (Сноска: Газета «Русская мысль», 1957 год, Париж) Горстка московской земли на его последний приют, свеча, иконка и — ощущение, что повидались.

...Песен о Красной армии было много, они сопровождали меня с детства. Их пели и дети, и взрослые, пели с чувством и гордостью.

Белая армия на голову разбита,
А Красную армию никто не разобьёт!

А я любила одну, грустную и душевную, от которой увлажнились глаза. Это была песня времён Гражданской войны о смерти юного бойца-будённовца, сражённого белогвардейской пулей. Печаль была светлой, прощающей и совсем не «мстительной».

Он упал возле ног
Вороного коня
И закрыл свои
Карие очи:
Ты, конёк вороной,
Передай дорогой,
Что я честно погиб
За рабочих...

Могла ли я тогда думать, что песня эта имеет прямое отношение к моей судьбе, что «красные» и «белые» будут мне одинаково близки и дороги...

...А между тем, родственников своих по папиной линии, в том числе и самого папу, я искала всю мою жизнь. К моменту моего рождения они исчезли. Но — куда, каким образом, — мне не объясняли.

— А дядя Нестор?

— Он уехал в Африку в 14-м году...

Ничего себе! В Африку! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы...

— Он поехал зачем? Охотиться?

— Ну, скорее миссионером... Вообще хотел построить там фаланстер.

Про миссионеров я слышала, а что такое фаланстер? Из объяснений следовало, что это некая круглая башня для познания общечеловеческого счастья.

— А чем он вообще занимался, дядя Нестор?

— Ты знаешь, он был фантазёр... Монастырёвы все обожали фантазировать...

ПОТЫЛИХА

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Александр Блок

После революции дом на Потылихе Монастырёвым оставили. Коллегой Александра Николаевича по работе и преподаванию в Московском университете был печально известный Андрей Януарьевич Вышинский, в советское время — сталинский прокурор. Будто бы именно он письменно свидетельствовал, что дом присяжному поверенному Монастырёву построили крестьяне за выигранный в их пользу процесс.

Случались и опасные моменты. Вдруг из Туниса пришло письмо и денежный перевод от Нестора. Пришлось отказываться в срочном поряд-

ке, оставить письменное отречение в самых серьёзных и страшных советских органах.

Дети и внуки, когда бывала необходимость, поселялись на Потылихе, набирались духу и сил для дальнейшей жизни в то тяжёлое время. Вот так пребывала там некоторое время и моя бабушка Людмила Александровна, но не долго, в родительском доме именно ей было очень не просто. Надо было искать выход, устраиваться. Людмила Александровна делала то, что было в её силах, но здоровье её ухудшалось. Младших детей как-то удалось пристроить в приют, там они были всё же сыты, в то голодное время это было важнее всего. В приюте их называли «генеральские дети», но дальше этого, Слава Богу, не шло.

Старшего Ростислава в 16 лет мобилизовали в Красную армию, он прошёл военную подготовку и оказался в коннице Будённого. Шёл октябрь 20-го года, красные конники направлялись в Крым, на Перекоп. Как сложилась бы судьба семнадцатилетнего юноши, бывшего кадета, в той страшной ситуации? Но, по болезни, Ростислав отстал, задержался в глубинке, в каком-то селе, там и остался жить до поры до времени. Однажды в избе, где стены были оклеены газетами, прочитал своё имя. Оно значилось в списках пропавших без вести бойцов Красной армии. Мужчин в деревнях осталось наперечёт, Ростислав работал, учительствовал и смог поступить в сельскохозяйственный техникум, а в 1928 году, как сельский опять же труженик, стал студентом-заочником естественного факультета Педагогического института.

В конце двадцатых годов из Сибири пришло известие от Семёна Назаровича. Он оказался в Забайкалье, бедствовал. Возвратиться к жене, к семье не мог. Маленькое фото сохранило облик дедушки Семёна Назаровича: худое лицо, борода, пронзительные глаза смотрят из-под низко надвинутой фуражки рабочего-железнодорожника. На обороте

бисерная надпись: «Христос Воскресе, дорогой Рося!». И по диагонали печатными буквами: «г. Зайсан». Запомнилось из рассказов, что дед болел и ему необходим был белый хлеб. Дети отправляли ему в Забайкалье продуктовые посылки, деньги и заботились, чтобы он хорошо питался.

В 23-м году в Забайкалье уехали Эмма, Мстислав и Юлий. Эмма вернулась очень быстро и с тяжелейшими приключениями, которые с первого до последнего дня сопровождали её в этом мире. Молоденькая, среди страшного российского развала и жестокого безумия, хроменькая моя тетя Эммочка, как её все называли, пыталась заработать кусок хлеба учительским трудом. В Забайкалье не устроилась, отчаялась и пустилась в обратный путь. Добиралась обратно в Москву на крыше поезда, оттуда её ссадили, и она неделю шла пешком, в основном старалась идти по лесу, — страшно было встречаться с людьми. Голодала, в кровь стёрла ноги, и всё падала, падала... И тоже сложилось счастливо — она добралась до Москвы, её приняли в доме на Потылихе родные, поселили на втором этаже в маленькой комнатке. Эммочка отдышалась, пришла в себя, начала жить дальше.

Есть фотография: Потылиха, 23-й год. На скамейке среди деревьев сидит Мария Андреевна Монастырёва, полная старушка, голова повязана платком, а вокруг — внучки и правнучки, только девочки, все разных возрастов. Позади стоят те, кто старше. Самая первая в ряду — Мила, старшая и любимая дочь бабушки Людмилы Александровны. На всех фотографиях она — грустная. И очень красивая. Вот Мила пятнадцатилетней девочкой, воспитанница Института благородных девиц. Добрые доверчивые глаза, белое платье с рукавами почти до конца пальчиков, воротничок «под горлышко», две косы перекинута на грудь, заплетены до самых кончиков, в общем, девочка — чистота и строгость.

Будто в наследство от матери Миле тоже выпала на долю роковая любовь. Женатый человек, Валентин Виллуан, стал её невенчанным мужем. Жена его была до революции богатой помещицей. В двадцатые годы её, очень нездоровую, выслали в холодные края, за Урал. В ссылку они отправились втроём. Вот они сняты перед отъездом — Мила и Валентин. Приятная пара, он, конечно, красавец и с усиками, она — с чудесной улыбкой и чуть неуверенными детскими глазами. Фото на память тем, с кем расстаются.

Прошло время, Валентин умер. Мила осталась жить на Севере в городе Красновишерске, давала уроки музыки, работала аккомпаниатором. Она никогда больше не приезжала в Москву, не виделась с сёстрами. Присылала фотографии, где стоит среди невероятных снегов или снята в бедной комнатке с бревенчатыми стенами: кровать, аккуратно убранная, с кружевным подзором, стол, будильник, табурет. Мила в белой кофточке, прямая спина и, как всегда, добрые, доверчивые глаза. На обороте надпись карандашом: «В нашем уголке в выходной день 30 / VII — здесь вместе прожили 3 с пол. года — здесь и умер Валентин Леонидович». Судя по этой надписи, Мила любила и была счастлива. И местом ссылки не тяготилась. В письмах она настоятельно приглашала всех в гости, подробно объясняла, как доехать: до Красноярска — поездом или самолётом, «от Красноярска на пароходе, затем — на попутке, после, совсем немножко, на дрезине... Конечно, далековато, но зато увидите, какая здесь красота!».

... Бабушка Людмила Александровна умерла вскоре после отъезда любимой своей дочери. Скорее всего, это было последней каплей, переполнившей чашу её невзгод. Последнее время она жила в сторожке усадьбы Татарское и тяжело болела. С ней, чаще всего, находилась «незаменимая» Эммочка.

На маленьком фото, сделанном незадолго до бабушкиной смерти, стоит маленькая старушка, покрытая грубым деревенским платком. И не узнать в ней прелестной барышни-консерваторки с косой вокруг милой головки, со смеющимися глазами...

Спустя несколько месяцев после смерти дочери скончался Александр Николаевич Монастырёв. Его похоронили в ограде Троице-Голенищевской церкви, где «безмолвно и тайно от всех плещей», то есть, где нет людской суеты. Где — покой...

Прабабушка Мария Андреевна осталась на Потылихе со старшим сыном Уалентом и его многочисленной семьёй. Жизнь её была долгой, она пережила свою бедную дочь Людмилу, своего мужа, своего младшего сына Сократа и нескольких внуков. Где похоронили её — неизвестно. Может быть, тоже в Троице-Голенищевской церкви, рядом с мужем? Хочется верить, что там, но с 30-х годов храм уже был закрыт. В настоящее время церковь снова место молитв, но кладбище уничтожено, могил не существует. Можно просто постоять на том месте, где они когда-то были, и помянуть дорогих своих предков.

В пятидесятых годах на Воробьёвых горах, на высоком берегу Москвы-реки стали строить правительственные особняки, тогда-то и снесли дом Монастырёвых на Потылихе...

... Единственные, кого удалось мне узнать и запомнить, были папины сёстры. Воспоминания о них дороги мне, как последнее звено драгоценной родовой цепочки.

Тётя Эммочка продолжала жить на Потылихе, у неё была комнатка в деревянном бараке. Дети из правительственных особняков в начальных классах учились у неё. Даже дочка И. В. Сталина, которую она на-

зывала Светланкой. Однажды в школу пришёл Светланкин отец, какой это был переполох!

Тётя Эммочка была вся какая-то мягкая, уютная, бесконечно добрая. Как многие Монастырёвы, она слегка картавила, помню, как называла меня «вапушка» вместо «лапушка». Она была нужна всем и всегда. Именно она была хранительницей семейных преданий, от неё пришли ко мне основные сведения о монастырёвских корнях. Нас с сестрой — «детей Росеньки» — тётя Эммочка очень любила. Приезжала в Балашиху в праздники, в дни рождения. С трудом, сильно припадая на короткую от рождения ногу, добиралась она от станции до нашего дома и смеялась особенным своим тихим смехом, описывая свой мучительный поход. Своей семьи у Эммочки не было, зато за всю родню, особенно за младших сестёр и племянников, она, не переставая, болела душой. Магда, Тамара и Сара всегда были на попечении милой тёти Эммочки.

Магдалина-Магда всю жизнь испытывала к своей цыганистой внешности пристальное внимание: смуглая, черноволосая, нос с горбинкой — она никак не тянула на русскую. В то время в Советском нашем Союзе не прекращалась борьба «с вездесущими космополитами», сослуживцы и соседи косились на Магдалину Семёновну подозрительно. Та же слегка прикартавливала и, ни на кого не обращая внимания, носила немислимы шляпы. Некоторое время считала себя художницей-авангардисткой, а после многих потерь и женских разочарований родила мальчика Аркашу. Вырастить его помогла тётя Эммочка.

У Тамары, кокетливой и взбалмошной, был сын Эдуард. Муж Тамары в Большом театре возглавлял партийную организацию. Он был очень маленького роста, но должность имел по тем временам почётную. Он возил жену в театральный дом отдыха, она общалась с «престижным контингентом» и любила в разговоре щегольнуть какой-нибудь фразой, вроде

«наши балетные девочки»... Тамара носила красную шляпу, Эдика обучала игре на скрипке. Потом, как в те времена было принято, муж Тамары исчез, его куда-то отправили навсегда, и жизнь её пошла-покатилась, как у всех сестёр, трудная, с непостоянным мизерным заработком.

Так жила и самая младшая — Сара, которая вынуждена была переименовать себя в Лару. Как и Магда, она вызывала сомнение у начальства при приёме на работу: крупные тёмные глаза, нос с горбинкой, картавит, да ещё и Сара! Сара-Лара работала чертёжницей, личная её жизнь счастливой не была. Она не смогла иметь детей, любимый муж оставил, а следующий оказался нрава резкого, вспыльчивого, на жену, случалось, лез с кулаками. Эммочка переживала за сестру, приезжала заступаться, но тогда доставалось и ей...

Высшего образования у папиных сестёр не было, жилось им очень трудно, натуры-то были художественные, «монастырёвские», — с фантазиями. Поддерживала их всё та же фамильная гордость, они уже в приюте именовались «генеральские дети» и привыкли не скрывать своё происхождение, а даже им бравировать: «Мы сёстры Сидельниковы, мы — голубая кровь». Это они любили повторять.

Папины сёстры дожили до старости, а два брата — Мстислав и Юлий умерли молодыми. Юлий из Забайкалья уехал в Сибирь, учился там, потом работал где-то на Урале, и вдруг — утонул при невыясненных обстоятельствах. В те времена люди часто гибли, загадочно и неожиданно умирали...

Мстислав или, по домашнему, Миша, был врачом и погиб в 1942 году при бомбёжке санитарного поезда.

Я пишу о Монастырёвых то, что запомнила из рассказов, слышанных в детстве, сопоставив их со сведениями, полученными позже, и пытаюсь выстроить связные сюжеты судеб.

ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК

Через день Чека допрос окончила ненужный...
В. Хлебников

Думаю, заслуживает внимания трагическая история жизни самого младшего бабушкиного брата, — Сократа Монастырёва. Остановлюсь на ней подробно, тем более, что по счастливой случайности у меня на руках оказались интереснейшие документы. Они предельно красноречивы и в комментариях не нуждаются.

Вот первый...

«Всероссийской чрезвычайной комиссии.

1 сентября 1918 г.

При сём препровождается арестованный мною бывший поручик Военный Лётчик Командир 3-го Московского Авиационного отряда Монастырёв, за саботаж, преступления по должности и подбор служащих «с определёнными целями» на должности не соответствующия их цензу (бывш. офиц.). Подробный материал даст следствие. Монастырёв член (офицерского) союза русских лётчиков. Необходим подробный и немедленный обыск как его, так и его квартиры, за которой установлено наблюдение. При аресте заявил что у него на руках казённые деньги. Для какой цели?».

Следующий документ:

«Российская Федеративная Советская Республика.

Н. К. В.Д.

Окр.управление Рабочее-Крестьянского

Воен.- Воздуш. Фолота.

16 сентября 1918 г., г. Москва.

Товарищу Рейфману.

В связи с массовым уходом служащих из отрядов вверенной Вам Авиагруппы что объясняется по моему следствию массовых арестов командного состава и предполагаемой очистки отрядов от специального подбора хулиганствующего элемента. Предписываю Вам с получением сего всех подающих заявление об увольнении арестовывать и наместе предовать их суду Революционного трибунала как соучастников шайки саботажников Микулина — Монастырёва — Козловского не желающих подчинятся Революционной дисциплине и порядку.

Комиссар Чугунов.

Секретарь Липатов».

Правда, страшно? Ужас вселяет и содержание, и дебильная косноязычность, и количество грамматических ошибок. Кто были эти люди, которые не знали орфографии и пунктуации русского языка, но нетерпеливо жаждали убивать?

...Раскачивать российскую лодку охотников во все времена было много, — как извне, так и в самой стране. Русское общество к концу девятнадцатого века особенно преуспело в критике и недовольстве монархией. Это была «мода», некая поза, характеризующая якобы просвещённого человека. Люди молодые, чаще всего состоятельные, образованные и честолюбивые, с удовольствием произносили подстрекательские речи, чаще — не всерьёз, скорее — рисуясь. Кричали «Долой самодержавие», плохо понимая, что из этого может выйти. Подражали Европе, где все хотели слыть свободолюбцами. «Когда я делаю революцию — я прекрасный возлюбленный» — гласит французская поговорка. Это одинаково волнует кровь. А террор — просто опьяняет.

«Раскольниковы» могли стукнуть топором по голове старуху-процентщицу, а могли кинуть бомбу в карету Царя-освободителя Александра Второго или выстрелить в талантливого преобразователя России министра внутренних дел П. А. Столыпина. Судьбу России вообще решили революционеры-террористы. Последний русский Государь Николай Александрович ещё мальчиком на всю жизнь был потрясён страшной смертью своего деда, и, возможно, нерешительность, в которой его всегда упрекали, была следствием этого ужасного впечатления.

Неукротимый русский мистицизм, талантливо воспетый нашей литературой, звал «преступить черту», заглянуть в бездну. Это всё был молодой кураж, пари с судьбой: «Тварь я дрожащая или право имею?». Можно ли сказать, что это сгубило Россию? Вероятно, — да. На столичное, салонное вольнодумство естественно ориентировались национальные окраины Великой Российской Империи. Им-то было, за что не любить самодержавие, — они жаждали своего освобождения и прав. Большевистская партия, незаметная и незначительная, с начала войны 14-го года быстро пополнялась новыми членами именно за счёт этих людей.

В 1917 году российское самодержавие рухнуло, начался «красный террор», большевиками сознательно были востребованы люди парадоксально жестокие, с уголовными инстинктами, из них формировались «чрезвычайки», им была отдана Россия, и они стали убивать всех без разбора.

И вот Сократ Монастырёв в руках ЧК, его жизнь висит на волоске. И это несмотря на то, что 12 сентября в НКВД поступило следующее заявление:

«Комиссару Окружного Управления В.Возд.Флота МВО

Прошу Вашего ходатайства в Чрезвычайной Комиссии о выдаче мне, как ответственному Советскому служащему, на поруки моего брата, военного лётчика Сократа Александровича Монастырёва, арестованного в воскресенье 1-го сентября.

Заведующий врачебно-санитарной частью Воздушного Флота МВО
Доктор Монастырёв».

Резолюция наискосок: « В к-т центральной партии к.п. больш». ».

За Сократа хлопочет старший брат Борис. До Первой мировой войны Борис Александрович — известный московский врач, владелец кумысно-лечебного заведения. В 14-м году — мобилизован на должность врача Воздушного флота. Она остаётся за ним и после октябрьского переворота. К счастью, врач всегда защищён профессией от самой зверской власти, и Борису удалось спасти Сократа от неминуемой расправы. Младший брат был отпущен на поруки и поселился в квартире Бориса на 1-й Тверской-Ямской. Таким образом, семья доктора и он сам стали заложниками, гарантией лояльности Сократа к большевикам. Без сомнения, комиссар Чугунов пристально наблюдал теперь уже за обоими братьями.

Стоит не забывать эту историю, особенно, когда речь заходит о «добровольном» сотрудничестве бывших царских офицеров с большевиками...

В Гражданскую войну Сократ был прикомандирован к 11-й армии Туркестанского фронта и, опять же с помощью Бориса, его отправили подальше от Москвы.

Вот выписки из приказов советских воинских частей.

«Монастырёв С.А., командир боевого звена особого назначения при Штабе 11-й армии вылетел из Астрахани в конце марта 1920 г. На «Фармане-XXX» по маршруту Астрахань — Святой Крест — Баку. Спу-

стился в рабочем посёлке в Баку и восторженно встречен рабочими. За всю напряжённую работу в течение Апреля 1920 года Реввоенсовет 11-й армии вручил Монастырёву орден Красного Знамени. Самолёт, который преодолел 1500 вёрст, остался в полной пригодности».

В 20-х годах журнал «Красный воздушный флот» напечатал воспоминания Сократа о трудном перелёте через пустыню. Хочется привести здесь с некоторыми сокращениями это несомненно талантливое произведение. Детали кажутся мне заслуживающими внимания, интересно представить себе маленький и, в общем, ненадёжный по теперешним меркам, фанерный «Фарман-30», на борту которого, кроме лётчика Сократа Монастырёва, находился член реввоенсовета 11-й армии Сергей Миронович Киров.

«...День для вылета оказался на редкость удачным. Воздух был абсолютно прозрачен: ни пыли, ни малейших испарений. Тишина и ясная видимость на огромный радиус. Лёгкий морозец бодрит, создавая хорошее настроение. Как всегда начали собираться с 9-ти часов и вылетели только в 11 часов. Первый поднялся Михалюк с командиром, вторым Соболев с братом Михалюка и последним я с товарищем Кировым.

Хотя предварительно мы и условились держаться друг за другом, но Михалюк сразу взял ошибочно курс, резко повернув на юг, Соболев последовал за ним. Я же, учтя сразу их грубую ошибку (впоследствии это подтвердилось), не захотел держаться за ними и повернул на юго-восток прямо на устье Волги и Каспийское море...

Под нами простиралось необозримое земное пространство совершенно пустое, без всяких дорог, населённых пунктов, рек и вообще каких бы то ни было признаков человеческого пребывания. Только изредка попадались небольшие солончаковые озёра с ярко-жёлтым ржавым цве-

том воды. Я подивился летучести «Фарсаля», который при нашей солидной нагрузке и неполных оборотах мотора так быстро и легко шёл кверху... Зато обнаружилась новая беда: от неподвижного сидения в одной позе в течение более двух часов заломило поясницу, ноги отекали, и их стала сводить судорога. Стиснув зубы, пришлось молча переносить эти мучения. Кругом нас земля сливалась с небом на линии горизонта, а внизу простиралась необозримая пустыня, где в случае вынужденного спуска нельзя было ниоткуда ждать помощи. С собой ни еды, ни питья, а до ближайших населённых пунктов несколько сот вёрст... Солнце уже склонилось к горизонту, ещё час и наступит полная темнота, а перед нами только земля и небо, и никаких признаков того, что мы близки к Св. Кресту. В груди появилось противное чувство беспокойства. ...Вдруг я увидел, что аппарат Михалюка пошёл к земле и вскоре, прокатившись по ней, остановился. Очевидно, произошла какая-то авария. Посоветовавшись с Кировым, я сбавил газ и начал планировать. Оказывается, у них отказала свеча и на одном из цилиндров мотора лопнула клапанная пружина. Но дело было не в этом. Наступала ночь, дальше лететь было невозможно. Мрачно оглядываясь вокруг, мы заметили невдалеке от нас несколько характерных шатров, которые употребляют кочующие в этой пустыне калмыки. Странно было то, что около них совершенно отсутствовали люди, хотя за изгородью тут же стоял разный скот. Мы решили идти в этот калмыцкий юрт. Каких-либо опасений в смысле нападения у нас совершенно не было, так как мы все были достаточно хорошо вооружены. Как только мы вошли во двор их юрты, мы увидели целое семейство калмыков, прижавшихся к одному из шатров и с диким ужасом смотрящих на нас. Оказывается, по своему религиозному невежеству, дикари приняли нас за шайтана, спустившегося с неба с целью покарать их. Весь их священный ужас рассеялся, конечно, когда они увидели, с какой

жадностью шайтаны накинулись на молоко и с каким человеческим аппетитом стали есть только что изжаренное баранье мясо, попивая в промежутках горячительную влагу. Из расспросов об их жизни я узнал, что эти люди живут совершенно особняком от современной цивилизации, которая их нисколько не интересует и не затрагивает уклада их своеобразной жизни. Даже в этой необычной обстановке, уважаемый Сергей Миронович Киров не мог отказать себе в удовольствии поагитировать за советскую власть.

Приятно было лежать около костра на войлоках, закусывать, курить и наслаждаться отдыхом после целого дня нервного и физического напряжения. Тем временем на дворе незаметно наступила ночь, и я внезапно спохватился о том, что у нас в степи осталось два аппарата, причём на одном из них целый мешок денег. Смешно было думать, что кто-нибудь их похитит, но у меня было основательное опасение предполагать, что бродячие стаи волков могут просто потрепать наши самолёты и привести их в негодность. Я быстро вскочил на ноги, схватил Михалюка и стал убеждать его идти ночевать у аппаратов. Мы отправились к своим самолётам. Кто бывал в таких степях, тот знает, что ночью там необыкновенно темно, и когда мы вышли из дворика юрты, то, через несколько шагов, потеряли из виду и юрту, и всё окружающее, и продвигались вперёд почти что ощупью, держась друг за друга. Ходили мы долго и упорно по пустыне, пытались вернуться обратно в юрту, но не нашли ни её, ни аппаратов. В конце концов, выбившись из сил, свалились на землю, решившись дожидаться рассвета и отдохнуть. Ночью ударил мороз... Пролежав десять минут, я проморозил себе бок. Повернулся на другой, повторилось то же, я — опять на прежний, и так вертелся до тех пор, пока не дошёл до ледяного безумия. Вскочив, наконец, на ноги, я стал бегать и прыгать как сумасшедший, стараясь всячески разогнать застывшую кровь.

Вдобавок к этому, издали донеслось завывание волка. К счастью, волки всё-таки, должно быть, боялись близости жилья кочевников и не подошли к нам. Тем не менее, я провёл кошмарную ночь, не сомкнув ни на секунду глаз и совершая под вой волков свой бешеный танец. Когда, наконец, наступил рассвет, то оказалось, что мы находимся всего лишь в нескольких сотнях шагов от наших самолётов. После сытного завтрака, устроенного нам калмыками, в 11 часов утра я запустил мотор Михалюку, предварительно уступив ему одну из свечей со своего мотора. Затем пустил мотор у себя, причём тов. Киров сидел на контакте. Мы быстро оторвались от земли. Я наметил направление на реку Куму, и когда, наконец, через час полёта передо мной ярко засверкала её серебряная лента, я понял, что вырвался на верный путь из этой проклятой удручающей пустыни и радостно вздохнул полной грудью».

В 20-м году Сократу Монастырёву было 30 лет. Молодой, отважный, «рисковый» и — романтик. В Москве, в Музее космонавтики, среди лучших асов значится его имя. Тут же — фотография и сведения:

«Начавиарм XI С. А. Монастырёв, бывший подпоручик, военный лётчик, инструктор, командир боевых частей. Начальник научно-опытного аэродрома. Кавалер трех орденов Красного Знамени».

Погиб Сократ в 1928 году в авиационной катастрофе, такова официальная версия. А по другой — он прожил дольше, был начальником опытного аэродрома, испытывал самолёты и был очень близок, по старой дружбе, к С. М. Кирову. После убийства Кирова в 1934 году, Сократа отправили в сумасшедший дом, в те годы это часто практиковалось советскими органами госбезопасности. Больше Сократа никто не видел, «комиссар Чугунов», в конце концов, восторжествовал...

Думаю, что именно так всё и было, ведь именно в эти годы Красная армия была полностью обескровлена, казнены или «исчезли» тысячи

лучших военных специалистов, боевых командиров и военачальников, таких, как Тухачевский, Дыбенко, Якир, Куйбышев. Сократ Монастырёв, один из лучших лётчиков своего времени, разделил их судьбу.

...В сороковых годах на чердаке монастырёвского дома обнаружили винтовку с привинченными орденами Красного Знамени. Вероятно, подарок Сократу к какому-то юбилею, возможно, что именно от С. М. Кирова. На семейном совете было решено утопить эту находку в реке. Всё пугало людей в Совдепии, и вести от «белого» Нестора из Туниса, и реликвия «красного» Сократа.

...Потомства младшие Монастырёвы не оставили. Ушли в небытие Нестор и Сократ, красивые и отважные, словно сошедшие со страниц приключенческого романа моряк-подводник и лётчик-ас. По таинственному промыслу сведения о них через много лет дошли до меня, их внучатой племянницы, и я рада нашей встрече.

НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ

...Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обречённых на слом лачуг...

— Какой интересный город, не правда ли?

Азazelло шевельнулся и ответил почтительно:

— Мессир, мне больше нравится Рим!..

М. Булгаков, роман «Мастер и Маргарита»

Уверена, что неслучайны были все чудесные находки, которые шли в мои руки, едва я принялась за эту книгу. Письма, фотографии, книги,

газетные статьи, летописи находили меня совершенно невероятными и, вместе с тем, абсолютно простыми путями. Я понимала, что должна дать «высказаться» тем, о ком пишу, услышать их «послания» в наш мир. Удивительными деталями и подробностями пополнялась моя родословная.

...Все Монастырёвы всегда отличались талантами, художественными наклонностями, мощным творческим запалом. И все были очень музыкальны. Совершенствуя это качество, природа, наконец, подарила миру великого композитора — Модеста Петровича Мусоргского:

«...Род Мусоргских известен в Псковском крае с древних времён. Родоначальник фамилии, — Роман Васильевич Монастырёв, по прозвищу Мусорга, происходил из князей смоленских и считал себя потомком Рюрика. Он был внуком Андрея Юрьевича Монастыря, Рюриковича шестнадцатого поколения...»

Искрой Божьей был отмечен этот древний род. Но словно злой рок обрушился на него после революции 17-го года, — одни умерли молодыми, другие покинули родину, третьи пропали без вести... Красивые, сильные и талантливые, они словно спешили закончить земную жизнь.

Я думала об этом, бродя по высокому берегу Сетуни, возле Троице-Голенищевской церкви, там, где, должно быть, был похоронен прадед, Александр Николаевич Монастырёв. Оттуда пошла на Потылиху, каменная набережная преградила путь к реке. Была весна, на месте, где стоял дом, цвела старая сирень, а позади нерезким подъёмом начинались Воробьёвы горы...

Тут волею Михаила Афанасьевича Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» стоял Воланд со своей свитой. Он смотрел за реку, на купола Новодевичьего монастыря и готовился погубить Москву — Третий Рим. Князь тьмы правил тогда Россией. Рок, как страшное проклятие, лёг не только на моих родных, но — на всю страну. Он губил русскую жизнь,

сокрушал людей, мучил, убивал, гнал за колючую проволоку. Инквизиторские казни и пытки ломали самых сильных. Дьявольская карусель кружилась, миг расправы готовился тщательно, лепился безумный спектакль в угоду усатому режиссеру. По его замыслу роли менялись, палачи становились жертвами и под пытками сами просили пощады, признавались в самых немыслимых преступлениях, подписывали любые ложные доносы. Вероятно, не только булгаковский Мастер, а и каждый, кто в условиях сталинской диктатуры не надеялся более на помощь свыше, кто измучился и устал от несправедливости, — готов был присоединиться к свите Воланда. Глянуть без сожаления в последний раз на Москву, и под пронзительный свист сатаны покинуть навсегда этот город с вечными золотыми куполами, но похожий на грешный Содом.

В конце тридцатых годов папа повёз на Потылиху свою молодую жену. Мама запомнила рояль в большом зале на первом этаже, картины на стенах с морскими сюжетами, и колоритного старика, голубоглазого, с пышной белой шевелюрой и бородой, похожего на древнегреческого философа. Это был архитектор Московского высшего технического училища, Коллежский асессор Уалент Александрович Монастырёв. Он сидел в шезлонге возле зарослей сирени и смотрел за реку, на предзакатно сверкающие купола Новодевичьего монастыря, на их зыбкое отражение в Москве-реке.

...Я стояла на том месте, где когда-то был дом, и была жизнь. Весенний день остывал, сирень запахла сильнее. Река текла мимо, не замечая смены времён. «...Во всех Монастырёвых, в их профиле, во вьющихся светлых волосах было что-то античное...»

Я думала, что на смену уходящему дню завтра придёт другой, встанет солнце и зазвучит над городом, как бессмертное произведение Мусоргского — «Рассвет над Москвой-рекой».

МОЯ СЕМЬЯ

Счастье — лучшие университеты...
А. С. Пушкин

...А в Балашихе, между тем, жили себе, поживали мои молодые тогда родители. Любили друг друга, любили маленькую толстушку Инночку. Летом папа вставал пораньше, брал дочку и шёл с ней к реке, на солнышко. Инна рвалась к воде, кричала «бода, бода!»... А мама рано вставать не любила, если было возможно, и тогда её заботы начинались позднее.

Она спускалась с кастрюлями в общую кухню, готовила обед, беседовала заодно с соседками о том, о сём, понимая, что завидуют ей слегка обитательницы учительского дома. Ведь женское счастье, выпавшее моей маме, достаётся далеко не каждой женщине... И пироги мама затевала часто, особенно если ожидалась гости из Москвы, — папины сёстры. Старшая из них — Эммочка, была понятной и родной, Сара-Лара тоже, тем более, одного с мамой возраста. А вот Магда и, особенно, Тамара, экстравагантно одетые, гордые каким-то «голубым», совершенно не «жизненным» цветом крови, маму смущали и напрягали.

Папа был старше мамы, и абсолютный для неё авторитет. Когда Инночке исполнился один годик, мама поступила учиться в педагогический институт — так решил папа. Через год она уже преподавала в школе историю, в той самой, где папа вёл уроки биологии. Историков в то время почему-то решили готовить ускоренным способом. Хотя это понятно, ведь в советское время история нашей великой России стала очень коротенькой, её исчисляли всего-то с 1917, а шёл 1939-й.

Пока мама училась, папа, образцовый муж и отец, сидел с ребёнком, варил кашку, стирал пелёнки. Правда, занимался этим в комнате, как-то не решался выходить с тазиком в кухню на общее обозрение. В общей

сложности родители мои прожили всего пять неполных лет. Папу отзывали на военные сборы, он побывал в Монголии.

Мама всегда ждала его с уверенностью, что вернётся живым и невредимым, покупала дефицитные по тому времени вещи: пальто, костюм, ботинки. Потом, правда, оказывалось, что куплено «на вырост», сидит мешковато. Но папа выглядел, безо всякого сомнения, вполне счастливым.

Его сёстры не могли не замечать всех этих радостей дорогого брата Роси, и, думаю, искренне прощали моей маме отсутствие «голубой крови». Чем-чем, а такой диковиной ни мама, ни её многочисленная родня — Воронины и Ляпичевы — похвалиться не могли.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ. ЛЯПИЧЕВЫ

Снова вспомнятся детство и лето,
Путь на станцию за три версты,
И люблю я, наверно, за это
Полевые простые цветы...»

В. Инбер

Полевые цветы плохо смотрятся на фотографиях. Крохотные венчики не фотогеничны. Получилось, что у женщины на выцветшем снимке в руках простой пучок травы. «Это я сразу после экзаменов снята, дети мне цветы подарили», — рассказывала тётя Таня, Татьяна Павловна, дальняя и последняя деревенская моя родня, более полувека проработавшая сельской учительницей. К этому моменту мы с ней не виделись более сорока лет, я помнила её совсем молоденькой девушкой, она меня и вовсе — пятилетней.

...В то лето 1946 года мы с бабушкой Наташей приехали гостить к тётке Фене, сестре моего деда Фёдора. Таня была её дочкой, жили они тогда в деревне Бычки Калужской области. Время было послевоенное, очень голодное, меня привезли «подкормиться» — у тётки Фени была корова. По утрам бабушка заваривала тёплым молоком толокно — забытый теперь продукт из овсяной крупы, и начиналось наше с ней «великое противостояние». Терпения у нас обеих хватало с избытком, у меня на то, чтобы сидеть с полным ртом и не глотать, у неё — чтобы дожидаться и засунуть мне в рот очередную ложку.

Еду, которой меня старались накормить, я ненавидела. Как бы сказать помягче: еда эта была не детского вкуса. Меня неумеренно пичкали рыбьим жиром, жарили на нём картошку, мама варила и тушила лисье мясо, тушки ободранных чернобурок можно было раздобыть на балашихинской звероферме. Мясо было жёсткое, с непривычным, пугающим запахом. Мама и бабушка, вероятно, страдали, когда силком запихивали в меня всё это, но им было нужно, чтобы я выжила. Их, наверное, удивляло, откуда мне известно, что в нормальной жизни эти продукты не едятся, ведь я родилась, когда нормальная жизнь кончилась...

Летом 45-го, когда мы гостили у тётки Фени, жизнь продолжала быть ненормальной. Хлеб, который пекли в деревне, от зубов не отлипал, основным его компонентом была картошка. Наши гостеприимные хозяева тоже бедствовали, но всё-таки было преимущество: корова и овощи со своего огорода. Этим они с нами, спасибо, щедро делились. Бабушка подвела меня погладить тёплый и округлый коровий бок, поблагодарить за молочко. Я осторожно, замирая от восторга, гладила. Я понимала, что в силах этого прекрасного животного продлить, спасти человеческую жизнь. Тётя Феня то и дело повторяла: если б не коровка — мы бы пропали...

Всё, что было связано с едой, было очень серьёзно, это я в пять лет уже хорошо понимала. И не на шутку перепугалась, когда бабушке предложили обменять меня на гусей. Мы с ней гуляли по деревне, какая-то женщина заговорила со мной, поиграла, потеревила и вот — сделала моей бабушке такое предложение: она меня забирает себе, а бабушка взамен получит пару гусей. Бабушка не отказалась сразу, а как-то даже придумалась, я в страхе заревела... Долгое время я была уверена, что это не было шуткой, и что только благодаря этому моему истошному рёву, сделка не состоялась.

...И вот когда в 1984 году журнал «Детская литература» заказал мне очерк о сельских школьниках, я вспомнила про тётю Таню. Младшая мама сестра Надя, всегда самоотверженно готовая к услугам всех без исключения родственников, вызвалась поехать со мной, и мы купили билеты до Калуги.

Поезд пришёл рано, в пять утра. До половины восьмого пришлось ждать автобуса в сторону села Ловать. Холодное и сырое апрельское утро едва раскачивалось. Небо на горизонте напоминало море при полном штиле в курортный сезон. Но от холода у меня зуб на зуб не попадал, любоваться рассветом не хотелось. Маленький вокзальчик не пустовал, кто-то спал на лавке, кто-то «кемарил» сидя. Напротив, прижавшись друг к другу, дремали бабушка с внуком, — извечное на Руси родственное сочетание, от которого всегда веет печалью. Мне припомнилось наше с бабушкой Наташей путешествие сюда, в Калужскую область, сорок лет назад.

...Рейсовый автобус высадил нас внезапно: «Дальше ни за какие деньги не поеду, на этой дороге мне хана», — объявил шофёр. Кроме нас пассажиров не было, все вышли раньше.

— А как быть? — спросили мы.

— Так, чё — как быть... Пешком.

До Ловати предстояло топтать шесть километров. Дорога, разбитая в оттепель колёсами машин, с жуткими колдобинами, схваченными утренним заморозком, была непригодна не только рейсовому автобусу, но и пешеходу.

...Было туманно, повсюду густая молочная мгла. Мучительно идти эдаким «торным» путём, ничего не видя вокруг, не имея представления, где ты находишься, не заплутал ли безнадёжно в тумане. Смешно, но успокаивала мысль, что в сумке довольно много провизии, традиционные городские гостинцы в деревню: селёдка, колбаса, сыр... В случае чего — не пропадём. На обочине проглянул столбик с цифрами, и у шагания нашего появился смысл: вот ещё километр пройден, и ещё... Молочная непроглядность стала отступать. Глазу и душе стало веселее. И вдруг, справа от дороги — тяжёлое, тёмное дерево крестов, вкривь и вкось склоненных к земле-матушке. Деревенский погост открылся нам, выплыл навстречу из тумана и заставил остановиться, пригорюниться.

Родина — это когда шевельнётся в душе внезапное невнятное воспоминание, точнее — ощущение общей с твоим народом вековой памяти. Волной накатил на меня тягучий, колыбельного ритма распев, про то, как мать-сыра земля расступилась и приняла ласково всех, окончивших путь, прошедших земную дорогу до конца. Встанешь пред таким вот погостом, услышишь душой особенную его тишину, и начнёт подниматься над тобой, словно солнце, неповторимая твоя Россия, далёкие, неведомые, но до слёз близкие родичи, корни твои, твоё Начало на этой земле...

В этой Калужской глубинке, на таких вот необъятных просторах, когда-то находился хутор. Жили на этом хуторе выходцы то ли из Лит-

вы, то ли из Белоруссии. Звались они поначалу, скорее всего, Ляпичи, а потом стали зваться по-здешнему, и девичья фамилия моей мамы была Ляпичева.

Рассказывать о моих родичах по этой линии не просто, сведений сохранилось очень мало. Русскому крестьянину, чаще всего, своя собственная жизнь не представлялась значительной, уникальной. Он всегда готов был пострадать за отечество, сложить голову «за други своя», но сельские жители зачастую не знали года и дня своего рождения.

Вероятно, только на Руси про умершего говорят: «отмучился». Прадед Григорий Ляпичев и прабабушка, имени не знаю, — отмучились рано. Умерли они будто бы в один день, молодыми, «возом завалило», так мне сказали. Тяжёлый, видно, был воз, что они везли, — может, дрова из леса, брёвна? Остались сиротами четверо детей: Федосья, Наталья, Николай и Фёдор. Фене было пять лет, а младшему, Феде, будущему моему дедушке, всего полтора года. Мир не без добрых людей, маленькие Ляпичи и выжили, и выросли, и каждый вышел «в люди». Были светловолосыми, зеленоглазыми, общительными.

Самая старшая, Феня, была смешлива, умела складно говорить. Помню её уже старушкой, кругленькой, морщинистой, глаза-щёлочки постоянно улыбаются. Запомнилось, как она, не торопясь, рассказывает:

«В войну это было. В деревне — одни бабы да ребяташки. И вот работаем мы в поле, а день ясный, погожий! И на душе полегчало, горе у каждой маленько отступило, и мы — ну, песни петь! Вдруг, откуда ни есть, — самолёт и, Господи спаси, немецкий! Низко летит, и прямо на нас! Мы так и попадали, думаем, — конец! Прямо ведь над головами пролетел! Потом — тишина. Подняли мы головы, в воздухе какие-то бумажные листки кружатся, на землю опускаются. Глянули, а там написано по-русски:

Русские матрёшки,
Не бойтесь бомбёжки.
Нам вас некогда бомбить,
Спешим Кавказ захватить.

Немцу тогда ещё весело было... Потом-то показали им «русских матрёшек», гнали до самой их Германии!»

Дедушкин старший брат Николай был красив и странен с самого детства. Вдруг неожиданно, никого не предупредив, исчез из дома, а спустя какое-то время так же внезапно объявлялся. Где он пропадал, не знал никто, но постепенно поняли, что никакой цели в его странствиях нет. Просто бредёт он по земле, куда глаза глядят. Такая вот ненормальность или потребность, — Бог знает... Может, родился Николай романтиком, требовала душа его красоты, и брёл он «очарованным странником» по Калужской земле и за её пределы. На Россию ведь век гляди — не наглядись, до того красива!

Младший Ляпичев, Фёдор, рано уехал из деревни искать заработка. В подмосковном городке Реутово приютила его поначалу родня, дядя с отцовской стороны, стал Фёдор работать на хлопкопрядильной фабрике. Производство это испокон веков женское, невест вокруг было предостаточно. И вот одну из них приглядели для Феде. В то время ему пошёл двадцать третий год, Наташе, так звали девушку, было восемнадцать, жила она тоже у дальней родни. Родственники решили, что пара подходящая и договорились о свадьбе.

В феврале 1911 года сёстры Фёдора собрались к брату на свадьбу. Но никто не догадывался, что невеста вовсе не рада, не люб ей был Фёдор, нравился другой. Но не посмела возразить родным, когда её просватали, а там пошла подготовка к свадьбе. Девушка решила отказаться от нелю-

бимого жениха в церкви во время венчания, когда священник спросит, своей ли волей она идёт...

Венчаться должны были в Ивановской церкви, в пяти километрах от Реутова. Фёдор отправился договариваться со священником. Зима была суровая, снежная, а в тот день, к тому же, мела ледяная метель. Жених чуть не замёрз по дороге, вернулся едва живой. Все его жалели, а Наташа готовила отказ. Но ничего из этого замысла не вышло. Священник не спросил её ни о чём, сказав только: «Береги его, он ноги отморозил». Так и стала моя бабушка из Ворониной — Ляпичевой.

Много родственников приехало на свадьбу, суетились все, радовались. А закончилось всё очень грустно. Внезапно заболела старшая Федина сестра, тёзка невесты — Наталья. То ли простудилась она, выбегая раздетая на мороз в свадебной суматохе, или другая была причина, но с воспалением лёгких положили её в больницу. Феня вернулась в деревню одна, ждала возвращения сестры.

«...И вот вижу я сон. Идём будто мы с Натальей в церкву. Никого на улице не видать, одни мы, а кругом так-то всё ладно, светло, тепло. Подошли к церкви, — нас попик встречает незнакомый какой-то, не наш. И такой старенький, согнутый весь, приглашает заходить. Наталью первую пропустил, а передо мной дверь закрыл, ты погоди, говорит, тебе ещё не время... Проснулась я, лежу, думаю, к чему это мне привиделось? Как это меня в храм не пропустили? А на утро получила телеграмму, померла сестра. Так и есть, вперёд меня пошла...»

...А Фёдор с молодой женой начали семейную жизнь. Общее у них было то, что оба сироты и, конечно, самые, что ни на есть русские люди. Фёдор из Калужской губернии, а Наталья из Тульской.

Тульская земля — земля заповедная, неожиданная в своём проявлении. Туляком был Левша, подковавший блоху. Великое поле Куликово, где Дмитрий Донской разбил татарские полки, находится в Тульской области. Эта же земля подарила миру Льва Толстого. Примечателен исторический факт, возвращающий нас к «Чуду», к древней легенде... Ханша Тайдулла, жена хана Джанибека, которую вылечил Святитель Алексий, после своего чудесного исцеления будто бы полностью изменила свою жизнь. В качестве личного удела она выпросила у мужа русский город Тулу и поселилась там, окружив себя православным духовенством. Она неизменно покровительствовала русской церкви и в конце жизни даже приняла православие. И вот одна моя бабушка, Людмила Монастырёва, родилась в доме возле Боровицких ворот Московского Кремля и росла под колокольный звон Чудова монастыря. А другая бабушка, Наталья Воронина, родилась в деревне Боровково, в Тульской области, где, можно сказать, тоже слышны были чудные эти колокола, так как туляки раньше других, вероятно, вздохнули от татарского засилья.

Таковы совпадения, во всяком случае, я усматриваю в этих фактах совпадение. И даже игра милых русских однокоренных слов кажется мне не случайной: Боровицкие ворота, деревня Боровково... И, к слову сказать, какие русские земли собрались в моей родословной! Земля Белозерская, Вологодская, Московская, Калужская и — Тульская, о которой сейчас мой рассказ, о крошечной её частичке — деревеньке Боровково.

...Белое молчание зимой, дымчатая сдержанность весной, зелёная гульба лета, роскошное похмелье осени... И надменное превосходство необъятного равнинного простора над человеком. Превосходство и одновременно великое покровительство.

Летом ласкова текущая под высоким берегом речушка Вашана, поодаль лицом к ней с надеждой повернуты деревенские избёнки. Кубарем

по зелёному склону сваливается в неё разгоряченная летней жарой детвора. Осторожно, коромыслами на плечах, чуть поплёскивая через края вёдер, тянется-плывёт водичка в горку, к домам, с размаху ударяют тугие её потоки в днища ушатов и корыт. Тяжёлое, вымоченное в золе бельё корзинами опять тянут с горки, встречает его речное течение, чтобы окончательно обелить и одарить надолго запахом речной непередаваемой свежести.

А потом вдруг и кончится речная ласка, закроется водичка льдом, станет холодная, недоступная. Прорубят в ней прорубь, и глянет оттуда неласково тёмный, опасный глаз реки. И только кусками разбросанный вокруг проруби лёд нет-нет, да и сгладит тяжкое впечатление. Дождавшись короткого зимнего солнца, полыхнёт он вдруг всеми цветами радуги, заиграет, заискрится синим, красным, зелёным! Постоит человек, полюбуется, пойдёт взглядом выше и дальше, и всё будет длиться, и продолжаться белая снеговая равнина, пока не упрётся на горизонте в тёмную кромку далёкого леса.

А между снегами и нависшим зимним небом сжалось, скукожилось ненадёжное и хрупкое на первый взгляд пристанище русского человека — деревенская изба. Какие безумные ветры, метели и снега обрушиваются на бедную её голову! Как трещат в морозы бревенчатые стены, как промозгло, туманно и невыразимо печально время Великого поста! Как длительна и холодна весенняя распутица, как обречённо мудра летняя зелень, ждущая неминуемой осенней панихиды...

Как от всего этого не стать русскому характеру особенным, непредсказуемым. То мудрым и молитвенно тихим, а то, вдруг, — как в пропасть срывающемуся на злые да небожеские дела, на пьянство, разбой, душегубство.

...Василий Воронин жил с семьёй в деревеньке Боровково, как и все — крестьянскими извечными заботами. А вот душевного покоя Господь ему не дал, мучился Василий жестокой тоской, по причине которой страшно вдруг запивал и буйствовал. Жена его Александра, боязливая и совсем ещё молодая, уже родила троих детей, — Анну, Наталью и Степана, когда Василий во время очередного запоя избил её. Говорили, что после этих побоев и начала она кашлять, потихоньку таять, а вскоре и умерла...

В опустевший дом нужна была хозяйка, осиротевшим детям — мать. Старшей, Анюте, было девять лет, Степану восемь, а Наташе и вовсе четыре годика. Деревенские жители терпеливы и неприхотливы, побои в крестьянских семьях — дело нередкое, но страшила всех дикая неукротимость Василия, бешеный его нрав, не отдавали за него дочерей-девушек, сторонились его одинокие молодайки. Но нашлась-таки одна «бедолажка» из соседней деревни, девушка уже пересидевшая возраст невесты. Звали её Татьяна, отчаявшийся найти жену Василий посватался к ней.

Пословица «не родись красивой, а родись счастливой» Татьяне не пригодилась, была она рябоватой, с бельмом на глазу, и в мужья ей судьба-злодейка подсунула Василия Воронина. Но вот характер имела она замечательный, — ровный, спокойный, доброжелательный. Стали Татьяна с Василием жить, детей одного за другим рожать. Старшие, неродные Татьяне дети, помогали нянчить малышкой, звали «мамкой» и слушались.

Старшая, Анна, была непростой девочкой, на закате приткнётся где-нибудь и плачет-заливается. Никаких объяснений не давала, если пристанут, прошепчет сквозь слёзы: «Может мне дедку жалко, а может — бабку...». Обе сестры, и Аннушка, и Наташа, были черноглазы и черноволосы, а у Степана при чёрных же волосах — синие глаза. Мачеха их не обижала, но держалась эта троица всегда особняком. И всю жизнь они прожили болезненно привязанные друг к другу, тоскующие в разлуке

даже в старости. Вероятно, с малых лет пережитый страх, потеря матери, соединили сирот большой горестной любовью друг к другу, в полном смысле, — до гробовой доски.

Лежат теперь на Никольском кладбище, что неподалёку от подмосковного Реутова, сёстры Наталья и Анна, смотрят с одной фотографии, склонившись, друг к другу головами. Были у них мужья, дети, остались внуки, правнуки, потянулась их ниточка, стойкость и черноглазость дальше и дальше, — в вечность. А они остались — сёстрами... Мир вашему праху, сёстры Воронины.

...Работать моя бабушка Наташа начала очень рано, в шесть лет отдали её в няньки, и стала она зарабатывать. Учиться ей не пришлось, всего год проходила Наташа в церковно-приходскую школу и едва научилась складывать буквы. Работа для девочки находилась всегда: уход за младшими братьями и сёстрами, участие наравне с взрослыми в сложном крестьянском быте. До сих пор хранится у меня кусок домотканой материи из бабушкиного сундука и ажурного плетения кружевная накидка...

Ртов в семье становилось всё больше, а Василий Воронин не менялся,пил и буянил по-прежнему. Припадки раздражения, гнева случались с ним даже на трезвую голову:

«Однажды мы играли в «соломки» (из бабушкиного рассказа я поняла, что это нехитрая крестьянская забава того времени), и в руках у тяти были ножницы. Мамка хлопотала у печки, готовила еду, грела воду, — тятенька собирался мыться...». Заигрались отец с дочерью, а Татьяна их не беспокоила. Когда муж поинтересовался, готова ли вода, — ответила просто: «Давно уж нагрелась, мойся...» А Василий вдруг как вскинется: «Так что ж ты молчишь!..» И ударил жену остриём ножниц. Стала Татьяна хромой.

В дождь и в мороз с детьми мал мала меньше убегала она, не успев одеться, от пьяного страшного мужа. Прятались по соседям, отсиживались и шли тихонько домой. Знали заранее, что Василий там уже отвёл душу — побил, порвал и порубил, что успел, пока не свалил его тяжёлый сон.

Я помню деревеньку Боровково, помню речку Вашану, избу Ворониных, тёмную внутри даже в самый солнечный день. И крошечную хромую старушку — бабушку Татьяну, всегда улыбчивую и разговорчивую.

...А прадед мой Василий, увы, потомками вспоминается без симпатии. Внуки его и правнуки в своих несчастьях зрят расплату за его грехи, все предания только усугубляют неприглядность его образа. К примеру, рассказывают, что однажды в дом пришёл урядник, должно быть с целью образумить буйного прадеда. Поначалу всё шло хорошо: урядник вразумлял, Василий слушал. Что послужило причиной вспыхнувшего гнева Василия — неизвестно, свидетелей при разговоре не было, зато о дальнейшем мог потом рассказать каждый житель деревни. Бедный страж порядка мчался, спасался не в шутку, следом с колом в руках и тоже явно не собираясь шутить, мчался мой прадедущка. Урядник был не из храбровцев, прыгнул с размаху в реку, Василий следом не полез, посмеялся и успокоился. Тем история и закончилась, перевоспитывать Василия больше никто не брался.

Умер Василий, дожив до старости и в чине советского колхозника. В колхоз он был принят сразу и без помех. Такие, как он, баламуты, неспособные жить нормальным крестьянским трудом, в колхозы объединялись охотно. Коллективная ответственность — не личная, одно дело «что потопаешь, то и полопаешь», а другое, — «кто был ничем, тот станет всем». Василий, как видно, другим стать не успел... По-человечески его жаль: не доносил он буйную свою головушку. Зимой возвращался откуда-

то ночью, домой, был сильно навеселе, заснул в санях, да и замёрз. И лошадь сгубил колхозную.

Как-то вышло, что устав от проделок Василия Воронина, природа взяла на его детях тайм-аут, отдохнула и перевела дух. Анна, Степан и Наталья жизнь берегли, ценили и устоев её не нарушали, хотя полной мерой хлебнули тягот все трое.

Анюта первая, когда ей исполнилось двенадцать лет, уехала на заработки в Москву. Устроилась сразу хорошо, прислугой в богатый дом. А к шестнадцати годам барыня выдала её замуж за своего кучера. Иван Кузьмич Сафонов тоже был родом из тульских земель. Его деревня на реке Птань располагалась совсем неподалёку от Куликова поля. Семнадцать детей родили они, а выжили всего лишь четверо. Может, в раннем детстве Анюта предчувствовала и оплакивала именно свою будущую несчастливую материнскую долю... Она запомнилась мне редкостной мягкостью, доброжелательством и спокойствием.

В 1906 году, в тринадцать лет, Наташа Воронина вслед за сестрой тоже уехала в Москву. Смышлёная и красивая девочка быстро нашла работу — стала горничной в семье врача. Интеллигентные хозяева оказались социал-демократами. Наташа нравилась им своей сообразительностью и расторопностью, они не ленились развивать её и не скрывали своих революционных убеждений. Это воспитание накладывало на девочку определённый отпечаток, формировало её взгляды на жизнь. Наташа знала многое, но «блюла конспирацию», языком на улице не болтала. Когда хозяев арестовали, она попробовала пойти горничной в другой дом, да новые хозяева не приглянулись. Наташа уехала в подмосковный городок Реутов, где работала родная тётка по матери, устроилась нарядильную фабрику. Там и встретила свою судьбу, Фёдора Григорьевича Ляпичева.

Крестьянскую родословную продолжил Степан. Он остался деревенским жителем, но прожил эту жизнь красиво в противовес отцу. Выучился на садовода, работал сперва на барина, чудесные выращивал плоды, разводил пчёл. Был добрым, безответным и очень красивым внешне: чёрные, как смоль, борода и волосы, синие яркие глаза. Вышла за него Мария Новикова из этой же деревни, нежной внешности и с примечательной, непохожей на прочих сельчан, роднёй. Отец Маши, Иван Петрович Новиков, охоты к вину и пьянству не имел, а вот книги читал с удовольствием, и был человеком чрезвычайно интересным. Брат его, Михаил Петрович, и того больше: печатал свои статьи по крестьянскому и «русскому» вопросу и дружил со Львом Толстым.

Михаил Петрович оставил замечательно написанные воспоминания о пережитом в годы Первой мировой войны и революции. Он был подлинно народным гласом, в своих статьях уверенно отрицал всякую пользу революции для крестьянства. Утверждал, что крестьянин от природы мудр, и по этой причине никаких разрушений желать не может. Что вредят крестьянину не помещики и эксплуататоры, а страшное русское пьянство. Те, кто в деревнях не пьёт — жизнью вполне доволен, особенно после «стольпинской» земельной реформы. Крушить и отнимать хотят только бездельники, коих немало на Руси. Нужно всем миром учить и образовывать тёмную крестьянскую массу, не надеясь на деревенских попов, которые зачастую и сами пьют.

Подтверждений своим словам Михаил Петрович видел предостаточно: священника в Боровково частенько видели « навеселе», а соседом писателя и вовсе был непутёвый Василий Воронин, которого он вывел в своей книге в качестве отрицательного персонажа.

Именно к Новикову в Боровково в 1910 году решил уехать Лев Николаевич Толстой, когда задумал покинуть Ясную Поляну, (сноска: дневни-

ки Л. Н. Толстого за 1910 год). Он написал об этом Михаилу Петровичу в письме, а тот немного опоздал с ответом, о чём впоследствии сильно сокрушался.

Такие вот разные люди уживались в маленькой деревне Боровково. Знаменательно, что и братья Новиковы, и Василий Воронин одинаково возмущали общественное спокойствие. В Светлое Пасхальное Воскресенье Новиковы демонстративно выходили пахать, и это явное безбожие смущало людей едва ли не больше, чем пьянство Василия Воронина. Судьбы этих разных людей окончились трагично, умерли они не «своей смертью»: Василий замёрз в дороге, а братьев Новиковых в 37-м году расстреляли.

А дети их, — Степан да Мария, с детства души друг в друге не чаяли, виновата в том, конечно, была любовь, пара получилась красивая — на загляденье. Зажили Степан и Мария спокойно, в трудах, не нарушая, не в пример отцам, извечных русских устоев. Не возмущали они односельчан ни безалаберностью, ни вызывающим атеизмом. Степан любил свою Машу беззаветно, для неё и детей вырастил прекрасный фруктовый сад. В саду стояли улы, и было много цветов, которыми занималась сама Мария Ивановна.

Умер Степан Воронин, как и отец его Василий, — в дороге. Возвращаясь домой, тоже уснул в санях, только не спяну, а от великой усталости. Уснул и свалился лошадям под копыта...

... Помню приезды деда Степана и бабушки Анюты в Москву на Большую Ордынку. Как собирались они втроём за столом, как мирно посиживали, выпивали по лафитнику и беседовали. Приятно мне вспоминать, как наслаждались общением, проникались драгоценным мгновением встречи незабвенные мои Воронины, Анна, Степан и Наталья.

СМЕЛО МЫ В БОЙ ПОЙДЁМ...

...Я всё равно паду на той,
На той единственной, Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.

Б. Окуджава

...Солдат Поликарп Ляпичев, сын конюха Епифана из подмосковного городка Реутово, на фронт был призван в 1914 году, а в начале 1916-го навсегда покинул Россию. Франция попросила помощи, — Государь Император «всея Руси» откликнулся. Повелел отправить во Францию особые экспедиционные войска. В результате Поликарп, вместе с первой бригадой генерала Лохвицкого, совершил долгий путь через всю Сибирь, проплыл через Индийский океан, Суэцкий канал и Средиземное море.

Любопытство к жизни было в роду Ляпичевых, в пути Поликарп не переставал изумляться и старался запомнить увиденное. К своим двадцати восьми годам он нигде ещё не бывал, а тут открылся огромный, чужой и сказочно красивый мир. Если было возможно, он оставался на палубе, вглядывался в океанскую даль, улавливал загадочные очертания суши. Морской болезнью Поликарп не страдал, впечатления волновали и отвлекали.

Войдя из Суэцкого канала в воды Средиземного моря, судно их обогнуло северный мыс Африки, а затем остановилось на рейде в порту Бизерта. Это был тунисский город на море, ставший во времена колонизации французским портом. Пока судно заправляли горючим, Поликарп заворожено осматривал доступное глазу.

Море здесь устремлялось в глубь суши спокойной гладью, рассекало её, словно широкая река. Берега были ровными, только минареты тяну-

лись к тёплому небу. Несколько раз начинали кричать муэдзины, голоса их звучали подобно диковинным музыкальным инструментам. Поликарп подумал, что не прочь оказаться тут безо всякой войны. Пойти вон туда, за тот мыс, по берегу, по белому африканскому песку. Половить рыбу, разжечь костёр... И зачем только Господь разделил землю границами, за которые не ступишь без позволения? Зачем допустил войны? Вон, какая красота повсюду на земле, а люди убивают друг друга...

В конце апреля 1916 года 1-я особая бригада высадилась в Марселе. Марсельцы, а затем и парижане были свидетелями марша русских солдат. Красиво прошли русские богатыри, так, словно и не было за плечами четырёх изнурительных месяцев пути. Потом их отправили на север, в провинцию Шампань...

Осенью 16-го года Поликарп воевал недалеко от маленького французского города Мурмелон, не давая немцам идти на Париж. Команды на французском языке он начал понимать. Русские солдаты, как всегда, сражались геройски, но и потери были велики. Немцы всё чаще применяли газы, погибло много товарищей Поликарпа. Их хоронили в чужой земле, и Поликарп в эти минуты жалел своих стариков-родителей. Если ему выпадет такая же участь, они никогда ничего о нём не узнают. Сгинет он здесь бесследно, не увидит больше родной земли...

... Двоюродный брат Поликарпа, солдат Фёдор Ляпичев, воевать начал, как и все, в 14-ом. России он не покидал, но к началу 1917 года, замученный окопной жизнью, ожидал хоть какогонибудь просвета. Его спасал характер, миролюбивый и дружелюбный, он находил общий язык и с солдатами, и с офицерами. С интересом слушал он большевистских агитаторов, начавших проникать в солдатские окопы, согласно кивал головой, но про себя на их обещания не надеялся. Кому в этой жизни есть дело до него или его семьи? В одном большевики правы, думалось Фёдо-

ру, надо кончать эту проклятую войну, которая забирает силы и молодость. Лишь бы им всем остаться живыми! Лишь бы вернуться к жене и детям!

Семья ждала его дома, в подмосковном Реутово.

За два года до войны, 3 марта 1912 года, у Фёдора и Натальи родилась дочь Клавдия, через год — сын Борис. Сохранилось фото, где они совсем ещё малыши, Клавдюше идёт третий, а Боре второй годик. Выглядят они детьми вполне благополучных родителей: складные платица, кружевные воротнички, аккуратно расчёсанные волосики. Это была особенность бабушки Наташи: чтобы всё было, как следует, как положено у хороших людей, то есть, достойно даже в мелочах. Не слишком комфортная, но всё же спокойная и размеренная жизнь семьи Ляпичевых закончилась в 14-ом году. Они ждали конца войны, но грянула революция и перевернула жизнь окончательно. Из революции вышла новая, невиданная война — брат пошёл на брата.

Бабушка Наташа продолжала работать на фабрике, дедушка Фёдор воевал теперь в Красной армии. Однажды он потихоньку приехал домой, их часть стояла не очень далеко, и он рискнул. Дети запомнили его солдатскую форму и то, как поздно вечером, прячась от людей, они провожали отца на станцию. Было целым приключением прятаться вместе с родителями в кустах, выглядывать и выжидать, стараясь не шуметь. Да и родителям, совсем ещё молодым Наталье и Фёдору, тоже, вероятно, запомнилось это свидание украдкой, короткое и потому горячее... После этой встречи родился их третий ребёнок, сын Александр.

На дворе стоял 1919. Били с переменным успехом то белые красных, то красные белых: «Они — за Россию, и мы — за Россию». Стреляли друг в друга обозленные, остервенелые братья, поливали кровью матушку свою Россию. Странно было, что совсем недавно имели значение слова

Святая Русь, Православная Россия, Помазанник Божий. Теперь убивали друг друга спокойно и жестоко, не боясь кары небесной.

...Сохранилась фотография, на ней много молодых мужчин в военной форме, в шинелях. Это красноармейцы, и среди них — мой дед, Фёдор Григорьевич. Когда кончилась Гражданская война, наступило их время, — победителей-красноармейцев, рабочих и крестьян. Время жёстких, самоуверенных слов, беззаветной преданности делу Ленина, всеобщей готовности к мировой революции или к новой войне.

А главное, время речей, долгих и страстных диспутов. Инерция прежней жизни, несмотря на разрушения страны, сохранялась. До поры до времени, можно было как-то существовать, и, абсолютно не понимая, как жить и что делать дальше, в упоении предаваться пустословию.

Было время массовок, демонстраций, коротких женских стрижек, пионерских «речёвок» и многочисленных маршевых песен.

Возьмём винтовки новые,
На штык — флажки,
И с песнею в стрелковые
Пойдём кружки.
Раз, два — все в ряд,
Шагай, отряд!

Странное впечатление производят эти рифмы. Будто русский язык заболел или посажен в клетку. Бьётся там тупо о жёсткие прутья, а взлететь ему — невозможно. Мысли нет, есть тревожный пульс опасности, постоянной близости врага.

Если завтра война,
Если завтра в поход,
Если тёмные силы нагрянут,

Как один человек
Весь советский народ
За свободную Родину встанет!

В 20-м году Фёдор Григорьевич Ляпичев с группой рабочих был послан по партийной линии в Ташкент. Поездка была как-то связана с продовольственной программой. Пробыли они там довольно долго, больше года. Работали вместе с местными коммунистами, среди которых выделялся молодой узбек Акмаль. Грамотный, деловой и ответственный Акмаль пришёлся по душе всем. Он прекрасно знал русский язык, часто выступал переводчиком на разных встречах и собраниях.

Так вышло, что Фёдор Ляпичев тяжело заболел, в ташкентской больнице ему удалили почку. Акмаль навеситил его там, и они побеседовали о трудном пока ещё для молодой Страны Советов времени и о грандиозных планах на будущее. Революция тогда ещё не начала «пожирать» своих лучших детей, и молодые люди всерьёз думали, что находятся на полпути к справедливости и честности в мировом масштабе. Фёдор пригласил Акмаля навеситить его в подмосковном Реутово, если у того будет оказия.

Бабушка Наташа, узнав о болезни деда, с присущей ей отвагой решила ехать в Ташкент, но не добралась, на полпути сняли её с поезда. Время было не для путешествий...

Окончилось всё хорошо, Фёдор выздоравливал в тёплом климате и даже исхитрился прислать гостинец жене и детям: мешочек риса и сушёный виноград.

И ведь совсем молодые были в то время Фёдор и Наталья, это мне удобнее называть их дедушкой и бабушкой, а им не было ещё и тридцати...

С середины 20-ых Фёдор Ляпичев работал в московском Комитете большевистской партии, помещался он рядом с Сухаревским рынком.

Наталья тоже стала партийной. Жили они по-прежнему в Реутово, в девятиметровой комнатке. Детей было уже четверо, последней у Ляпичевых в 24-м году родилась дочь Надежда.

Случалось, Наталья брала старшую, Клаву, они ехали на Сухаревку за покупками и, отоварившись, заходили к отцу на работу. Он вёл их обедать в столовую, и маме это запомнилось счастливыми праздниками. Ели кислые щи, картошку с бараниной и на сладкое кисель.

Друзей у Ляпичевых было много, люди их любили. Фёдор легко, без осложнений работал, в коллективе был, как рыба в воде. На собраниях говорил складно и убедительно. Начальства не боялся, так как искренне уважал, с подчинёнными дружил, после работы кто-нибудь из сослуживцев непременно шёл ужинать к Ляпичевым.

Совсем маленькая, я запомнила, как в праздники у дедушки и бабушки собирались друзья. Выпивали «по лафитничку», закусывали селёдочкой и непременно пирогами, а потом Фёдор Григорьевич тихо, издав лека начинал любимую:

Степь да степь кругом
Путь далёк лежит.
В той степи глухой
Замерзал ямщик.

Ему, не спеша, подтягивали, включались в песню проникновенно и торжественно, дорожа каждым её словом.

Ты, товарищ мой,
Не попомни зла.
Здесь в степи глухой
Схорони меня.

Глаза поющих бывали опущены, чтобы не потревожить набежавшую слезу. Они казались выброшенными кораблекрушением на чуждый, не-

родной берег. Крестьянские их корни тосковали, и слова песни были для них приветом из дорогих сердцу мест.

А коней моих
Отдай батюшке.
Передай поклон
Родной матушке.

...Однажды, в начале тридцатых, во время такого вот застолья, один из приятелей проговорился невзначай. Конечно, душевно, мол, сидим, и пироги вкусны, да тесновато у вас. Между тем, Фёдору Григорьевичу хотели улучшить жилищные условия, предложили две комнаты в Москве, а он отказался. Бабушка моя, Наталья Васильевна, ахнула и приняла решительные меры, в результате чего дедушка пошёл в инстанции и — согласился... Таким вот образом обосновались Ляпичевы на Большой Ордынке.

Сгоряча, опять же по совету ушедших приятелей, дедушка приобрёл для нового жилища сказочной красоты мебель. Резное дерево, темно-зеленый, глубокого оттенка плюш дивана и кресел, то есть, наверняка вещи, реквизированные советской властью у какого-нибудь Лунна. Но что-то всё-таки остановило моего деда Фёдора, до новой квартиры он эту роскошь не довёз, поставил на чердаке дома у приятеля, на том дело и кончилось.

Приезжая в гости, шли всей семьёй на чердак, строили планы: как перевезут да куда что поставят. Дети усаживались в «свои» кресла, любовались резными завитушками подлокотников и ножек. Куда потом всё это девалось, — неизвестно.

Много лет спустя, из всей этой роскоши на Ордынке оказалось только зеркало. Высокое, изящное, подзеркальный столик на изогнутых ножках, от верха и до низа искусная безостановочная резьба. В раннем детстве я

не могла оторвать от этой красоты глаз. Усаживалась на нижнюю перекладину столика и чувствовала себя в сказочном домике.

Зеркало это сопровождало меня всю жизнь и сейчас стоит в моей московской квартире. Время сильно изменило нас обоих, но мы по-прежнему с интересом глядим друг на друга. Старинное стекло успокаивает тонко и умело, глубиной и приглушённой отражением примиряет меня с прожитыми годами...

БАБУШКА

Хороша я, хороша,
Да плохо одета.
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Русская народная песня

Эту песню бабушка Наташа часто напевала... Особенно за работой.

С рождения она была наделена особой жизненной мудростью. Такие люди в существовании Бога не сомневаются, ни страха, ни удивления непреложный этот факт у них не вызывает. Не нуждается он и в постоянном подтверждении, окружающий мир служит тому доказательством. Как Библейский Иов, такие люди просты и бесхитростны в отношениях с Отцом своим Небесным. Он свидетель и участник их горестей и радостей, они не обременяют Его излишними просьбами, берегут, как дорогого и близкого, не надоедая жизненными своими тяготами. Получив однажды Божественный Дар, — бессмертную душу, — благодарны за него вовек и с жизненными невзгодами предполагают справляться сами. Эта спокойная вера, лучше сказать — уверенность, вела мою бабушку

в жизни, дала возможность выжить в непростых ситуациях. Она никогда не жаловалась, без лишних слов и паники делала то, что необходимо было в данный момент, охотно помогала всем, кто в её помощи нуждался.

С бабушкой я прожила первые годы своей жизни, любила её и выделяла из числа прочих родственников.

— А почему ты в церковь не ходишь, как бабушка Анюта? — спрашивала я.

— А Бог, — он, милоч, знает, что я занятая... Бог-то ведь не только в церкви. Он — повсюду...

— И здесь, возле нас?

— А ты как думаешь?

Всем детям бабушка и дедушка планировали непременно дать хорошее образование, поэтому ничем посторонним их не загружали, все работы по дому бабушка брала на себя. То и дело приезжали тульские и калужские родственники. Некоторые — просто погостить, а другие с намерением перебраться в Москву из замученных советской властью деревень. Места хватало всем, на полу стелилась большая и пышная перина, и ночёвка гостям была обеспечена. Готовила бабушка Наташа в общей кухне, вместе с двумя соседками, одинаково манерными и фальшивыми. Будучи людьми, абсолютно противоположными моей дорогой бабушке, они часто портили ей жизнь. Несмотря на бесстрашный и независимый характер, она всю жизнь не умела противостоять людской ограниченности, страдала от неё. А обид и несправедливости на её долю выпало предостаточно.

Я помню её щедрой, легко творящей добро. Много нищих было в ту пору, они заходили во дворы и, как из колодца, в окна летела их просьба о помощи. И в ответ им бабушка, свесившись из окна, звала:

— Заходи, поднимайся на четвёртый этаж, миленькая!

И несчастная, в ожидании милостыни, взбиралась на четвёртый этаж, там бывала накормлена горячим супом и, получив что-нибудь из одежды, шла дальше.

...Я пишу эти строки, прожив на свете более шестидесяти лет, и потому понимаю, что они оба умерли рано. Дедушка Фёдор не дожил до шестидесяти, а бабушка Наташа, пережив его на семнадцать лет, скончалась в шестьдесят восемь. Сердце у неё болело долго и всерьёз, но она, в отличие от большинства людей, не сгущала краски, а напротив, опасный свой недуг представляла всем, как пустяк. «Да что мне делается? Только жить начинаем!» — это был постоянный её ответ на вопрос о самочувствии. Она работала по дому, ходила в магазины, готовила обед к приходу своих взрослых, но живших с ней детей — Надежды и Александра. В очередной раз, готовя обед, бабушка почувствовала себя неважно, почищенную и обваленную в муке рыбу она пожарить не успела...

«Скорая» доставила бабушку в больницу. К ней в палату пришёл врач, ему надо было заполнить историю болезни. Он расспрашивал бабушку подробно, не спеша, и ему запомнилась её радостная благодарность за внимание к ней. Я пытаюсь представить, что она говорила доктору о своём недуге, но это трудно, — жаловаться она не умела, а вот как была взволнована участием, которым не была избалована, — это я представляю хорошо. После разговора с доктором бабушка повернулась на бок, спокойно заснула и...больше не проснулась.

Она никогда не сомневалась в Отце своём Небесном. Знала, что Тот, Кого она в жизни старалась не потревожить лишней жалобами и просьбами, Тот, чьё имя никогда не поминала всуе и чьё присутствие ощущала повсюду, не оставит её и облегчит тяжкое мгновение. Бабушкина особенная вера получила от Господа заслуженное вознаграждение.

Черноглазая Наташа, претерпевшая все тяготы жизни Раба Божья, незаметно для себя, пушинкой поплыла в страну, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»...

ПРОЩАНИЕ

И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

С. Есенин

...Поездкой в Калужскую область я осталась довольна, материала о сельской школе набралось много. Появилась даже идея новой повести о сельском мальчике, я и название придумала: «Хозяин». С тётёй Таней было много разговоров, я записывала, она — улыбалась.

— Ты и про это напишешь?

— Придёт время — напишу...

— Кому это интересно...

Она имела в виду историю своего отца. После войны его вскоре арестовали. Обвинили в пособничестве немцам. Куда-то увезли, — и всё, пропал без вести.

— Но он же не был виноват?

— Так, конечно, не был. А кому докажешь?

— Надо было писать, хлопотать, действовать!

— Эх, Оля! Городской ты житель! Мы ж — крестьяне бесправные! У нас ведь и паспортов не было! Крепостные советской власти. Хлопотать... Да разве отец один пропал? Сколько в коллективизацию, в раскулачивание сгинуло! У соседей швейная машинка была, «Зингер», всю ведь семью сослали за эту машинку!

Вуглу, занимая место иконы, висел портрет Сталина-генералиссимуса.

— И зачем тогда ты его вывесила? — спросила я.

— Ничего, пусть висит. Это нам ваши городские по домам разносили. Икон всё равно нет... И церкви нет, и попа, — она засмеялась. — Ты вот про что лучше напиши. У нас жена председателя колхоза вместо попа. Все службы знает. И отпеть может, и крестит, а тут вот одни венчались у неё... Вот так и живём.

...Помню, тётя Таня пошла провожать нас за село. Весеннее солнце работало вовсю, сырого снегового тумана не было и в помине. Даль сияла отчётливо и незамутненно, дорога тоже стала вполне сносной, жёсткие колдобины сменились жидкой грязью, мы были в резиновых сапогах. Там, где земля подсыхала, копошились хлопотливые куры, задирая к синему небу головы, орали счастливые петухи.

Возле последней избы лежали распиленные брёвна, валялись оранжевые стружки, сияли яркие, цвета апельсина, срезы. Мальчик лет пяти разглядывал их с явным восторгом. Остановились и мы.

— Красиво! — сказала я.

— А это — ольха, — объяснила тётя Таня, скорее не мне, а мальчику.

Мы попрощались. Всё было в душе и в слова не складывалось. Она уходила, не оглядываясь, последняя моя деревенская родственница, последняя связующая ниточка с русским крестьянским миром.

...Мои Ляпичевы и Воронины вспомнились мне на фоне дорожных впечатлений двадцатипятилетней давности, но мне кажется, что следы их где-то всё ещё хранит заповедный русский простор.

МЫ — СИДЕЛЬНИКОВЫ

И так хотелось жить...

А. Фет

Время перед войной было для нашей семьи хорошим, спокойным. Родители мои ездили с малышкой Инночкой в гости на Ордынку, на обратном пути заходили в магазины, покупали что-нибудь вкусное. Названия магазинов были «как раньше»: «Рыба», «Кондитерский», «Фрукты-овощи» и, крайне интересный для молодой моей мамы, — «Комиссионный». Именно в этом магазине приобрела она изящные туфли-лодочки цвета кофе с молоком, которыми натёрла ногу в тот вечер у Смирновых. Они были, к сожалению, на номер меньше, чем требовалось.

Хорошее это было время для моих родителей, оно им запомнилось, приятно и мне окунуться в это их недолгое счастье. Вот семейная фотография, две супружеские пары. Бабушка с дедушкой, напряжённые перед объективом, мама с папой — красивые и интеллигентные. Но все четверо с одинаковым выражением смотрят на лохматенького карапуза, сосущего палец, — маленькую Инночку.

Это 37-й год, страшный год для России, аресты, суды, процессы, большевизм уничтожал людей яростно. Но счастье, даже если оно длится совсем не долго, всегда заполняет собой всё пространство, посторонняя жизнь видится в тумане. Конечно, мама немного пугалась, когда дорогой её муж в крайнем раздражении выключал вдруг радио. То есть, она несколько не сомневалась, что он умнее всех без исключения, но поступать таким образом было небезопасно. Особенно, если в это время по радио говорил товарищ Сталин.

Как биолог, папа заинтересовался новой наукой — генетикой. Дома он разводил муху дрозофилу, искал в научных журналах публикации на эту тему, напечатал несколько своих статей.

... С Ордынки на Балашиху возвращались поездом, шли со станции пешком в милый дом у реки, под его старые липы. Дома выкладывали из сумок покупки: розовые продолговатые крымские яблоки «синап», виноград «дамские пальчики». Это напоминало поездку в Атузы, трапезы «под чинарой густой», тёплые, тёмные крымские ночи, ласковое море и любовь...

... Однажды летом, воскресным днём, папа читал жене и четырёхлетней Инночке Лермонтова. Устроились они на лужайке возле дома. Обитатели бывшего лунновского поместья поглядывали на них из окон. Поглядывали и, вероятно, думали: «Хорошая семья получилась, дружная, красивая». А папа читал и никого не замечал, кроме Клавочки да Инночки. И ещё была у них припрятанная ото всех радость: осенью ожидался новый ребёнок. Никому не известный, он тоже находился на этой поляне и слушал, как папа читает Лермонтова.

Мне, порой, кажется, что я и правда помню этот солнечный летний день, когда мы, Сидельниковы, последний раз были все вместе: папа, мама и две дочки-сестрички, одна — видимая, а другая — пока нет...

Папа очень любил Лермонтова. Он остановился в том месте, где «печальный Демон, дух изгнанья» говорит:

...Я позавидовал невольно

Неполной радости людской.

Он остановился, и они стали говорить об удивительном авторе, умершем так рано, но успевшем так зорко глянуть на Божий мир. Какая глупокая философия, какое поразительное определение всей сущности человеческого пребывания на этой земле, — НЕПОЛНАЯ РАДОСТЬ!..

И почти тотчас слова эти оказались пророческими, радость кончилась, не успев наполниться до краёв. День этот был 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война.

...И сейчас я иногда прохожу этот путь: по Пятницкой, через Климентовский переулок на Большую Ордынку. По ней до бабушки надо идти всё прямо, видя перед собой очертания Красной площади, разноцветные «луковки» храма Василия Блаженного. По левую руку останется церковь Всех Скорбящих Радости, а справа как раз ворота дома № 17...

Этой вот дорогой несла меня мама на четвёртый день после моего появления на свет. Был ледяной октябрь 1941 года, папа ушёл на фронт, не узнав, что новый его ребёнок оказался дочкой. Божий мир встретил меня разрывами бомб, огнём зениток. Когда мама лежала на родильном столе, в больших окнах старой «лунновской» больницы зенитным огнём пылало ночное небо. На третий день больницу закрыли, мама вернулась в дом у реки, который был пустым и холодным. Там мы провели ночь. Утром поехали в Москву, на Ордынку, к бабушке. Там была Инночка, там были родные. Морозило не на шутку, маму обгоняли люди с санками, тележками, все готовились к отъезду, к побегу из города. Впервые после нашествия Наполеона Москва готовилась впустить врага, который подступил совсем близко.

Мама вошла в ворота дома №17, миновала наискосок двор, вот и подъезд, по лестнице — на четвёртый этаж. Квартира №53, звонок... Только меня раскутали, вынули из пелёнок на обеденном столе — завывла сирена: «Граждане! Воздушная тревога!».

МАМА

Не брани меня, родная,
Что я так люблю его.
Скучно, грустно, дорогая,
Жить одной мне без него.

Старинный романс

Вот что я нашла среди своих дневниковых записей: «...23 февраля 2000 года, маме 88 лет. Сегодня утром она вспомнила, как в этот день, 64 года назад, переселилась к отцу в дом у реки, в комнатку на втором этаже. Там стоял рояль, доставшийся папе из дедовского дома на Потылихе, на нём папа наигрывал и напевал маме романс «Не брани меня, родная».

Я вспомнила, что в конце мая того же года сестра моя двоюродная Наташа привезла к нам на дачу отца Филарета из Троице-Сергиевой Лавры. Было жарко, душно. Стояла та прекрасная, недолгая пора конца русской весны, когда воздух наполнен запахом цветущей черёмухи и расцветающей сирени. Невообразимые ароматы разливаются между небом и землёй, и превращаются в звуки жизни бесконечной.

По всем ночам свистел и щёлкал без усталости соловей. Соловьиха где-то рядышком высидела в гнезде птенцов, и, несомненно, гордилась безконечно-прекрасными, посвящёнными ей, трелями супруга. Кроме соловья, так смело и громко, — на весь белый свет, — заявляют о своей любви только поэты.

А маме шёл 89-й год. Совсем сгорбленная, на склонённой голове — белый шарф, она сидела, опираясь на две палки. Батюшка её соборовал и причастил. Слава Богу, удалось всё это обставить торжественно, на столе — иконы, цветы, святые дары из Лавры. Жизнь моей мамы завершалась. Мне, которая была с ней неотлучно, это было очевидней, чем другим.

Последние десять лет мы жили с ней вдвоём, я, как могла, заботилась о маме, часто довольно неудачно, к сожалению. В том смысле, что не учитывала мамин характер, крайне самостоятельный и гордый. Гордый своим умением жить, уверенно выстраивать жизненную линию свою и своих близких.

Что же я знаю о своей маме?

Вот она годовалая с молодыми своими и счастливыми родителями. По их одежде видно, что жизнь, хоть и не богатая, но неплохая. Через год началась 1-я мировая война, многое изменилось. Но жизнь дорожит традициями, мама росла в старых устоях.

Вот на другом фото группа девочек восьми-девяти лет. Они только что вышли из библиотеки, и кто-то этих маленьких умниц сфотографировал. Клаша Ляпичева стоит с краю, в руках — большая книга и она полна достоинством момента, это черта была ей присуща до конца жизни. И личико у этой девочки не простое, отличается серьёзностью, определённым выражением. Глаза — крупные, взгляд — твёрдый. На девочках капоры, на будущей моей маме — чужой, её собственный из нежного беличьего меха — на подружке. Подружка попросила поменяться для фото. Это тоже мамино, через всю жизнь: отдать своё, лучшее, и порадоваться за того, кому это лучшее досталось.

Из маминых ранних воспоминаний, — как нянчила её бабка Оржачка, не то соседка, не то дальняя родственница. Она «гуляла» с «Клавдюшечкой» в длинном казарменном коридоре, пока родители были на работе.

Скоро их стало двое, родился братик Боря, и дети практически не разлучались. Они были дружны с самого детства. И похожими оставались всю жизнь, оба прекраснодушные и, как все Ляпичевы, затерянные среди людей «очарованные странники»...

По вечерам любимая их игра — усесться на сундук, плотно зажмурить глаза и спрашивать хором: «Огни зажглись?». А бабушка Наташа, молодая и ловкая их мама, заправляла в это время керосином лампу, налаживала фитиль, — «Огни зажглись?.. Зажглись!», — тут глаза надо было открывать и идти ужинать. На ужин разогревалось оставшееся от обеда. Лакомством были пышный «пеклеваный» хлеб и селёдка «залом», жирная, с нежным вкусом. Мечтой — сладости из лавки, под названием «Колониальные товары». Вкусны там были коричневые, сладкие на вкус, палочки, — экзотика и восточное таинство.

Неприменно держась за руки, дети отправлялись на конный двор к деду Епифану Ляпичеву, родному дяде их отца. Епифан Федосеич на конном дворе был главным человеком. Здесь же, в маленьком домике с огородом, он и жил вместе с женой и сыном. Клаше шесть, Боре пять, — для нала они путешествовали по каретному сараю, усаживались в коляски, изящно крытые, на рессорах, с тонкими колёсами, и — ехали на бал. Клаша — барыня, Боря — за кучера. Любили заходить на конюшню и смотреть на лошадей. Потом, нагруженные молоком, луком, огурцами, отправлялись домой. Епифан Федосеевич иногда подвозил ребятишек, особенно если случалось в это время ехать на станцию за священником Ивановской церкви, стареньким и глухим отцом Николаем.

Стриженный под горшок Епифан восседал на высоком кучерском месте. Прохожие останавливались, кланялись: «Епифану Федосеичу!»

Тот усмехался, косил глазом за спину, на щуплого, но с могучей бордой отца Николая:

— Кырлу Мырлу везу!

Про Карла Маркса народ был уже наслышан, связанное с «Кырлой Мырлой» отзывалось в России полной неразберихой.

...Можно сказать, что это было детство маленьких дикарей, но только в этом случае жизнь имеет возможность беспрепятственно преподавать самые главные уроки. Так мама вспоминала походы со сверстниками в часовню. Казарменные каморки, фабричные девятиметровки, были слишком малы, чтобы вмещать одновременно и живых, и мёртвых. Пока готовились похороны, покойника помещали в часовню, небольшое приземистое строение возле церкви. Дети проникали через незапертую дверь, бесстрашно разглядывали мёртвые лица, шёпотом переговаривались:

— Посмотри, какой у меня хорошенький!

— Нет, ты на моего лучше погляди!..

Полная свобода и постижение всей жизни сразу, без остатка и выбора. Особенность маминого мировоззрения, — восхищение Божьим Миром, доверие к нему, — следствие бесценных детских опытов.

...Тайком, без разрешения, ходили купаться на пруд. Для этого брали наволочки, из них на воде получались большие пузыри. Держась рукой за такой пузырь, свободной гребли в тёплой, пронизанной растительностью глубине. Мать, возвращаясь с работы, щупала тяжёлую дочкину косу: «Опять купаться бегали? Ну, смотри мне, если Бориска утонет!»

Боря рос увальнем, плоховато слышал. До конца жизни он удивительно напоминал французского актёра Жана Габена, такая же неподражаемая неуклюжая пластика.

В жаркую летнюю пору, когда в душных каморках невозможно было уснуть, обитатели казарм выносили на улицу матрасы, одеяла, подушки, и располагались прямо на траве. Я хорошо представляю маму, счастливо глядящую на проплывающие в синем небе облака. Она всегда смотрела на окружающую природу влюблёнными глазами. На последнем году её жизни мы с ней осторожно, со ступеньки на ступеньку, выходили гулять

в сад, весенний и благоуханный и — золотой, осенний... Мама слабым своим зрением оглядывала, охватывала, обнимала пространство: «Господи! Как в раю!», и — крестилась. Ей никогда не надоедала жизнь. Даже в самом конце, неудобная, наполненная болью, жизнь была для неё бесценна, и она «боролась» за каждый новый день.

Помню удивительное мамино любопытство, она всегда ждала от жизни приятных новостей: вот уже осень, началась школа, а впереди — Новый год, каникулы. Затем — чудная радость, весна, и, наконец, — долгожданное лето. У неё была «лёгкая рука»: всё, что ни сажала она в огороде, — росло прекрасно. Георгины всех фасонов и оттенков, крупные и величественные, помидоры небывалых для Подмосковья размеров и исключительного вкуса. Урожай картофеля, яблок, огурцов, с хранением, мочением и солением всех этих сокровищ в кадках, которые предварительно пропаривались ею с душистым можжевельным веником. Для большинства людей всё это — труд и заботы, а для моей мамы самое обыденное превращалось в увлекательное событие. Жизнь её именно восхищала и никогда не казалась трудной, хотя на долю ей, родившейся в 1912 году, выпало всякое. Три войны уготовила судьба на долю моей мамы. Через её воспоминания история и беды России становились для меня близкими, личными, семейными.

...В феврале 1917-го года Клаше Ляпичевой исполнилось 5 лет. Мать, придя с фабрики, приколотла ей на платье красный бант. Девочка думала, что это подарок ко дню рождения, но оказалось, что сегодня такие банты — у всех, и что это — революция.

В марте в каморке Ляпичевых был снят со стены портрет царя. Клаше он нравился, у царя были добрые глаза, но мать сказала, что его свергли.

— Как это — свергли? — спросила Клаша.

— Прогнали. — Коротко ответила мать.

— И где он теперь?

— Кто ж его знает...

Девочка посмотрела в окно. Мокрый снег норовил залепить стекло. Едва различаемые в сумерках деревья метались от ветра в разные стороны. Перед сном Клаша молилась рядом с матерью за воюющих: за тятеньку, за дядю Стёпу и, совсем тихо, — за бедного царя...

Через год, в начале марта, когда Клаше сравнялось шесть лет, мать сообщила новость:

— С германцем мир подписали. Скоро мужички наши домой вернуться.

Но в 1919 году, когда девочка пошла в школу, уже шла гражданская война. Накануне в школе были сняты иконы. Дети, войдя в класс, прежде всего, увидели пустой, странно белеющий угол с торчащими гвоздями. Скоро сняла иконы и бабушка Наташа. Привычные, с уютной лампадкой, они вошли в жизнь моей мамы с младенчества. Возле них её учили молитвам; провинившуюся, оставляли там одну. Лампада высвечивала тогда непередаваемо глядящие с иконы глаза, и девочка заливалась слезами, прося прощения.

Вместо Государя Николая Александровича стал Ленин Владимир Ильич. Хочется верить, что российский люд на союз со злом решился без особой охоты. Так всё совпало, нагрянуло смутное для России время. На русскую землю пришёл извне страшный и кровавый призрак коммунизма, беспощадный «нежить». Людей охватил страх, ужас леденил души и сердца, безумными стали их действия.

Но Господь милостив, у предавших его чад ни рогов, ни хвостов не выросло. Жили-поживали до поры до времени. Дети росли без икон, без молитв, в хуле на Господа, но не обойдённые его Божественной Искрой.

Строился на крови новый, уродливый российский мир, а доброта не иссякала, свет пробивался.

...Первую мамину учительницу звали Екатерина Петровна. Никто не знал, откуда появилась она в подмосковном Реутово. Скорее всего, выжила как-то в революционной мясорубке и учительствовала теперь. С тремя маленькими детьми, но ещё молодая и красивая. Ласковая улыбка, светлые вьющиеся волосы, нос прямой, с лёгкой горбинкой. На тонком пальце — золотое колечко, на колечке — крестик, выложенный мелкими алмазиками. Маме она запомнилась, потому что резко отличалась от обитателей казармы. Дети понимали, что учительница их — из «бывших», то есть — из господ. Из того самого мира, который «свергли». Но Екатерина Петровна была прекрасной и обожаемой, она осталась в памяти, не забылась. Как всю жизнь не забывались мамой стихи, заученные на её уроках.

Вечер был, сверкали звёзды,
На дворе мороз трещал.
Шёл по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
Боже, говорит малютка,
Я прозяб и есть хочу.
Кто накормит и напоит,
Боже добрый, сироту?

Когда мама оканчивала 4-й класс, Екатерина Петровна вышла замуж за главного инженера реутовской фабрики. Дети были рады за неё, хором поздравили с «законным браком», а мама с подружкой Нюшей набрали в лесу грибов и принесли корзину в подарок молодожёнам.

...Однажды Клашу послали к деду Епифану за луком, проходя мимо высокого забора, она услышала голоса и глянула в щёлку. На зелёной

лужайке Екатерина Петровна и её муж играли в крокет. Что именно в крокет, девочка поняла сразу, хоть видела игру впервые. Да и не игра вовсе была тут важна, но атмосфера радости и любви, которая всё соединяла и делала прекрасным: и лужайку, и крокет, и двух людей из «непохожего» мира.

Прошло время, и своего единственного через всю жизнь мужа она избрала за это самое качество, — за «непохожесть»...

Детские мамыны впечатления — это всегда было что-то особенное, не повседневное, то, что заставляло мечтать и поднимало над сиюминутным и приземлённым.

Вокруг Реутово были леса и леса, а неподалёку от Ивановской церкви — берёзовая роща. Там часто играл оркестр или, как говорили дети, там «устраивали музыку». И они радостно, в предвкушении прекрасных звуков, бежали туда летними вечерами, чувствуя под босыми ногами тепло старинной, давно протоптанной дороги. Мама говорила, что это бывали моменты восторга и любви к окружающему пространству, иными словами — любви к Родине.

Ей посчастливилось встретить людей, которые сеяли в душах детей «разумное, доброе, вечное», невзирая на окружающее мракобесие. Директор школы, где она училась, никогда не снимал с макушки чёрную шапочку. Иногда он приходил в класс вместо заболевшего учителя и говорил:

— А давайте-ка, дети, я почитаю вам стихи моего любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

И читал. Или приглашал детей к себе домой:

— Пожалуйста, приходите, кто хочет.

Дома он и его жена читали детям, а ещё рассказывали содержание опер, иногда даже немного изображали и пели. Опера «Аида» в таком

исполнении произвела на маму огромное впечатление. Позднее, услышав это произведение в театре, она даже была слегка разочарована.

Человек в черной старенькой кипе, читавший детям Пушкина, на всю жизнь определил мамино отношение к этому таинственному народу. Много лет спустя, в эпоху очередной борьбы с космополитами, мама, будучи директором школы, брала на работу учителей этой непонятой в России национальности. В районном отделе народного образования не очень одобрительно шутили:

— Развела синагогу Клавдия Фёдоровна...

...Пока Клаша не стала пионеркой, она продолжала бегать в церковь, упоённо, до восторженных слёз, молилась. Однажды на вечерней службе кто-то тронул за плечо. Обернулась: — отец. Стоит, посмеивается: «Ужидать идём. Небось, проголодалась». Бабушка Наташа тоже рвение дочери всерьёз не воспринимала: возьмёт, да и не разбудит её к заутрене, как обещала. Проспит Клаша, огорчится до слёз, а мать: « Не беда, потом отмолишь...»

Потом, конечно, время победило. Такое вот бесовски-бесстрашное пошло в России время. Мама моя и пионеркой стала, и в комсомол затем вступила, и в пасхальную ночь пела и танцевала с комсомольской агитбригадой на виду у негустой вереницы людей, идущих на церковную службу.

...В конце 20-х годов, после коллективизации, начались проблемы с хлебом, продовольствия не хватало. Ленина уже положили в мавзолей, а Сталин в апреле 1929 года объявил, что хлеб за границей покупать не будем, лучше нажать на кулака и отобрать у него излишки. На кулака нажали, тысячи крестьян были сосланы в Сибирь, и в стране начался по-вальный, невиданный голод, который унёс жизни почти семи миллио-

нов человек. Особенно он свирепствовал на Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге, Украине и в Казахстане. Умершие лежали на улицах, возле матерей — дети, у которых ножки напоминали птичьи лапки. Были случаи людоедства, вымирали целые деревни.

В маминой жизни тогда произошёл страшный, незабываемый случай: в помещение церкви, перед отправкой в ссылку, поместили партию «раскулаченных». Охранять их ночью поставили комсомольских активистов, среди которых была и Клаша Ляпичева. Ночью они слышали вдруг, как рванулся под высокий церковный купол отчаянный, пронзивший душу крик. Это один из несчастных в алтаре перерезал себе горло...

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»... Моя мама постепенно набиралась опыта. Впоследствии он помог ей спасти себя, своих детей и тех, кто в этом нуждался.

...На балашихинскую хлопкопрядильную фабрику она попала по распределению после окончания Ногинского текстильного техникума. Густые волосы, зелёные глаза и — решительная. Приехали они вместе с подругой, мама пошла к директору: «Вы должны нас обеспечить. Мы — молодые специалисты!». Тот посмотрел на неё, вздохнул: «Вот-те да! Я ещё и старых не обеспечил».

Поставили маму сменным мастером — неделю в ночь, неделю с утра. Туда бы мужчину с техническим образованием, но...народ уходил с фабрики на начавшуюся стройку, которую называли «летуновкой». Зарплата там была повыше, карточки отоваривались лучшими продуктами, вот и «летел» туда рабочий класс. А мама лучшего не искала, ей было интересно на фабрике.

...Вот звонят из прядильного цеха:

— Поломка! Машины останавливаем!

Маме самой не справиться, но у неё — помощник замечательный, Павел Иванович. Он на фабрике с мальчишек, ещё при Лунне начинал, — любую машину разберёт и соберёт, так с ключами и ходит. Бегут они в прядильный, а мама тихонько просит:

— Ты уж только не матерись, Павел Иванович! Я ведь молодая всё-таки...

— Эх, Фёдоровна! Двадцать человек опять на «летуновку» ушло! Это ж... Ну, ничего. Мигом всё поправим, будь покойна. Как-нибудь обойдётся.

Влажность на текстильных фабриках, как в бане, так положено по технологическому процессу. И — шум! На ткацких фабриках шум особенный, кто подолгу там работает — глохнут. В цеху — одни женщины, маму они любили. Смотрят, бывало, как идёт она по цеху: фигуристая, халатик затянут, глаза серьёзные. Как-никак — мастер... Приятно им видеть эту молодую доверчивость к жизни, всё-то ещё впереди у Фёдоровны, всё ей в охотку, как в игрушки играет. Кричат, бывало: «Подойди, Фёдоровна, поговори с нами!»

Наконец, из сменных мастеров маму перевели на заведование ФЗУ, (фабрично-заводское училище), под её началом оказались два общежития: мальчиков и девочек. Сироты, детдомовцы. Беспризорники были следствием политики Сталина: коллективизации, раскулачивания, голода. Это было российское бедствие, — тысячи бездомных и нездоровых детей, прошедших ужасы становления советского режима.

Мамин энтузиазм нашёл здесь лучшее применение, директору от неё отбоя не было:

— Дайте им обед дополнительный! Ведь у них кроме спален — ничего, ни кухоньки, ни подсобочки. Чаю не подогреть! Что в столовой съедят, с тем и лягут.

— Откуда, Фёдоровна, прикажешь дополнительный брать? Ты ж видишь...

— А я считаю, — мы должны! Вы же знаете, у них почти у всех года приписаны, разве им по шестнадцать?! Найдите, постарайтесь, пусть хоть в ужин побольше поедят.

И «фезеушники», в конце концов, получали дополнительное питание. На кроватях у них появились белые покрывала, на тумбочках — салфетки. Но проблем с этими детьми было много.

— Фёдоровна, писунов-то среди мальчиков сколько! В спальне вонища — не продохнёшь, и матрацы преют...

Фёдоровне только двадцать, и мальчишки её, понятно, стесняются. Подойдёт, скажет тихонечко:

— Давай к врачу с тобой ходим...

— А чего мне к врачу? Что я, больной что ли?

Маме их жалко, не забывает — сироты...

— Мы вдвоём ходим, никто и не узнает.

...Вечерами мальчишки резались в карты и — пели:

Позабыт-позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет.

Не гоже, казалось бы, петь это в новой жизни, тащить горькое прошлое сюда, где тумбочки под белыми салфетками, где, Слава Богу, как-то сыты. Но нет сил остановить их, берёт за душу тоска, стоит «Фёдоровна» и слушает, как поют-рассказывают про недетское своё горе обездоленные российские дети:

Вот умру — похоронят,
Похоронят меня,

И никто не узнает,
Где могилка моя.

Постепенно привыкли, стали доверять:

— Мы, Фёдоровна, Касарина боимся. Так с финкой и ходит.

— Касарин, у тебя финка есть?

— Есть...

— Отдай мне её... Зачем тебе? Опасно...

Принёс. Положил.

— Ну, вот и хорошо. Не игрушка ведь.

На мою на могилку
Уж никто не придёт,
Только раннею весной
Соловей пропоёт.

...Маму премировали кофтой василькового цвета, к её глазам очень шло. И как раз в это время она познакомилась с моим будущим отцом. Вышло это так. Она для ребят своих понапридумывала всего: и оркестр народных инструментов, и в кабинет литературы репродукции русских художников... Вот ей и посоветовали: Вы к Сидельникову Ростиславу Семёновичу обратитесь, завучу детской школы. Знающий человек, опытный... И, — подумать! Он оказался тем самым симпатичным мужчиной, которого она всегда замечала.

Перед Новым годом вместе в театр поехали. Мама очень любила московские театры, и в то время частенько отправлялась вечером в «Немировича-Данченко», на места «ударников». Такие места в театрах полагались предприятиям. Постановки шли интересные: спектакли, оперы, балеты. И вот мама решилась, и пригласила в театр будущего моего папу. Давали оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет мценского уезда».

Постановка была несколько необычной, музыка — и вовсе непривычного звучания. На обратном пути успели поговорить обо всём. Прощаясь, решили и дальше практиковать такие выходы вдвоём...

— С большим удовольствием, — сказал мамин новый знакомый. — Только я не очень люблю «новаторство» в музыкальном искусстве. Будемте лучше слушать классику...

Новый 1936-й год работники фабрики встречали своим коллективом, директор всех пригласил к себе. Мама была какая-то особенная, все заметили. Кофточка — крепдешин салатový, застёжка «с разговорчиком», но дело было не в этом... Весело было молодой моей мамочке Клавдии Фёдоровне — танцевала, пунш горел синим огнём, а мысли были далеко....

...Следующий Новый год они встретили вдвоём в маленькой комнате дома у реки, и папа, наигрывая на рояле, пел маме романс «Не брани меня, родная».

Часть вторая. ОБРЕТЕНИЕ

МОЁ ДЕТСТВО

Уродилась я,
Как в поле былинка...
Русская народная песня

Я ничего не знала, появившись на свет, всё пришло позже, постепенно, — люди, вещи, природа и животные, свет и тьма, радости, горести, обида, любовь. Всё это нужно было принять, освоить и выдать ответ, то есть своё понимание и отношение. Так каков же мой «мёд», напитал ли он добром хоть крохотную часть мироздания?

Всякий раз, задумываясь над этим вопросом, я понимаю, что познать себя напрямую — невозможно. Только через тех, кто шёл рядом, и, прежде всего, рассказывая о своём детстве.

Все люди «родом из детства». Таким образом, в рассказе о себе, я опять возвращусь, прежде всего, к той, которая носила, мучалась, произвела на свет, и осталась вечной молитвенницей за своё дитя.

Мамочка! Кто знает, что выросло бы из твоей дочки, если бы не твоя неизбывная любовь ко мне и безоговорочное, непрерывное восхищение. Оно-то и было моим спасением. Ты всё принимала: мои фантазии, беспокойный характер, частые болезни. Для тебя я, несмотря ни на что,

оставалась «самой-пресамой», ты любовалась мной в то время, как я, трудный подросток, себя не любила. Невзирая на жизненные трудности, ты никогда ничего для меня не пожалела, сколько праздников получила я из твоих рук!

Мамочка! Расставшись с тобой, только так я теперь обращаюсь к тебе, прося мысленно совета, помощи, ходатайства и прощения. Я всегда любила тебя, но — любила и негодовала, любила и раздражалась, любила и отвергала. Дорожила и тяготилась, отталкивала и скучала без тебя. Дрожала над тобой, состарившейся, как над ребёнком, и уставала до грешных мыслей. Я хотела быть без тебя и никогда не могла с тобой расстаться. Тебе я обязана моим сложившимся, в конце концов, обликом. Этот процесс не был простым, Создатель задумал его, как медленный и мучительный, но Он дал мне в помощь — тебя.

...И вот мы с мамой поднялись на четвёртый этаж дома №17, и позвонили, и вошли. Бабушка Наташа, наверное, ахнула, — новую внучку принесли! Сестричка моя Инночка или запрыгала, или оробела. Всем было интересно поглядеть, какая она, новая девочка. Положили на обеденный стол, стали разворачивать одеяльца и пелёнки, но... завывла сирена: «Граждане! Воздушная тревога!» Быстро заспешили все вниз, в бомбоубежище. Там было тесно, темно, но всё-таки все были вместе и в относительной безопасности.

А на крыши домов бесстрашно вылезли наряды дежурных жителей для тушения зажигательных бомб. Было много подростков. На крыше соседнего дома, по той же Большой Ордынке, мальчик четырнадцати лет, в очках, стоял, изготовившись, то есть — в брезентовых рукавицах, рядом — ведро с песком. Он ждал: сейчас посыпятся «зажигалки»! Вовсе неинтересно было ему знать, что малюсенький свёрток с безымянной ещё девочкой совсем недалеко от него пронесли в бомбоубежище. И мне

в ту пору было тем более невдомёк, что на соседней крыше бесстрашно орудует слегка раскосый мальчик по имени Камилл, который через много лет войдёт в мою жизнь.

...Через неделю вся наша семья отправлялась в эвакуацию: бабушка, дедушка, Надя, мама, пятилетняя Инночка и я, уже не безымянная, а по просьбе моей сестрички названная Оленькой, Ольгой. Борис, мамин брат, отправлял нас с заводом «Красный пролетарий» на Урал. Сам же он оставался, так как имел задание взорвать завод, если немцы войдут в Москву. А те уже стояли в Химках. Тогда это был очень близкий пригород, фактически Москва.

Наш состав был последним, сумевшим вырваться из города, следующий разбомбили. Данная Богом жизнь — всегда чудо. Мы благополучно выехали 18 октября, а 19-го погибло много людей в том уничтоженном бомбой поезде, много детей. И какую-то девочку тоже звали Оленькой, Ольгой, и её в мире не стало. А я вот — живу...

Собрались мы наскоро, взяли — минимум. Вагон был товарный, крохотные окошечки под потолком. Мама со мной на руках примостилась на куче угля, насыпанного в центре вагона, Инна — рядом. Ехать предстояло 24 дня, но, спустя несколько дней, у меня покраснели и опухли глаза. Общими усилиями пассажиров маме было найдено место у окна, чтобы я видела свет.

Как вообще справлялись мои родные с таким крохотным ребёнком — представить трудно. Надо было мыть, пеленать, стирать и сушить пелёнки. Слава Богу, у мамы было грудное молоко, и это тоже — чудо.

Воду надо было изловчиться достать на остановках, но поезд трогался без предупреждения, а за водой стояла очередь. Наудачу прыгали из вагона почти на ходу, замирая от страха, что отстанут, бежали с чайниками и ведрами к колонке, толпились, кто-то не успевал, возвращался ни с чем.

Но тогда с ними делились водой те, кому повезло. Дедушка Фёдор однажды чудом не отстал, его втащили в вагон за руки, когда поезд уже шёл.

Доехав до города Алма-Ата, почему-то решили разделиться: мама с нами осталась, а бабушка, дедушка и Надя поехали дальше в Челябинск. Соображения были понятны, Алма-Ата — «город хлебный», климат — тёплый, более пригодный для детей, чем уральский. Всем казалось, что война скоро кончится, папа приедет и заберёт нас. Устали жить в страхе и напряжении, хотелось расслабиться, помечтать о счастливом конце.

И вот мама осталась, поселилась у одинокой и доброй старухи. В тот период я была беспокойной, орала днями и ночами. Старушка, таким образом, по ночам не спала и советовала маме: «Снеси ты её, сердешную, в курятник, положи под насест. Куры у ей крик-то съмуть...»

Как-то маме удавалось жить в чужом незнакомом городе. Она ни на минуту не расставалась с нами, все вместе мы ходили на базар, возвращались обратно и жили до следующего утра.

А над дивным городом Алма-Ата молчаливо поднимались к небесам горы с сияющими снежными вершинами, равнодушные к происходящему, к людскому житию-бытию...

... Наконец, мама поняла: надо ехать в Челябинск, к своим. Она купила билет, нашла старичка-перевозчика с осликом. На ослика положили вещи, и мы отправились на вокзал. Вокзалы всегда место суеты и толкотни, а в военное время — и подавно. Мама растерялась, а тут вдруг, откуда ни возьми, — молодые военные. Она, не раздумывая, к ним: «Молодые люди, мне бы вещи в багаж сдать. Не можете?» Отдала все документы, взяли они багаж и ушли. Мама хотела у вагона подождать, но её туда буквально внесло толпой. Сидит она и волнуется, как эти военные теперь её

отыщут? И, — невероятная вещь, — они её нашли! Отдали квитанции, козырнули: «Всё в порядке! Счастливого пути!»

Рассказывая этот случай, мама всегда заканчивала так: «Я верю, Бог есть!»

В этом она никогда не сомневалась и с этой твёрдой верой жила.

«Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое», — сказал писатель Константин Паустовский. Для меня драгоценны детали жизни моих родных, но, надеюсь, и читателю будут небезынттересны моменты того, ушедшего навсегда российского бытия, характеры, воспитанные им. А главное, я надеюсь, что подробности эти дадут ощущение неизбежности, «вечности» нашей России несмотря ни на что...

...Так вот, мы ехали в Челябинск, и всё складывалось неплохо, но в поезде свирепствовала корь, наша Инночка заболела. В Челябинске маму встретили родные, повезли на эвакуопункт, где разместились сами. Помещение было холодным, спали на полу, а уральская зима сурова, — больная Инночка ещё и простудилась вдобавок.

С воспалением лёгких и температурой 40 её положили в больницу для эвакуированных, откуда на следующий день её надо было куда-то нести на рентген. Мама пришла за ней вместе с Надей, и они увидели, что Инна без сознания.

Почти бегом, не помня как, оказалась мама в больнице челябинского тракторного завода. Беженцев тут не принимали, маме отказали. Она не ушла, села на стул в приёмном покое, прижимая к себе Инну. Долго сидела и — молча... Вдруг по лестнице спускается женщина в белом халате:

— Вы почему тут сидите?

— Дочка у меня болеет, — тихо ответила мама.

Врач взглянула Инночке в лицо и закричала:

— Срочно горячую ванну! Быстрее!

Инну отнесли в палату, уложили в кроватку. Врач сказала:

— Нужен сульфидин. Я выпишу рецепт. Попробуйте достать.

Мама пошла в аптеку, ей выдали один пузырёчек лекарства. В больнице врач глянула ей в глаза:

— Таких пузырёчков нужно сорок.

Тогда мама вернулась на эвакуопункт, взяла сумку, набитую пачками сахара, которым, уезжая из Москвы, отоварила все продуктовые карточки, и вернулась в аптеку.

— Спасибо Вам за пузырёчек сульфидина, но этого мало. Мне таких нужно сорок.

И поставила перед аптекарем сумку.

...Когда принесла сульфидин врачу, та вздохнула с видимым облегчением:

— Теперь надежда есть. Идите домой, отдохните.

Утром мама пришла в больницу, и нянечка ей сказала:

— Повезло Вам. Это у нас лучший детский врач. Она всю ночь от Вашей девочки не отходила. Сама и уколы колола, и кислород давала...

Спустя несколько дней маму пустили в палату, она села рядом с кроваткой Инночки и заплакала. Подошла врач:

— Что же Вы расстраиваетесь? Смотрите, девочка — в сознании. Улыбается Вам.

— Сегодня — 6-е января, день её рождения, в этот день у нас всегда была ёлка...

— А у нас сегодня как раз ёлка для выздоравливающих, — улыбнулась врач, — Заверните её в одеяло и идите в зал. Пусть посмотрит на детей, порадуетя.

...Мама умела способствовать чуду, особенно если дело касалось детей. Если мы с сестрой выжили во время войны, то это благодаря нашим родным и, прежде всего, благодаря нашей маме.

Она — не отчаивалась. Она — верила.

Незадолго до кончины она написала в письме внучке:

...«Я верю в помощь Божью. Мне кажется, что я прожила свою долгую жизнь с Его помощью. Я вспоминаю прожитую жизнь с благодарностью Богу за всё. Мне кажется, что у меня всё было хорошо. Жизнь не казалась мне очень трудной, может быть потому, что в самых тяжёлых обстоятельствах я как-то находила выход. А таких обстоятельств было много...»

ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Не знаю, был ли этот сад?

И был ли этот дом?

Но много лет тому назад

Я жил в краю родном.

Алексей Шадрин

...Ранней осенью 2000 года мы сидели втроём и разговаривали, мама, Инна и я. Мама сказала:

— Никогда не думала, что доживу до момента, когда дочки мои станут бабушками...

Мы сидели втроём, как когда-то, в нашем детстве, сживали в комнатке нашего дома у реки, куда возвратились из эвакуации в 43-м году.

С начала 42-го года от нашего папы не было вестей. На мамин запрос пришёл лаконичный ответ: в списке убитых не значится, пропал без ве-

сти. Мама всё-таки надеялась, что папа отыщется, даст о себе знать. Она рвалась в Балашиху, чтобы ждать папу дома.

Живя в посёлке Потанино под Челябинском, мы не голодали. Это было место ссылки немцев Поволжья. Их сослали сразу после начала войны, жили они в лагере, как заключённые, но могли работать «на воле». Они сразу приняли в нас участие: сложили печь, смастерили для меня коляску и кроватку, аккуратно выточив все части из дерева и покрасив затем всё в голубенький цвет. Немец, возивший из пекарни в лагерь хлеб, проезжая мимо нашей избушки, клал на порог тёплую буханку. Потом дедушка нашёл работу на конном дворе, мама — в столовой эвакуированного завода, а бабушка оставалась с нами, детьми, и вела хозяйство. У нас был огородик, куры и коза.

...На следующий день по возвращении в Балашиху, мама встретила знакомую ещё по фабрике, та рвала лебеду.

— Вот варим и едим, — объяснила она, — так вкусно...

Мама поняла, что мы вернулись в голод.

...Это случилось сентябрьским утром 45-го года. Я проснулась оттого, что кто-то громко вскрикнул. Рядом с бабушкой стояла незнакомая женщина.

— Дедушку-то нашего машиной сшибло, — сказала мне бабушка.

В этом деревянном домике мы занимали только половину, за стеной жили соседи. Стена была странная, не до потолка. Наверху ещё умещались какие-то мешки, а на них спал наш кот Мурзик. После бабушкиных слов я сразу поискала глазами Мурзика, он спал, уткнувшись носом в мешок. Когда дедушка приходил с работы, он тоже часто дремал за столом, опустив голову на руки.

Утреннее солнце лежало на полу оконными квадратами, я услышала голос:

— На шоссе подобрали... Утром...

Бабушка плакала, я рассердилась на неё и тоже начала реветь.

...Вернувшись в Москву после эвакуации, дедушка Фёдор работал заведующим школой механизаторов, по-другому это называлось — подсобное хозяйство. У бабушки был там маленький огород, я жила с ними постоянно. Это было недалеко от Балашихи, и дедушка очень часто навещал маму и Инну. Немного молока в бидоне, огурцы, картошка, свёкла, и по шоссе в любую погоду, десять километров туда, десять обратно. Выходил вечером, возвращался под утро, и — сразу на работу.

...Потом мы поехали к маме, на чём — не помню.

— Клаш, отец-то в часовне — сказала бабушка.

Мама заплакала и сказала:

— А мы с утра с Инной песни пели...

...Помню, на похоронах было очень много народа, нашего дедушку Фёдю несли в открытом гробу. Я сидела у кого-то на плечах, и мне казалось, что, всегда усталый, он просто крепко спит.

...Детство своё помню хорошо с пяти лет. Я жила то в Балашихе с мамой и сестрой, то у бабушки в Москве, на Большой Ордынке. Воспоминания тех лет похожи на сказки Гофмана, вещи, окружавшие меня, кажутся мне живыми. В то время в Балашихе часто гас свет. Тогда на маленький шестигранный столик, оставшийся со времён хозяина Лунна, мама ставила керосиновую лампу или свечу. При таком освещении наша комнатка выглядела таинственно.

Неуклюжей массой из полутьмы надвигался папин рояль, наискосок по нему шагали три белых слона. Большой слон с бивнями — папа, поменьше — слониха-мама и — маленький слонёнок. На стене выступала большая картина в раме, написанная маслом — «Три богатыря» Васнецо-

ва. Как зовут богатырей, я знала, симпатичнее других был мне Алёша Попович, вероятно из-за юного своего облика.

На противоположной стене, над маминой кроватью, висела ещё одна картина, средних размеров. Она особенно чудно выглядела при свечах: девочка с золотыми кудрями, в платье малинового бархата с пышными рукавами и в кружевах цвета топлёного молока сидела над листом бумаги. Видно было, что она на миг призадумалась, поднеся карандаш к пухлым губкам. Прелестное личико сосредоточено, глаза опущены, всё это озарено мягким светом и — живёт. Скорее всего, это была работа неизвестного голландского мастера. А история этой картины такова.

Весной 45-го младший мамин брат Александр Ляпичев, солдатом-победителем, в числе других, шагал по земле капитулировавшей Германии. Незваных гостей, что называется, провожали до самого дома. Когда-то так же до Парижа проводили французов.

Россию нельзя победить, это факт и факт необъяснимый. Считается, что причиной тому суровые зимы, колоссальные просторы, дикость мест, удалённых от дорог, и отсутствие этих дорог вовсе. Иногда всё сводят к особенностям русского характера, но никакие теории в отношении России не работают, а потому шёл мой дядя Шура победителем по чужой стране.

Несмотря на страшные последствия войны, Германия удивляла наших солдат аккуратностью, рациональностью, прогрессом и богатством. Походя, зашли солдаты в дом, похожий на старинный замок. Он был брошен, пустовал, но обстановка, вещи — ещё не тронуты. В огромном холодном зале молодой солдат вдруг восторженно замер перед картиной тёмного письма, будто светящейся неземным внутренним светом. Покой и нежность детского лица, бархат, кружева цвета топлёного молока ... Невозможно было оторваться, уйти, оставить эту девочку среди разрухи

и смерти, в брошенном доме. Он аккуратно снял холст, положил в вещмешок, — и девочка с золотыми кудрями прибыла в Москву. Всем родным достались от дяди Шуры подарки. Нам — картина с бархатной девочкой, и ещё пальтишко для меня с перламутровыми пуговицами. Одна перламутровая пуговица хранится у меня до сих пор, а картина висела у нас очень долго, а потом, при переезде на другую квартиру, вдруг исчезла. Может, мы забыли её, или она была украдена при погрузке, — не знаю. Девочка, проступающая из голландской светящейся полутьмы, исчезла. Покинула нас навсегда...

... Дочка дяди Шуры, двоюродная моя сестра Лида, родилась после войны. Удивительный получился человек. Всегда казалось, что она светится тихим, нездешним светом. По сей день всё в ней изящно, скромно и одухотворено. Глядя на неё, я понимаю, что такое смирение... Смирение и всепрощение, так как жизнь Лиде выпала обычная, то есть — очень не лёгкая. И ещё, глядя на неё, я вспоминаю девочку с пропавшей старинной картины ...

ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ СОЛНЦЕ

В певучем граде моём купола горят.

М. Цветаева

...Мне всегда казалось, что Замоскворечье, — это и есть единственная и неповторимая Москва, ни в какой другой своей части она не выглядит так самобытно. Замоскворечье — предтеча Красной площади. Лучше всего отсюда, с Большой Ордынки, смотреть на кремлёвские башни, на

многоцветные луковки собора Василия Блаженного, чтобы полнее охватить величие и неповторимость сердца столицы.

Если с Большой Ордынки свернуть в переулки Климентовский — налево или Черниговский — направо, пройти их до конца, то — вот она, Пятницкая улица. Мы с бабушкой чаще всего сворачивали налево, чтобы зайти в угловую булочную, а потом, мимо собора Святого Климента, уже и на Пятницкую.

С досоветских времён и по сегодняшний день эта улица — торговая, в каждом доме — магазин. Бабушка несла клеёнчатые самосшитые сумки, а мне доверяла литровый металлический бидончик. В булочной мы отоваривали хлебные карточки, в обмен на бумажные квадратики нам отвешивали хлеб. Бидончик с подсолнечным маслом для меня, пятилетней, тяжёлым не был, так как полным его никогда, увы, не наливали. «Держи крепко!» — наказывала бабушка, и я крепко-накрепко сжимала пальцы. Я старалась, я понимала, это не шутка — отоварить карточки и принести домой кой-какую еду в целости и сохранности.

Дома бабушка наливала немного масла в блюдечко, присаливала его, давала мне кусочек хлеба: «Сядь, помакай, пока я обед сготовлю». Я, макая, думала про маленький кулёк с конфетами, который бабушка убрала в буфет. Конфеты без обёрток, туманно-коричневые, назывались почему-то шоколадными. Я знала, что одну получу обязательно, но только после супа. А вечером все вернутся с работы, сядут есть бабушкин обед, то, что она смогла сотворить из добытого нами. Само собой, останутся полуголодными, а бабушка будет переживать, чувствуя себя виноватой.

...Помню, как в квартиру на Ордынке вошло много молодых военных, высоких и очень красивых, — это вернулся с войны младший бабушкин сын, дядя Шура, и с ним были его товарищи, они ехали из Гер-

мании. Кто-то подарил мне трофейную губную гармошку, вероятно, за песню, которую я им тут же исполнила:

Выходила Клавочка
Посидеть на лавочке,
Показать подругам
Сарафана шёлк...

Я довольно сильно заикалась, поэтому пела всегда охотно, это у меня получалось. Дядя Шура подкидывал меня к потолку, я дула в гармошку и думала: скоро вернётся и мой папа...

Я помню салют Победы. Из окна видны были вспыхивающие над Красной площадью букеты, на улицах колыхалось людское море. Ещё запомнился праздник 800-летия Москвы. Вечером тоже был салют, мы с бабушкой вышли на улицу. Я увидела в небе огромный портрет Сталина, он висел чуть правее Васильевского спуска, подсвеченный снизу прожекторами.

...В пятилетнем возрасте я заболела скарлатиной. Лежала в страшном ознобе на маленьком диване. Надо мной по очереди отбивали время стенные часы, одни в чёрном, другие в коричневом деревянных корпусах. Часы были старинные, с маятниками, бой степенный, тягучий, с резонансом. Слева висели чёрные, с резными башенками, на циферблате — римские цифры. Часы справа были в стиле модерн, маятник в виде восходящего смеющегося солнца. Между часами помещались портреты бабушки Наташи и дедушки Фёдора, большие, торжественные, в рамках под стеклом. Сняты они были молодыми, после свадьбы. Бабушка — в платье с отстроченным лифом, присобранный рюшем воротничок — под самое горлышко. Гладкая причёска, чёрные глаза слегка сужены приподнятыми скулами, губы сжаты. Лицо не грустное, не весёлое, но — «знающее», готовое терпеть. Дедушка вполне картинен, с чёрными, за-

крученными кверху усиками, волосы коротко стрижены, чёрный фрак, по белой манишке — цепочка. Смотрит прямо, но слегка неуверенно. В скарлатинном бреду я слышала, как по очереди гулко звучали надо мной «часы-бабушка» и «часы-дедушка».

Вечером «скорая» отвезла меня в больницу, бабушка поехала провожать. Помню, меня в приёмном покое стригли наголо. Я сидела на стуле, закутанная простынёй, и открылась вдруг дверь. На один миг я увидела бабушку и успела крикнуть:

— Бабушка! Прощай!

И это всех рассмешило.

Когда я выздоровела, бабушка забрала меня из больницы и всю дорогу тащила на руках. Очень долго не было трамвая, и она всё держала меня, не опускала на землю, боясь, что я простужусь. «Держись крепче», — говорила она мне, и я изо всех сил обнимала её за шею. Так она и внесла меня на четвёртый этаж по крутым ступенькам. Дома меня ждал подарок: серебряные и золотые металлические стружки, которые дядя Боря принёс с завода «Красный пролетарий». Я любовалась яркими завитками и почему-то громко редела. «Ори шибче», — сказала усталая, замученная бабушка. «Не буду!» — ответила я. И мы с ней стали хохотать...

Жизнь на Большой Ордынке вспоминается очень интересной и разнообразной.

Утром все отправлялись на работу, мы с бабушкой Наташей оставались одни в квартире, и это было замечательно, поскольку общались мы с ней, как ровесники и единомышленники. Наблюдать за бабушкой было необыкновенно интересно. Она всё умела делать, шила платья и пальто, чинила обувь, разбирала сломанные часы, готовила пирог с корочками апельсина. Доставала из-под кровати странный металлический цилиндр, и оказывалось, что это приспособление для изготовления мороженого. И

мы затевали мороженое! В горшках у нас росли разные диковинные растения, выращенные бабушкой из семечек.

Или вдруг мы отправлялись в кино. На Пятницкой был кинотеатр «Заря», помню, мы сидим в фойе, едим мороженное и ждём, когда начнётся фильм «Небесный тихоход», — про лётчиков и про то, как весело и беззаботно было на фронте во время войны... Иногда мы ехали на трамвае в зоопарк, и бабушка с детским интересом разглядывала птиц и зверей, смешно комментируя их действия. А то вдруг она вспоминала, что пора навестить Фёклу Родионовну, старую знакомую, с которой они девочками вместе работали у господ.

Судьба Фёклы Родионовны сложилась, как в сказке про Золушку: она работала прислугой у писателя Александра Серафимовича Попова, который печатался под псевдонимом Серафимович и, в конце концов, стала его законной женой.

У неё всё соответствовало пословице «не родись красивой, а родись счастливой». Она родилась счастливой и проживала теперь с мужем в огромной квартире дома на набережной Москвы-реки, где находился, и сейчас находится, знаменитый кинотеатр «Ударник».

Однажды, во время нашего визита, подруги засобирались и куда-то ушли, а меня оставили с известным пролетарским писателем. Я сидела на полу, покрытом мягким ковром, по стенам, до самого потолка, стояли книжные шкафы. Серафимович в кресле, за письменным столом, писал, склонив наголо бритую голову. Мой взгляд его отвлёк, он посмотрел на меня сверху, подумал, встал и открыл дверцу шкафа. Я увидела большую вазу фигурного шоколада, и в ту же минуту получила шоколадный... пистолет. Серафимович вернулся в кресло, а я не знала, что мне делать с подарком. Этот предмет есть мне как-то не хотелось. В общем, когда автор «Железного потока» снова оглянулся, он увидел нацеленное на него шоколадное дуло...

...По утрам, стоя на коленях на бабушкином сундуке, я смотрела во двор дома, видела кусок Ордынки и верхушку колокольни церкви «Всех Скорбящих Радость». Чудесно и неповторимо пахло хлебом и шоколадом. Это благоухали кондитерская фабрика «Красный Октябрь», до революции «Эйнем», и замоскворецкий хлебозавод. Я слышала шум машин и цокот копыт по булыжной мостовой, а солнце ложилось за моей спиной квадратом на чисто вымытый линолеум пола...

Вечером мы укладывались спать. Чаще всего довольно поздно. Я так ясно вижу наш отход ко сну: я уже лежу на широкой кровати, а бабушка, в «самосшитой» белой рубашке, не спеша, расчёсывает на ночь свои длинные чёрные волосы и потом заплетает косу.

Включено радио — чёрная тарелка, и оттуда слышатся звуки Красной площади: гудки машин, шорох шин по брусчатке и бой часов на Спасской башне — конец московского дня...

ШКОЛА

Все люди — родом из детства...
Антуан де Сент-Экзюпери

Построенное англичанином Лунном в Балашихе будет стоять если не вечно, то бесконечно долго. Как удалось сделать такой крепости девять четырёхэтажных казарм, богадельню и больницу, — уму не постижимо! А вот старая школа в Балашихе почему-то была деревянной. Первым её «дореволюционным» директором был Иван Михайлович Белоусов. Так и осталось на все времена: -«белоусовская» школа. Она была с семилетним обучением. Меня же отдали в новую, каменную и просторную деся-

тилетку. В войну там размещался госпиталь, а в 1948 это уже опять была школа.

Учительница наша Ольга Ивановна была немолодой, она часто смеялась, и тогда были видны морщинки. Но ей как-то всё удивительно шло, даже отсутствие некоторых зубов, что опять таки обнаруживала её улыбочивость. Всем классом мы горячо её любили и честно делили с ней всё приносимое из дома на завтрак. Если это яблоко, значит, режется бритвой пополам, одна половинка — себе, другая — на учительский стол. Так же с конфетой. Не ломается — раскуси, но половинку оставь Ольге Ивановне. После перемены чего только не оказывалось на её столе! Марина Тукмакова и Поля Андреева, обе из шестой казармы, иногда приносили на урок селёдку. Они сидели на последней парте и обычно к перемене успевали её разделить на части. Желаящим давали откусить. Куда Ольга Ивановна девала эти огрызки — не знаю. Помню только, что, глядя на нас, она часто смеялась. Может, как раз от умиления нашей детской непосредственностью? Лицо её при этом становилось необычайно ласковым, добрым.

Хулиганы, разумеется, тоже были. Вовка Лихачёв, к примеру, пил на уроке чернила. Выпьет и сидит на всех поглядывает, писать-то ему всё равно больше нечем. Понятно, по классу смешки начинаются, он ведь ещё и рот свой чёрный демонстрирует. Ольга Ивановна открывала дверь и негромко звала:

— Гру-ша-а!

Тётя Груша была школьной нянечкой, а Вовка — её сын. Она появлялась, забирала Вовку, и, отмыв, возвращала в класс. Ольга Ивановна продолжала урок, как ни в чем, ни бывало. Самое удивительное, что и она, и тётя Груша абсолютно не проявляли возмущения. Больше того, мне вообще вспоминается, что обе они улыбались. Не открыто, разумеется, а чуть-чуть, глазами.

Ольга Ивановна всё про нас знала, и от неё учились мы Сопереживанию. Помнить, что у Наташи Ефимовой мама умерла, а Куликову отец сильно бьёт. На день рождения этих девочек приглашать не забывали, помня, что им — хуже... И Розу Сафиуллину — тоже, она была самая бедная, в школу приходила в длинном мамином платье.

...Мы тогда в третьем классе учились. Почему-то я вбила себе в голову, что у меня все поумирают. Мама, бабушка, сестра... Они, в общем, даже не болели, но я переживала ужасно, лягу спать и плачу под одеялом.

Девочка из нашего класса, Таня Глазунова, посоветовала:

— Ты молись, они и не помрут.

И научила — как. «Отче наш» я только самое начало запомнила, а «Богородицу» — целиком. Потом Таня мне из дома маленький образок принесла. Я его прятала под подушку и молилась каждый вечер перед сном. Реветь я перестала, так как надеялась на Божью помощь. Но спустя некоторое время засомневалась в правильности своего поведения. Как же так, пионерка — и тайком молюсь. Главное, неприятно было, что — тайком. В общем, я призналась девчонкам во всём. Мы пошли к Тане, покричали ей от калитки, она вышла. Я ей при всех образок вернула, то есть, всенародно, можно сказать, отреклась... А потом на меня и на всех остальных будто нашло что. Мы начали орать, хохотать, выкрикивали, паясничая, слова молитвы. Я отчётливо понимала, что поступаю ужасно, но остановиться не могла.

В то время вовсе исчезали из обихода некоторые слова русского языка, такие, как «кротость», «смирение». Главная беда состояла в том, что исчезали они не только из языка, но — из души. Зато появилось нечто новое, противоположное. Так слова пролетарского писателя Горького, что «жалость — унижает» определяли в советском обществе многое. «Не

жалеть надо человека, а уважать»... Одно без другого — абсурд, нормально — и жалеть, и уважать. Но советских идеологов устраивало именно, что людей не надо «жалеть», таким образом, все жестокости того времени получали оправдание.

Мне предстояло долго постигать родной свой язык. Я ещё понятия не имела, что «кроткие наследуют землю», я была уверена, что «вся-то наша жизнь есть борьба». Именно этим я и занималась в тот позорный для меня день у Таниной калитки.

...Таня Глазунова на следующий день в школу не пришла. Ольга Ивановна долго не начинала урок. Молчала, смотрела на нас непривычно строго. Потом тихо и грустно сказала.

— Что ж вы так... Ходили, кричали. Человека не пожалели, обидели... Какие вы после этого пионеры?!

Я сидела, опустив голову, и слышала:

— От тебя-то, Оля, я и вовсе этого не ожидала. Как же ты могла? Я ведь папу твоего знала, Ростислава Семёновича. Он бы тебя не похвалил.

После школы я пошла к Таниному дому. Вышла её старенькая бабушка, подошла к калитке:

— Опять ты к нам. Или забыла что?

— Простите меня, — сказала я.

— Бог простит. Заходи в дом...

С Таней Глазуновой мы с тех пор не то что бы подружились, но всегда оставались в хороших отношениях.

...Такая вот была у меня первая учительница, Ольга Ивановна. Фамилия её была — Белоусова, дочка того самого директора «лунновской» школы.

Перед войной Ольга Ивановна с мужем удочерили девочку-сироту, беспризорницу Альку. Одну из тех, кто был у моей мамы под началом в ФЗУ.

Бог и птичку в поле кормит,
И кропит росой цветок.
Бесприютного сиротку
Не оставит также Бог.

... Старшие классы в нашей школе обучали постаревшие обитатели лунновского поместья, то есть люди из «свергнутого», утерянного Российской мира. Они хранили его в душе и несли воспитанникам своим, то есть умели передать им не только конкретные знания, но и нечто другое: манеру говорить, двигаться, а главное чувствовать и — думать.

Десятый класс, в котором училась моя сестра Инна, запомнился мне, как особенный, исключительный. Девочки все, как одна, напоминали гимназисток из старых фильмов, мальчики — абсолютные джентльмены. Общались друг с другом они уважительно, без молодых вольностей. И как могло быть иначе, если преподаватель литературы Антонина Павловна Павловская, седовласая и прекрасная в свои восемьдесят лет, завораживала класс обращением на «Вы» даже к самому последнему двоечнику и неподражаемым русским языком. Особая посадка головы позволяла её лицу быть всегда освещённым. Помню, как Антонина Павловна идёт по коридору во время перемены, и школьники почтительно расступаются.

« ДУХ ДЫШЕТ, ГДЕ ХОЧЕТ...»

Что такое счастье —
это каждый понимал по-своему.
А. Гайдар

«Дух дышет, где хочет», — именно так сказано в Библии, и всю свою жизнь я находила этому подтверждение. С детства я видела людей, кото-

рые, невзирая на трудные, порой безнадёжные жизненные обстоятельства, занимались нами, «молодой порослью». Напрямую взывая к совести или личным примером, они выпалывали в детских наших душах дурные ростки и насаждали добрые семена.

Городок Балашиха в моём детстве был отсталой провинцией. Тёмные улицы без фонарей, убогие, пустые магазины, бедное население. Из развлечений можно назвать зимой — каток, летом — массовки. Большая огороженная площадка недалеко от школы называлась стадионом. С наступлением морозов её заливали водой, как-то освещали, и это было несказанное удовольствие — скользить на коньках. Массовками называлось народное гуляние в лесу, с песнями, лимонадом, танцами и нелепыми соревнованиями. Телевидения в то время не существовало, доступно было лишь радио. Утешал «Театр у микрофона», вечерами можно было услышать пьесы Виктора Гусева исключительно героического содержания и в стихах, позднее почти наизусть запомнилась пьеса Арбузова «Таня», с артисткой Бабановой в главной роли.

В городе стояли многочисленные памятники, выкрашенные серебряной краской. Часто повторялся Ленин с указующей рукой. Ленинская рука в каждом случае была разной длины, это можно было определить на глаз. Между больницей и клубом, на площади, находилась огромная голова Карла Маркса. По отношению к постаменту необходимые пропорции соблюдены не были, и голова с могучей бородой пугала, словно явившаяся из страшной сказки. «Кырла Мырла», по выражению конюха Епифана Ляпичева, на балашихинской площади выглядел, скорее, колуном, грозным Карлой.

Заведовал клубом Бубнов Сергей Петрович. В его ведении была библиотека, клубная самодеятельность и кино. Я не знаю, откуда попал он на эту должность, но весь облик его вспоминается мне, как тип русского

интеллигента. Часто на улице он встречал идущих с ночной смены усталых рабочих словами:

— Новые книги поступили, русская классика, Чехов, Гончаров... Заходите!

Усилиями Сергея Петровича клуб нёс людям истинную культуру, и это было спасением для забытого Богом городка.

... В младших классах для чтения нам предлагали список книг. В основном — о героях, людях, погибших за Советскую страну, пионерах и комсомольцах. Впечатления мои от прочитанного бывали не однозначны... История Павлика Морозова, например, ужасно пугала. Я не верила в этой книге ни одному слову. Мальчик предал своего отца, а озверевшие кулаки его зарезали. Читать это было неприятно, всё казалось придуманным специально для моего устрашения. Пугала именно недосказанность, явная полуправда. Погибших детей, юношей и девушек было, до слёз, жаль. Но литература «героического» толка назойливо требовала от читателя ответного чувства гнева и жажды мщения, и это мешало спокойно думать и сострадать.

В пьесе Бертольда Брехта «Жизнь Галилея» главный герой говорит: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях». Нам, детям, с детства внушалось, что в Советской стране должны жить только герои, — необъятный мир по ту сторону «железного занавеса» населяли враги. «Там» всё было, в лучшем случае, карикатурно, в нашей стране изъянов не было.

По воскресеньям в клубе «крутили» кино. Советское кино ориентировало общий взгляд на действительность. Колхозники, рабочие, учёные, артисты, — весь народ, единодушно счастливый, в кинофильмах побеждал, любил Сталина, пел, плясал, шутил и, одетый в белое, маршировал на физкультурных парадах. Большое «киношное» счастье заливало мою страну, «киношной» была правда о её жизни. Тем более ярко я

помню, как артисты клубного драмкружка играли «Ревизора» и «Бесприданницу». Смотреть приходил весь город, люди смеялись и плакали иначе, чем на просмотрах советских кинолент.

В библиотеке Сергея Петровича Бубнова существовали книги, на которые он действительно обращал наше внимание. Они рассказывали об иных людях; о детях — тоже русских, но непохожих на нас. Они были из другой России и верили в Бога.

Иного толка отечественная литература воспринималась, как «витамины»: Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Аксаков «Детские годы Багрова-внука», Лев Толстой «Детство, отрочество, юность». Особенным покоем, непривычной лирикой и доверчивостью человеческих отношений веяло от этих книг. Никакие предисловия о крепостном праве и злых помещиках этого впечатления не умаляли. Суровый отец маленького Тёмы, безжалостно отстегавший сына за ложь и трусость, тоже не пугал, в его действиях угадывался некий последовательный и справедливый смысл. Эти книги рассказывали о праве человека на поступок, личный и свободный выбор решений. Даже о праве на ошибку.

Многие авторы, происходившие из «свергнутого» мира, но им воспитанные, став советскими писателями, духовной основы своей не изменили. Мне нравилась большая, «щедро» написанная книга В.Каверина «Два капитана», нравились многие произведения Аркадия Гайдара: «Судьба барабанщика», «Военная тайна», «Голубая чашка»... В них чётко и твёрдо Злу противопоставлялось — Добро. Положительные герои были великодушны и милосердны, они не хотели мстить и умели прощать.

Советская поэзия утомляла однообразием. Одно произведение Константина Симонова меня особенно раздражало, я не понимала, для чего поэт написал такие «барабанные» стихи:

Был у майора Деева
Товарищ, — майор Петров.
Дружили ещё с Гражданской,
Ещё с двадцатых годов.
Вместе рубали белых
Шашками на скаку.
Вместе потом служили
В артиллерийском полку.

А на вечере русской поэзии со сцены клуба я читала стихи Лермонтова, волнуясь от чудных слов до мурашек на спине:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит.

После вечера, посвящённого поэзии Пушкина, мы возвращались домой с «задушевной» подругой Ирой Граф. Был январь, очень много снега и потому почти светло. Высокое небо в холодных, острых, словно льдинки, звёздах, иней на ветвях...

— Как ты понимаешь слово «вертоград»? — спросила вдруг Ира — Обратила внимание на стихотворение «Вертоград сестры моей?»

Я не знала, что ответить, потому что Ирка была влюблена в мальчика из старшего класса по фамилии Вертоградов. Снег под ногами поскрипывал: вер-то-град, вер-то-град...

У Иры был врожденный вкус к хорошей литературе. На день рождения она подарила мне свою любимую книгу «Серебряные коньки» Мери Мейн Додж. Чудесную и добрейшую книгу середины XIX века о единственно возможном для человека выборе: жить в мире со всеми, любя и прощая ближнего своего.

БЛАГОДАТЬ

Не стоит город без святого,
Селение без праведника.
Пословица.

...Мама была директором школы рабочей молодёжи, сокращённо ШРМ.

После возвращения из эвакуации в Балашиху она долго не могла найти работу по своей учительской специальности и соглашалась на любые предложения. В самое трудное и голодное время заведовала детским садом, куда брала и нас с Инной. Завтраки и обеды там как-то получались, а вечером начиналась форменная мука: всем, и детям, и взрослым страшно хотелось есть, но есть было нечего.

Единственный персонал составляла старенькая тётя Саша. Ей мама отдавала три наших продуктовых карточки, тётя Саша приносила кой-какие продукты, из них и готовился на всех ужин.

— Вы ж своё отдаёте, — сокрушалась тётя Саша, — домой придёте — укусить нечего!

— Спать сразу ляжем, — отвечала мама, — а утром придём — чайку попьём все вместе.

Видеть детские голодные глаза было ей невыносимо.

Скоро садик закрылся, мама устроилась в Горком партии заведующей партийным кабинетом. Кончала она работу поздно, в одиннадцать вечера. Возвращаться домой надо было через лес. Времена были очень опасные, от страха мама всю дорогу читала вслух молитвы, по очереди «Отче наш» и «Богородица — дево, радуйся», прося, к тому же, Господа послать ей другую работу. И, наконец, ей предложили место учителя

истории и директора открывшейся школы для рабочей молодёжи, сокращённо — ШРМ.

Находилась она в здании «лунновской» богадельни и сразу стала называться «богоугодным» заведением. Так оно и было, потому что учились там взрослые люди: — рабочие фабрики, вернувшиеся с войны солдаты и офицеры, то есть те, кто не доучился в детстве и, скорее всего, сполна хлебнул лиха. И учителя, мамиными стараниями, были взяты соответствующие: — люди, которые по разным причинам советской стране, мягко говоря, в то время не нравились. В результате, получился очень сильный преподавательский состав.

Дина Натановна Тёмина преподавала русскую литературу, и ученики её обожали. Во-первых, она была красива: оливкового оттенка смуглое лицо и волнистые седые волосы, забранные в пучок. Во-вторых, она не ленилась пересказывать на уроках длинные произведения классиков: Гончарова, Тургенева, Толстого, зная, что дома читать работающим ученикам некогда. Делала это необыкновенно приподнято, торжественно, будто даря слушателям что-то своё личное и дорогое. За её плечами были годы, проведённые в советских лагерях, долгий и мучительный страх за детей, с которыми была разлучена насильно...

Петр Фомич Ракитский, — профессор сельскохозяйственной «ти-мирязевской» академии, занимался генетикой и был выгнан с кафедры в результате борьбы с «вейсманистами-морганистами», когда генетику в Советском Союзе объявили лженаукой. Многие талантливые учёные страны, биологи и ботаники, были тогда отправлены за решётку и в ГУЛАГ.

Маму вызвали «на ковёр» в отдел народного образования.

— Вы про Ракитского статью в газете читали? Это же враг! Вредитель!

— Так он же на уроках ничего вредного не говорит, — спокойно возразила мама. — Он всё только по программе... Я его занятия посещала. А предмет он хорошо знает.

Вероятно, мама показалась несколько наивной, и это успокоило начальство: если что, с неё же и спросят.

— Значит, Вы за него ручаетесь?

Мама пожала плечами.

— Ну, если нужно — ручаюсь.

Папины статьи по генетике и «муху-дрозофиллу», которую они выращивали в тридцатых годах, мама, разумеется, не забыла. Но эпоха мракобесия продолжалась, и теперь из-за маленькой мухи в огромной советской стране губили талантливых учёных, науку и прогресс.

Пётр Фомич запомнился мне классической профессорской внешностью и своим огромным бульдогом по кличке Маг. Пока шёл урок, Маг, выполняя приказ хозяина, спокойно лежал в учительской, наблюдая за происходящим и испытывая к себе со стороны всех преподавателей подобострастное внимание. Профессор Ракитский был человеком скромным и на такую «сенсацию» не претендовал.

Он проработал в ШРМ несколько лет, после 56-го года смог вернуться на работу в институт.

Ученики маминой школы были состоявшимися, а потому — интересными людьми. Трудно им было сочетать работу и школу, часто после ночной смены кто-то засыпал на уроке, и его бережно, уважительно будили. Многие из них уже обзавелись семьями, имели детей. Задремавший ученик, которого легонечко будили, на вопрос: «Ты с ночной смены?», иногда отвечал, улыбаясь: «Сынишка всю ночь куролесил...» Люди эти многое повидали, многое испытали, но нашли силы подняться над обстоя-

тельствами, то есть — учиться. Про что думали и что понимали про советскую жизнь, — молчали. Это открывалось лишь в редких случаях.

...Первый экзамен на аттестат зрелости всегда сочинение. Темы — разные, и одна обязательно свободная, можно писать, о чём хочешь. Десятый класс ШРМ в положенное время сдал свои работы, и экзаменационная комиссия, председателем которой всегда является директор школы, разделила их между собой. Так делось всегда, каждому преподавателю доставалось 10—12 работ, и можно было тщательно их проверить.

В маминой стопочке оказалось сочинение некоего молодого человека, помню имя — Николай, от прочтения которого мамы гладко зачёсанные волосы буквально встали дыбом. Он взял свободную тему и посвятил её товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Он называл его губителем и гонителем России, преступником, который, в конце концов, ответит за свои злодеяния, как и Гитлер. Написано было хорошо, умно, с фактами и цифрами, но... на дворе стоял 1952-й год. Если не высшая мера, то пожизненное заключение было обеспечено.

Мама рассказывала этот случай спустя многие годы, в шутливой, курьёзной манере. Тогда же я представляю, какое охватило её смятение. Во-первых, нельзя было ни с кем посоветоваться, нельзя было даже подать вида. Она только благодарила Бога, что именно к ней попала работа Николая.

Выносить из школы экзаменационные работы было запрещено, их убирали в сейф, который директор опечатывал, и ключ от сейфа хранил у себя. Все эти манипуляции мама спокойно проделала, и школа опустела, все разошлись по домам.

Руководитель в Советской стране обязательно должен был быть партийным. За идейное настроение подвластного ему коллектива он отвечал партбилетом и — головой. Партия учила бдительности, — страну

окружали «враги». Самые малейшие подозрения следовало немедленно сообщать «куда надо».

Мне в ту пору было двенадцать, Инне семнадцать лет. Отца у нас не было, мама работала одна, и страшно подумать, на какой риск она пошла. Но, может быть, она и не тратила время на раздумья. Мальчика надо было спасать. Было известно, что Николай живёт с матерью, тихой, забитой работницей фабрики. Она последнее время часто болела, потому-то он и вынужден был пойти работать и доучивался в вечерней школе.

В час ночи мама проникла в пустую школу, открыла сейф, достала сочинение Николая и чистые, проштампованные тетрадные листы. В маленьком городке все знали, кто и где живёт. Представляю, как изумились Николай и его мать, увидев перед собой ночью директора школы, уважаемую в городе Клавдию Фёдоровну...

Николай оказался человеком твёрдым, и переписывать сочинение отказался наотрез. Он мечтал любой ценой быть услышанным, а потом — пусть делают, что хотят: сажают, расстреливают! Сталин виноват в уничтожении не тысяч, — миллионов, кто-то должен сказать это вслух, так пусть это будет он.

Забыла теперь, кто встал перед юношей на колени, только его мама или и моя тоже. Скорее всего, обе они, плача, умоляли его не губить свою жизнь и пожалеть их. В конце концов — уломали. За остаток ночи Николай написал новое, стандартного содержания сочинение. На рассвете мама положила его в сейф. Вернувшись, сожгла дома уникальный, должно быть, документ того времени.

Через год Сталин умер, Николай окончил институт, стал инженером. Для молодого человека этот эпизод, конечно, не значил так много, как для моей мамы. Она никогда не ночь, когда невинных людей, обречён-

ных на гибель, набили в церковь забывала страшный отчаянный крик под куполом церкви...

... Повествование моё движется неровно, иногда забегая вперёд, иногда — останавливаясь. Это и понятно, ведь оно следует за непредсказуемым, вольным ходом памяти. Вот и теперь, среди детских моих воспоминаний, всплыло вдруг чудное, невесомое и всеобъемлющее русское слово «Благодать», и на нём я задержусь немного.

Оно кажется мне таинственным. С одной стороны, оно обозначает, что человек отдаёт: Благо-дать. Но, в то же время, оказывается, что, напротив, — он получает:

«Благодать Божья да будет со всеми вами...»

А вот эту запись я нашла у себя в бумагах недавно.

«Сегодня Вознесение, 8-е июня 2000 года. Семнадцать лет, как умер дядя Боря, мамин брат. Последний раз мы увиделись за неделю до его смерти. Я пришла навестить его, купила пастилу и новую рубашку, помню — индийскую...

Умирал он дома. Лежал на спине, худое сосредоточенное лицо, выпуклый шишковатый лоб мыслителя.

— Давай поговорим», — предложила я.

Он неотрывно смотрел на густую зелень за окном:

— Молчать — лучше...

Потом заволновался:

— Давай собираться, пойдём...

— Куда? Ты ведь дома.

Он беспокойно искал что-то возле себя, перебирал руками одеяло.

— Нет, нет. Пора идти. Пора...

...Помню, как любил он всё, сделанное из железа, любовью природного, очарованного ремеслом мастера.

— Гвоздь на дороге увижу ржавый, — подниму. Не могу, чтоб валялся...

Сам смастерил и приладил к старенькому велосипеду моторчик, ездил из Москвы к нам в Балашиху, привлекая внимание прохожих... Вечный покой тебе, Ляпичев Борис Фёдорович, как и моя мама, страстно увлечённый земной жизнью человек.

...Дочка дяди Бори, Наташа, позвонила мне сегодня утром, прочла своё, только что написанное стихотворении:

Не всем даётся Благодать,
Не всем она даётся.
Сначала надо всё отдать,
Потом она прольётся...

ПАПА

Гляжу в грядущее с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской.
М. Лермонтов

... Папа ушёл на фронт почти сразу. Вот они сидели воскресным днём на полянке, папа читал Лермонтова. Было лето, солнце, пахло речной водой, и летали большие стрекозы. А через неделю он сказал маме: «Не ходи на станцию провожать. Мне будет тяжело». И мама осталась. Она смотрела из окна нашего дома, как папа уходит.

Может быть папа мог задержаться, ему было под сорок, его ещё не вызывали для мобилизации. Все надеялись, что война продлится от силы два-три месяца. Папа мог задержаться, чтобы увидеть меня, рождённую

через два месяца. Мог успеть взять меня на руки, обрадоваться. Потом я могла бы говорить, что я помню своего папу, его руки...

Но он не стал дожидаться моего рождения. Они простились в нашей комнате, папа пошёл вниз по лестнице, а мама подошла к окну. И — смотрела. Вот он вышел ладный, в военной летней форме, в парусиновых сапогах. Вот он свернул за угол, а тень его ещё была видна, вытягивалась по земле, словно цеплялась, словно мамины глаза задерживали, не отпускали его...

Моя жизнь началась и продолжалась без него. Только мамины рассказы, её восхищение и преклонение. Только фотография в рамке на роле. И ещё — письма. Он писал их маме, когда призывался на военные сборы, на боевые действия в Монголию в 1939 году. Чаще всего писал карандашом, наскоро, но всегда аккуратным почерком, и — любящим сердцем.

31 июля 1939

Дорогая Клавоочка!

Каждый день, пользуясь остановками, посылаю тебе письма, но т.к. поезд идёт всё дальше и дальше на восток, то письма ты будешь получать с всё большим и большим опозданием.

Сейчас утро. Проезжаем Уральские горы. Красота природы — непередаваемая. Кажется, Крым и Кавказ не могут произвести такого впечатления. Древние горы, покрытые лесом, реки, озёра, посёлки, заводы.

Постепенно уладил все срочные дела, стало несколько свободнее. Несколько отраднее стало и на душе, лишь не утихает тревога за вас. Кажется, всё отдал бы за весточку от вас.

Береги себя и дочурочку.

Крепко, крепко целую вас, мои дорогие. Будьте здоровы.

Р.

4 августа 1939 г.

Милая, дорогая моя!

Сегодня только поздно вечером нашёл возможность освободиться от всяких дел и написать тебе. Уже 10 суток в пути. Проехали Омск, Новосибирск, приближаемся к Красноярску. Впереди ещё 6–7 суток пути. Привычка взяла своё, и сейчас не чувствую утомления от беспрестанной тряски и шума. Много обязанностей и большая ответственность. Я остался командиром батареи — должность одна из самых трудных и ответственных в армии. К слову сказать, меня несколько раз отмечали, как одного из самых исполнительных и умелых. С политруком и партийной организацией отношения сложились, несмотря на то, что политрук попался очень ретивый и несдержанный. По-прежнему помещаюсь в одном вагоне (товарном) со своими красноармейцами и неудобств от этого не испытываю. Все стараются устроить меня лучше и во всём услужить, хотя и приходится в отношении всех своих подчинённых быть строгим и требовательным.

Самое неприятное в дороге — пыль. Она заносит всё, ложится на постель, одежду, лицо. Умываться удаётся редко, не всегда можно достать воду. Вчера в Новосибирске была длительная остановка, удалось сменить бельё и вымыться под душем.

Все невзгоды и трудности я переношу, но ни на минуту не оставляет тоска по вас — тебе и дочурочке. Особенно сильно чувствую, насколько крепко мы сроднились с тобой и привязались друг к другу, моя родная... Трудно и потому, что знаю — ты томишься, грустишь и беспокоишься обо мне. Крепись, дорогая, старайся отвлекаться в уходе за Инночкой, береги её, нашу крошку, береги и себя. Вернусь, и мы снова будем вместе, и больше и сильнее будем любить, и ценить друг друга. Крепко, крепко целую тебя и дочурочку.

Р.

29 августа 1939 г.

Моя дорогая, любимая!

Сейчас я нашёл немного времени и перечитал все твои письма, которые я храню, как частичку тебя. Трудно передать, сколько отрадного, радостного и светлого влили в меня твои прежние письма. Остро почувствовал, как сильно мы близки и привязаны друг к другу и как много тревоги и заботы отдаёшь ты мне.

Позавчера отправил тебе телеграмму и открытку. Завтра утром я рассчитываю найти полчаса, чтобы пойти на почту и получить ответную телеграмму, а затем получить от тебя письмо.

Всё, что произошло за последний месяц трудно описать. Мобилизация, спешное формирование... Огромной тяжестью легла ответственность за батарею. 17-дневная дорога в товарном вагоне, разгрузка и, наконец, устройство на новом месте. Это место — один из узловых пунктов, из которого направляют в Монголию. Среди размещённых здесь частей многие уже были там, участвовали в боях, есть немало раненых. Вновь прибывающие части проходят краткую подготовку, прежде чем быть направленными туда. Батарее, которой я командую, дан срок — 1 сентября, но я уверен, что до 10–15 сентября буду ещё здесь. Установлена очередь отправки, и я попал в 1-ю. Ко всему, что уже вполне определилось и что может быть дальше, у меня сложилось какое-то безразличное отношение. Очевидно, всё пережитое притушило остроту этих впечатлений. В условиях боя предотвратить роковое нельзя и нужно быть готовым ко всему.

Только одно мне дорого, и с этим мне тяжело было бы уйти в землю — это ты и дочурка. Прости, родная, что написал я тебе прямо о действительном положении вещей, я не хотел писать об этом, зная, что всё это ты трудно переживаешь. Лучше надеяться на благополучный исход и жить с мыслью, что мы будем вместе снова, может быть, вскоре.

Живу вместе со своими командирами в палатке. Кругом — дикие горы, покрытые редким лесом, сыпучий пыльный песок, холод ночью и зной днём.

Адрес пиши так: Бурят-Монгольская АССР, ст. Дивизионная Вост. Сибр. Жел. Дор., абонемент 40, — мне.

20 сентября 1939 г.

Дорогая Клавочка!

Вчера получил твоё письмо, посланное 10 сентября. Это письмо, как и другие твои письма, наполнено любовью и заботой обо мне, от строк веет твоя хорошая душа. Я очень благодарен тебе за всё это, моя родная. Постоянно чувствую не только благодарность, но — большее: всё сильнее люблю тебя.

Тревожит, что не устроилось дело с няней и это создало тебе много трудностей. Тягостно и то, что тебе не легко сейчас работать в школе, затрудняет дисциплина в 5-х классах и подготовка к урокам. Досадно, что я сейчас бессилен помочь тебе, а именно теперь моя помощь была бы наиболее нужной.

Всякое начало трудно, и не удручайся, всё постепенно войдёт в колею. Больше всего следи за тем, чтобы не нервничать и сохранять спокойствие. Меньше обращай внимания на шум и нарушения, это обычно для 5-ых классов. По истории и другим предметам дисциплина на уроках слабее потому, что на уроках русского языка или математики ученики пишут. Это поглощает их внимание полностью и делает их спокойными. Один из способов сделать ребят более внимательными и спокойными — проверять усвоение как можно чаще. Спрашивать их, требовать хорошего ответа, вызывать других для дополнений и поправок.

Очень радует меня, что дочурочка хорошо развивается, всё лучше говорит и особенно то, что уже сейчас она проявляет чуткость к душевным переживаниям и старается утешить тебя. Резвость, шалости, игра — всё это хорошо, ребёнок и должен быть ребёнком, а не взрослым.

Хорошо, что Инночка не капризничает и слушается тебя. Воспитание в этом возрасте особенно ответственно. Один неверный шаг может надолго вывихнуть или даже искалечить ребёнка морально. Никогда во всей дальнейшей жизни не воспринимаются так глубоко всякие впечатления и воздействия, как в этом возрасте. Пусть наша Инночка уже с этих пор воспримет лучшие нравственные черты.

...Наше положение сейчас здесь самое неопределённое. Военные действия в Монголии после разгрома одной из японских армий прекратились. Идут переговоры о прекращении вообще всяких боевых операций. Началась частичная эвакуация войск из Монголии и нам делать здесь нечего.

Другое обстоятельство то, что у нас здесь масса лошадей, мобилизованных и вывезенных нами из Орловской области. Лошадей около двух тысяч, и они очень трудно переносят суровый климат Монголии, нам надо их разместить. Думаю, нас не долго задержат здесь, вероятно, отправят назад. Слухов об этом становится всё больше. Может быть, действительно мы скоро будем вместе...

Здесь уже начались холода, 12-го сентября выпал снег и не всюду ста-ял. Зима здесь нередко устанавливается в конце сентября. Но ещё не так холодно, хотя приходится всё время ходить в шинели. Если задержат до зимы, так должны нам выдать тёплое зимнее обмундирование — морозы здесь доходят до 50 градусов. Живу сейчас в общежитии командиров. Тесно, неудобно, холодно, но со всем этим я уже свыкся. Плохо было, когда жил в палатке, приходилось терпеть и от холода и от дождя.

Позабыл тебе сообщить ещё одно важное обстоятельство. С 18-го сентября я назначен командиром дивизиона, это представляет значительное повышение. Дивизион же состоит из трёх батарей. Ответственности стало больше, больше и работы, но уже другого характера. Работать теперь приходится со средними командирами и меньше работы с красноармейцами.

...Из внимания ко мне командир полка позволил взять с собой и ту лошадь, которая была у меня в прежней батарее. Нужно заметить, что ещё в Орле я подобрал себе, (при мобилизации лошадей), прекрасную лошадь — молодую, красивую по сложению, с хорошими боевыми качествами. На эту лошадь претендовали потом многие старшие командиры, но отобрать после закрепления не могли. На командирских занятиях по верховой езде я со своей лошастью по всем видам конного дела всегда оказывался впереди. В этом, пожалуй, сказалась та подготовка, которую я получил ещё раньше, во время отбывания сборов в Калуге.

Не беспокойся за меня, моя дорогая. Несмотря на всякие лишения и плохую погоду я чувствую себя неплохо. Вчера, 19-го, пришлось идти на демонстрацию в г. Улан-Удэ, все шли пешком, так как на демонстрацию в конном строю ходить не положено. Улан-Удэ от нас — 9 километров и 18 километров я прошёл легко, хотя идти было трудно. Земля здесь — голый песок и местность гористая. На полевых учениях часто лошади (6 лошадей) не вывозят орудия, приходится припрягать ещё и, кроме того, помогать красноармейцам.

С питанием положение не улучшилось. Красноармейского пайка нас лишили, оказалось, что теперь, получая деньги, мы не имеем права на него. Организована столовая для командиров, но в ней всё дорого и очень долго приходится ждать. Иногда кое-что удаётся купить в ларьке.

Письмо получилось длинное-предлинное. Редко удаётся вырваться часа на два, чтобы пойти на почту. Сегодня выкроил время и уже два часа пишу тебе письмо, и не хочется отрываться. Пиши как можно чаще и подробнее обо всём. Твои письма для меня — всё радостное и светлое здесь. Я перечитываю их десятки раз и каждый день смотрю на фотокарточки твою и дочурки. Крепись, не падай духом, надейся на лучшее.

Твой Р.

4 ноября 1939 года.

Милая, любимая моя!

Очень рад, что у тебя всё более и более налаживается работа в школе. В тебе есть умение ориентироваться в каждом деле, есть и какой-то особый, свойственный тебе такт в подходе к людям. Это я наблюдал ещё, когда ты работала в ФЗУ.

...Теперь о себе. Завтра уже грузятся и отходят первые эшелоны в Нижнеудинск. Я назначен в последний эшелон и выеду предположительно 8-го ноября. Подтверждается, что нас, (командиров запаса), должны демобилизовать до конца месяца, и надежда скорого возвращения к вам становится реальной. Это обстоятельство настолько радует, что даже сказать трудно.

В последнее время в полку установилась атмосфера неопределённости и временности, всё как-то делалось наполовину и без цели. Теперь же ясно, что впереди переезд и затем демобилизация запаса, (хотя демобилизацию упорно замалчивают).

Не беспокойся, моя дорогая, обо мне. С питанием дело несколько улучшилось: в комсоставскую столовую не хожу, а иногда достаю хлеб, колбасу и преимущественно этим питаюсь. После холодов установилась сравнительно тёплая и ясная погода, это несколько скрашивает общий

унылый колорит. Иногда даже окружающая природа кажется красивой, и я несколько раз за последние дни уходил в горы наблюдать закат.

...К числу дел прибавилось ещё два. Уже несколько раз меня (беспартийного) назначали в комиссию по расследованию и дознанию особенных, называемых в армии «чрезвычайных», происшествий. Особенно удивило меня, что эти дела поручает мне уполномоченный особого отдела НКВД!.. Кроме того, веду занятия по артиллерии с одной группой средних командиров.

Но всему этому скоро, должно быть, будет конец, и я буду с тобой и Инночкой.

Обнимаю тебя и крепко целую, моя дорогая, любимая.

Твой Р.

22 ноября 1939 г.

Моя милая, родная Клавочка!

Уже вполне выяснилось, что я попал в первую очередь демобилизованных, и отправление назначено на 28 ноября. Об этом уже есть приказ, и сомнений нет. Трудно передать тебе моё радостное состояние. Уже скоро я буду с вами, будем снова вместе жить одними мыслями, скоро пройдёт это тягостное ощущение одиночества среди множества людей.

Осталось немного дней прожить здесь в Нижнеудинске, а затем — длительное путешествие. Так как сразу будет демобилизовано много младших командиров, нас отправят эшелонами. Это значит, что придётся ехать в товарном вагоне-теплушке, где и холодно и грязно. В лучшем случае будет один пассажирский вагон, обычно старый, с нарами и чугунными печками, в котором немного лучше, чем в товарной теплушке. Эшелон идёт медленно, подолгу стоит на всех станциях, особенно там, где получают пищу. До Орла придётся ехать суток 15, помёрзнуть при-

дётся крепко — морозы здесь сейчас доходят до 40, на улице трудно дышать, но можно надеяться, что несколько потеплеет. Но все эти неудобства скрашиваются тем, что буду ехать к вам, а для этого можно поступиться многим.

Новое суконное обмундирование будет взято обратно, оставляют в старом, летнем. Это также не особенно важно, хотя, конечно, хотелось бы оставить у себя прекрасный военный костюм. От холода будет спасать свитер и тёплые носки, которые ты прислала мне, за что я тебе бесконечно благодарен. Питание в дороге нам будет выдаваться, как и красноармейцам, кое-что можно покупать на станциях. Денег у меня немного есть, я их расходую очень экономно. Кстати, здесь почти отвык курить, так как папирос и табака нет совсем, а присланный тобой запас уже иссяк.

С дороги я буду посылать тебе открытки, (нет конвертов), а когда можно будет рассчитать день приезда в Москву — вышлю телеграмму. Мысленно представляю себе нашу встречу и нашу дальнейшую жизнь. Грезятся часы, когда мы будем вместе ухаживать за нашей малюткой, забавлять её... Когда мы вместе будем работать, читать, бродить в вечерние часы по парку, как это часто делали раньше. Жить одними мыслями и чувствами. Всё пережитое сделало нашу любовь друг к другу сильнее и лучше. Кажется, многое раньше таилось и не выливалось наружу, а теперь, в долгие дни разлуки, всколыхнулось и сделало нас более близкими.

Никто из многих наших командиров не получил столько писем, сколько получил я. И я уверен, не зная, конечно, писем других, что только ты можешь быть такой доброй, заботливой и чуткой, только ты можешь так сильно любить, моя милая Клавочка. Хочется скорей увидеть вас, обнять, целовать и забыть все невзгоды и тяготы!

Будьте здоровы, мои дорогие, скоро будем вместе.

Твой Р.

...Мои родители были в то время молоды, папе — 36, а маме 27 лет. Им казалось, что эта разлука будет последней, останется в памяти достойно перенесённым испытанием, и — «скоро будем вместе!».

Папа вернулся, и Новый, 1940 год, они встречали своей маленькой семьёй, счастливые, что всё трудное позади. Им оставалось ровно полтора года до того солнечного июньского дня, когда папе не пришлось дочитать поэму Лермонтова.

Через полтора года, 22 июня 1941 года, Германия напала на Советский Союз и папа, как и все, ушёл защищать Родину.

И вот я перехожу к трудному для меня повествованию.

ВОЛХОВСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови ты на помощь людей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
И не плачь ты от страха, как маленький,
Ты не ранен, ты только убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне еще воевать предстоит.

В. Гроссман

...В Балашиху отец приехал по назначению, работать в школе. Завуч и учитель биологии. Комнату в доме Лунна он получил потом, а вначале временно поселился на квартире у Картошкина Анисима Петровича. Жену его я помню. Старая и больная, с отёкшим лицом, она сидела обычно на стуле возле своих ворот и всегда останавливала маму вопросом:

- Не нашёлся, Фёдоровна?
- Нет... Без вести пропал.
- Хорошие-то и Богу нужны. Ты терпи.
- Терплю... Детей надо вырастить...

...В начале 1942 года от папы пришло последнее письмо. Оно было отправлено со станции Дно, что под Новгородом. Он писал, что повышен в звании, теперь он капитан, и что командует артиллерийским расчётом. Части их выходят к реке Волхов и скоро, должно быть, будут видны купола Новгорода Великого. Что он является свидетелем необыкновенного патриотизма советских солдат, их ненависти к фашистам и желанию во что бы то ни стало прорвать блокаду Ленинграда. Папа воевал на Волховском фронте, во 2-й Ударной армии.

Я не хочу пересказывать прочитанное о Любанской операции, о трагедии под деревней

Мясной Бор, это невозможно, прежде всего, потому, что у меня не найдётся для этого слов. Есть только слёзы и мучительное, жгущее сердце горе. Да и материалов об этом довольно мало, тема почти закрыта, вспоминают эту «негероическую» страницу войны крайне неохотно.

Я предоставляю слово историкам и свидетелям, которые пытались и пытаются быть услышанными, рассказывая правду о том, КАК это было...

«...Каждый, кто пытается разобраться в том, что обозначается расплывчатым словосочетанием «Любанская операция», сталкивается с нагромождением противоречий и лжи в отечественной литературе. Немецкие авторы также достаточно сдержанно вспоминают о «Волховском котле». Их можно понять: слишком далеко от Германии и задолго до конца

войны происходили события, разыгравшиеся в заболоченных лесах между Новгородом и Любанью.

К концу 1941 года голод в блокированном Ленинграде принял катастрофические размеры. Уязвимая для артиллерии и авиации противника «дорога жизни», ледовая трасса через

Ладожское озеро, не могла спасти от гибели сотни тысяч ленинградцев. Тогда ставкой Верховного командования и лично Сталиным был разработан план «Любанской операцией». Основная роль в операции отводилась Волховскому фронту. Он был создан 17 декабря 1941 года за счёт сил 4-й, 52-й, 59-й и 2-й Ударной армий.

Противник имел значительное превосходство в танках и авиации, располагал хорошо укрепленной обороной. А главным недостатком плана Любанской операции были его неподготовленность и авантюризм.

В осуществление этого плана в начале января 1942 года по всему Волховскому фронту развернулись ожесточённые бои, 4-я и 52-я армии перешли в наступление, не дожидаясь подхода 59-й и 2-й Ударной. Те в это время находились в эшелонах, застрявших в снежных заносах. В результате наступление через три дня захлебнулось.

Бои шли в лесисто-болотистой местности, в условиях бездорожья, по глубокому снегу.

В войсках катастрофически не хватало тёплой одежды, продовольствия, фуража. На одного солдата полагался сухой паёк: 1 кг сухарей, банка тушёнки, всё это запивалось талым снегом. Противник оказывал упорное сопротивление. Лишь к 17 января подключившаяся 2-я Ударная армия прорвала первый оборонительный рубеж противника.

В это самое время командующим 2-й Ударной армией был уже назначен генерал Андрей Андреевич Власов. У него была репутация военачальника, способного спасти любое зашедшее в тупик положение. Ещё

до войны А.А. Власов стал дважды орденосцем, имел репутацию умного и талантливоего полководца. Он вывел войска из окружения под Киевом, отличился как командующий 20-й армией в битве за Москву. 28-го января 1942 года Власову присвоили звание генерал-лейтенанта, а затем он был вызван в Кремль к Сталину.

— Скажите, Власов, почему наша армия так плохо воюет? — спросил Сталин. — Я Вас пошлю на Северо-Западный фронт. Наведите там порядок.

К концу января соединения 2-й Ударной армии с трудом прорвали следующую линию обороны противника в районе деревни Мясной Бор. К середине марта 1942 г. войска 2-й

Ударной продвинулись вглубь обороны противника на 60—70 км. Всего 15 км отделяли передовые части этой армии от соединения с 54-й, то есть — от выполнения задуманного плана, но большего измотанным войскам достичь не удалось. Действия на различных участках Волховского фронта не были согласованы и 19 марта, сосредоточив на флангах 2-й Ударной армии свежие силы, немцы отрезали её от остальных сил фронта.

Генерал Власов предложил начать отступление, учитывая наступившую весну и болотистую местность. Сталин не согласился. 21 марта Власов прибыл в район окружения и увидел своими глазами всю безвыходность положения. Он восстановил связь с фронтом и по телефону настоятельно просил согласия на отступление истощённой и обессиленной 2-й Ударной армии. Сталин не захотел слушать и снова приказал наступать.

Под командованием генерала Власова предпринимались попытки прорвать кольцо окружения. Ценой больших потерь удалось пробить коридор шириной не более 2-х километров. Ещё была возможность спасти людей, отвести армию на исходные рубежи и предотвратить окружение.

24 апреля командующий Волховским фронтом Мерецков вынужден был указать Ставке Верховного Главнокомандующего на положение погибающей в болотах армии:

— 2-я Ударная армия совершенно выдохлась, в имеющемся составе она не может ни наступать, ни обороняться... Если ничего не предпринять, — катастрофа неминуема.

Но Сталин по-прежнему требовал только одного — победы под Ленинградом любой ценой.

Приказ его был: «Людей не жалеть!»

В кольце у Мясного Бора оказались зажатыми более 100 тысяч человек.

Гитлеровцы во что бы то ни стало, стремились уничтожить окружённые войска. Бои не прекращались ни днём, ни ночью. Наступила весна, вода заливала блиндажи. Не хватало продовольствия, медикаментов, фуража. Чтобы как-то поддержать свои силы, бойцы варили кожаные подшумки, конскую сбрую, ремни, берёзовые почки и кору. В медсанбате скопилось большое количество раненых и больных. В начале мая в районе посёлка Мясной Бор удалось пробить коридор шириной 300–400 метров. В первую очередь эвакуировали находящихся в медсанбате людей, но через два дня коридор был немцами перекрыт.

21 мая 1942 года А.А. Власов вновь связывается с Москвой и, обругав погибающую армию, Сталин, наконец, даёт разрешение на прекращение военных действий и на отход войск. Но было уже слишком поздно...

Командующему 2-й Ударной генералу А. А. Власову было приказано покинуть армию при помощи самолёта У-2, но Власов отклонил это предложение:

— Я остаюсь при армии.

Военный совет армии принял решение в ночь с 24 на 25 июня прорываться всеми оставшимися силами. Люди понимали, на что они идут.

Были уничтожены или утоплены в болоте остатки тяжёлого вооружения, средства связи и документы. В последний раз вышла армейская газета...

...Попавший в плен под Мясным Бором генерал-майор И. Антюфеев вспоминал:

«Войска 2-й Ударной, зажаты в тиски на небольшом клочке территории, подверглись уничтожающему огню буквально из всех видов оружия и со всех сторон. В течение многих часов 24 июня территория в районе Мясного Бора представляла собой огнедышащий кратер. Командованием фронта было обещано поддержать прорыв танками, на это надеялись. Но по какой-то причине этого сделано не было.

Видя явную неудачу, Военный совет отдал распоряжение: выходить мелкими группами самостоятельно, кто как сможет, и двигаться в сторону Старой Руссы.

В те страшные часы немецкие пулемётчики устроили настоящую бойню. Сидя по краям узкого «коридора», они просто расстреливали наших солдат тысячами. Когда из трупов образовывался «холм», пулемётчики забирались на него и стреляли уже оттуда. Спасти удалось немногим».

Из 120 тысяч человек первоначальной армии к своим вышли только 13 тысяч, 32 756 человек попали в плен. Остальные — погибли. Штаб 2-й Ударной армии также был рассеян, генерал Власов 12 июля был взят в плен в деревне Пятница.

...С тех пор судьба 2-й Ударной армии для советского руководства была ненужным, компрометирующим и кошмарным воспоминанием. Отношение к ней выражалось в замалчивании, искажении фактов и политических спекуляциях по поводу дальнейшей судьбы в плену генерала А. А. Власова. Всем бойцам, героически погибшим в Мясном Бору, дали позорное наименование — предатели, «власовцы». Их не вспомина-

ли в торжественные дни Победы, и не вспоминают до сих пор. Гибель 2-й Ударной была целиком на совести Сталина, но до сих пор жив советского изготовления миф о том, что Сталин выиграл войну.

А в волховских лесах по-прежнему гниют кости десятков тысяч бессмысленно погибших доблестных защитников страны, от которых она отеклась...»

...Я пытаюсь представить, как мой папа прожил эти часы перед прорывом. Надежды выжить не было никакой, опытный военный, он хорошо понимал, что предстоит. О чём он думал, какие испытывал чувства?

За последние полгода здесь, на Волховском фронте, он стал свидетелем бессмысленного уничтожения целой армии, тысяч людей. Он делал то, что мог в данной ситуации. К этому обязывало не только звание капитана, полученное недавно, но и вся его прежняя жизнь: история рода, дом деда, военная специальность его отца, Кадетский корпус, где он учился до 17-го года. Его готовили в офицеры, но совсем для другой армии. Там он должен был дать присягу, что будет честно защищать Русскую Православную веру, Царя и Отечество. Как его предки, как отец, кадровый офицер русской армии, как моряк дядя Нестор ...

Но прежней жизни наступил конец, а жить надо было продолжать. Терпеть и молчать, ибо «плетью обуха не перешибёшь».

Коллективизация, голод, бесконечные суды над врагами народа, — большевики залили страну кровью. Он старался быть вне политики и делать своё дело: быть хорошим учителем и отцом. В этом качестве он чувствовал себя нужным подрастающему поколению. Началась война — он не ждал вызова в военкомат, он пришёл сам. Ещё в 39-м, на военных сбо-

рах в Монголии, он догадывался, что идёт подготовка к войне и что, скорее всего, начнёт эту войну Советский Союз. И не удивлялся дружбе Сталина и Гитлера, двух опасных и коварных диктаторов. В результате один преступник опередил другого, но Россию надо было защищать, несмотря ни на что.

Он знал, что 2-я Ударная армия будет погублена окончательно, во всяком случае, из окружения выйдут единицы...

Среди подчинённых ему солдат много молодых, они надеются на своего командира, у которого опыт и седые виски. Что он может им сказать в этот, скорее всего, последний день жизни многих из них? Как объяснить роковое происшедшее? Рассказать ли о том, что буквально накануне войны в армии были уничтожены почти все лучшие командиры? Но солдаты и так понимают, что причина создавшегося положения — непродуманность, несогласованность решений, бестолковые приказы политруков, многие из которых уже перебежали к немцам.

...Было много дел. Бойцы его расчёта должны были разобрать и утопить в болоте орудия. Но предварительно они расстреляли снаряды в цель, которую их командир удачно рассчитал. Все держались из последних сил, а сил больше не было.

Он старался ободрить солдат, предвидеть возможные ситуации решающей ночи. Но про то, что нельзя сдаваться в плен напоминать не стал. Было понятно, что от жалких остатков 2-й Ударной Верховное командование уже отвернулось, они все и так уже считаются изменниками, именно на них, на командующего Власова спишут потом неудачу на Волховском фронте.

...Всё же, думаю, он успел подумать и о самом дорогом, — о семье. Представить себе жену, пятилетнюю Инночку и ещё незнакомую пока, новую девочку (что второй ребёнок — дочка папе сообщить успели).

Прошёл ровно год с того момента, как, сидя на лужайке перед домом, читали они Лермонтова. И вот — снова пришёл июнь, скорее всего — последний в его жизни...

Тёплым летним закатом кончился день 24 июня 1942 года. Впереди была ночь прорыва...

ЕЩЁ НЕМНОГО ДЕТСТВА

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои...
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?..

А. Фатьянов

В Москву, к бабушке, мы ездили электричкой. Но я любила длинный и разнообразный путь возвращения на Балашиху. До Курского вокзала надо было долго ехать на «Аннушке», так называли трамвай маршрута «А». Удовольствием было сесть у окна и рассматривать неспешно проплывающий мимо город. Сначала с Пятницкой — к центру, по улице Разина, с левой стороны оставался ансамбль Кремля, с правой — Зарядье. Потом через площадь Ногина, по Солянке, дальше к Политехническому музею, мимо памятника Героям Плевны... Может быть, я не точно помню маршрут трамвая, но в памяти сейчас проплывают именно эти картины, линии домов, церкви, особый колорит и неповторимое очарование Москвы.

Из окна электрички особой красоты я не видела, только церковь с высокой колокольней на станции Москва-Товарная, серая, лишённая каких-либо оттенков, она казалась нарисованной простым карандашом и

очень печальной. Мне всегда было жаль её, церкви в Замоскворечье смотрелись гораздо веселее.

В электричке я то и дело отвлекалась от видов за окном, — по узкому проходу, почти один за другим, шли, прося подаяния, грязные, нетрезвые люди. Несчастные слепые, хромые, одноногие на костылях, безногие, привязанные ремнями к тележкам. Чаще всего они пели замученными голосами знакомые красивые песни.

Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Всё это были солдаты, победившие в войне с немецко-фашистской Германией. Те, про кого так красиво выкрикивалось на парадах и демонстрациях, о ком слагали стихи известные поэты. Самые высокие и гордые слова были посвящены им:

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло...

Они возвращались домой, к жёнам, детям, матерям и невестам. Но многие из них утратили способность жить вне войны, а выдаваемая на фронте водка приучила их к ежедневному алкоголю. И всё же на фронте была надежда на лучшую, справедливую жизнь после войны, но их ожидали бесправие, нищета и безнадёжность.

...А папа наш не вернулся. Никто из родных не упоминал его как неживого, этого избегали, говорили всегда: «Пропал без вести».

В 1946 году многие солдаты вернулись из Германии. Жены и дети ходили гордые и счастливые. Помню, соседская девочка вышла гулять с прекрасной куклой, которую ей привёз её папа. Я просто замерла от

восторга. «Она — немецкая», — пояснила девочка. Я могла стоять и смотреть на это чудо бесконечно, но подошла мама и увела меня.

Я запомнила этот случай с куклой, потому что скоро мы уехали из нашего милого дома у реки, маме было грустно там жить без папы. Переезжая в другой дом, мы взяли щенка у соседей Бутовых, их беленькая Джимка родила толстых чёрных детей. Мы назвали щеночка Жучок и ещё, за толщину, — Бегемотик. Он прожил у нас тринадцать лет, и с тех пор у нас всегда были в доме собаки...

ЖИЗНЬ ВОКРУГ

Я смотрю, а дом горит
И народ кругом стоит.
Это что же за пожар?
Видно зря сюда бежал...

Шуточная народная песня

...В 1953 году случилось невероятное событие — умер Сталин! В 24-м, правда, умер Ленин, но остался «живее всех живых». Его не похоронили, он лежал в мавзолее, и его в любое время можно было увидеть. И, вообще, он существовал больше как «дедушка Ленин», отличавшийся особой, прямо-таки исключительной, любовью к детям.

Когда был Ленин маленький,
С кудрявой головой,
Он тоже бегал в валенках
По горке ледяной.
Камень на камень,
Кирпич на кирпич,

Умер наш Ленин,
Владимир Ильич...

А Сталин был далёким от детского мира, грозным богом взрослых. Его портреты с маленькой узбечкой Мамлакат на руках ничего в его облике не меняли: «Ну да, она прижалась к нему, смеётся. И он улыбается в усы... Но как это ей не страшно быть так близко?»

И вот, оказалось, что мартовским днём, 5-го числа, он умер. Было недоумение, необходимость горя и слёз, а, в общем, — полная растерянность. Надо было угадать и не ошибиться, как жить дальше. Казалось, что никто не верит в его смерть. Воспринимают её, как некую очередную проверку на бдительность. Вот-вот объявят, что это для выявления тайных врагов и злодейских заговоров. Я училась в четвёртом классе, и меня, как отличницу, поставили у портрета Сталина с чёрной повязкой на рукаве. Нужно было держать пионерский салют, я старалась, я боялась пошевелиться...

Но он всё-таки действительно умер, и были похороны. Сталин лежал в Доме союзов, тысячи людей давились насмерть, стараясь увидеть вождя в гробу. Это казалось массовым сумасшествием, а не горем. Почему многие ценой жизни хотели убедиться, что он мёртв?

...С детства привычен был двойной профиль Ленин — Сталин. Ленин — трогательно лыс, Сталин — грозно волосат. Это был обязательный атрибут жизни. И вдруг в 1956 году выяснилось, что этот волосатый не случайно походил на разбойника, он им был в действительности. Разоблачил его Никита Сергеевич Хрущёв, русский человек безо всяких усов и говорящий без акцента. Он подарил народу новое ругательное словосочетание: «культ личности». Профиль Сталина убрали, но и Хрущёва рядом с Лениным не спешили нарисовать. Вызывало, вероятно, сомнение: хорошо ли будут смотреться два лысых профиля рядом.

Впрочем, это был человек кипуче-деятельный, смелый и щедрый. Жизнь разнообразилась день ото дня. Когда было покончено с «культуром личности» Сталина, Никита Сергеевич так же горячо принялся за уничтожение приусадебных хозяйств. Во всяком случае, именно так истолковали в народе закон о налогообложении. Повсюду местные власти кинулись исполнять непонятно, — что, но — «кто во что горазд». Мимо нашего дома, в результате, перестало утром и вечером проходить стадо коров, тётя Нюра, крупная, похожая на свою корову Милку, больше не приносила по утрам молока. Мама день за днём изводила имевшихся у нас кур, а отрубленные головки сохраняла. Говорили, что их надо будет предъявлять какой-то комиссии. Среди этих бедных головок была и Петюшина, гордого и драчливого нашего петушка. Каждый день в течение нескольких месяцев мы ели куриный суп, а по ночам я просыпалась в страхе, что очередь дойдёт до нашего милого Жучка. Я знала, что Никита Сергеевич будто бы не разрешил иметь плодовые деревья и домашних животных. А собаки — кто? Воображение рисовало отрубленную Жучину головку, я содрогалась от ужаса, но это не было мрачной фантазией впечатлительного подростка. Страна моя была непредсказуемой, в любую минуту действительность могла стать хуже любых воображаемых ужасов.

На мой день рождения мама не испекла, как обычно, пирог, так как не достала муки. Везде, даже в Сибири, посеяли кукурузу, которая, невзирая на постановления партии и правительства, расти и вызревать в таком климате отказывалась. Но хирела она на необъятных земельных площадях, занимаемых ранее рожью и пшеницей. С хлебом начались проблемы. Построить коммунизм обещали очень быстро, лет через двадцать. Повсюду проходили митинги, на которых народ горячо ругал писателя с забавной, «овощной» фамилией Пастернак. Каких-то художни-

ков разогнали бульдозерами за то, что «не то» рисовали, и, наконец, избавились от полуострова Крым. Хрущёв подарил его Украине. Может быть, что-то неприятное из его комсомольской молодости было связано с Крымом, с Гражданской войной?... Грустное место — полуостров Крым.

Много появилось анекдотов, которые очень смешили народ. Это уже было хорошим знаком — смех. Например, в известной «народной» песне

На дубу зелёном, да над тем простором
Два сокола ясных вели разговоры...
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин.

В новом варианте предлагали петь:

Первый сокол — Ленин,
Второй — тоже Ленин.

... Такими вот событиями и впечатлениями оканчивалось моё детство.

ДЕТИ РОССИИ

Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознание знаете вы толк,
А я простой советский заключенный
И мне товарищ серый брянский волк.

Ю. Алешковский. Лагерная песня

В 1955 году началась реабилитация узников сталинских лагерей. Возвращались из мест заключения и ссылки крестьяне и рабочие, солдаты, офицеры и генералы, учёные, философы, священники, инженеры, изобретатели, артисты... Плодородный слой народа, гумус великой страны

возвращался к нормальной жизни после одиночных камер, холодных северных бараков, работ на лесоповалах и в рудниках. Многие из них прошли через пытки, издевательства, произвол. Те, кто не умер и не сошёл с ума — теперь возвращались домой, хотя «дома» у большинства узников давно уже не было.

Вернулся в Москву и вышел на вокзальную столичную площадь человек в очках с толстыми стёклами и фанерным чемоданом. Это был сын Акмаля Икрамова и Женечки Зелькиной.

... Отец Жени, Лев Захарович Зелькин, в Первую мировую войну работал врачом одного из госпиталей Западного фронта. Он был родом из маленького местечка Сувёлки, недалеко от города Гродно, и рано начал учиться своей профессии. Уехав в Германию, он поступил там в университет на медицинский факультет и, став доктором медицины, вернулся в Россию. Страну эту он любил самозабвенно и обожал русскую литературу, особенно произведения Льва Толстого. Иногда, видя нелепость происходящего, испытывая произвол чиновников и всяких разных властей, с коими приходилось иметь дело, Лев Захарович произносил загадочную фразу: «А жил ли в России Лев Толстой?!»

Доктор жил в Замоскворечье, на Большой Ордынке, там же «практиковал». Семьёй он обзавёлся поздно и всю силу души отдавал единственной, обожаемой дочери Жене, которая ещё в гимназии увлеклась марксизмом. Сам Лев Захарович никогда этим не интересовался, ибо, как врач, знал, что всякой разной идеологией увлечены исключительно люди здоровые, а больные все одинаково беспомощны и нуждаются в сострадании.

... Акмаль был сыном домли Икрама, учителя и вероучителя. Он родился в семье, насчитывающей четырнадцать поколений интеллигенции. Существовала родословная, шаджара, с именами и датами, из которой

следовало, что род их восходит к халифу Омару, одному из основателей Арабской империи и первому редактору Корана. Отец Акмаля образование получил в Бухаре и совершил хадж в Мекку, чтобы просить Аллаха не о земном, а только лишь о просветлении и стойкости в вере. Его паломнический посох Акмаль увидел уже совсем коротеньким, потому что родные и соседи отрезали от него по кусочку и делали талисманы.

Акмаль знал несколько языков, увлекался восточной поэзией и политикой. Русские газеты он начал читать рано, он вообще много читал. Икрам-домля не одобрял его интереса к политике. Не нравилось ему, что сын, как и многие молодые узбеки, интересовался российскими новостями и российским образом жизни.

...Они познакомились во время учёбы в Университете красной профессуры, где один из предметов вёл товарищ Сталин. Женя Зелькина была ярой «якобинкой», Акмаль Икрамов — представитель среднеазиатской интеллигенции. Сталин часто беседовал с ним, прогуливаясь в перерывах между занятиями.

Был период НЭПа, жизнь кипела, во всём присутствовало шальное чувство обновления и всеобщей молодости.

А моя страна — подросток,
Твори, выдумывай, пробуй!
...Радость — прёт,
Не для вас
уделить ли нам?
Жизнь прекрасна и
Удивительна!

Ходили вместе в Политехнический слушать Маяковского, Женя любила театр Мейерхольда. Акмаль читал ей персидскую поэзию, переводы с фарси.

В январе 24-го вместе были в Колонном зале, прошли мимо гроба Ленина. Среди стоявших в почётном карауле был Сталин, он выглядел ото всех отстранённым.

Потом они пошли на Большую Ордынку через Красную площадь, через мост. Их разговор был бы, вероятно, непонятен, странен для современника.

Акмалю было 26 лет, Жене на два года меньше. Они были истинные рыцари революции — фанатики и аскеты, прямые и открытые. Такие люди составляют её, революции, первый эшелон. И они — её жертвы. Далее, по ходу, подсаживаются другие, движимые умыслом, жаждой власти, выгодой.

Два явно симпатизирующих друг другу молодых человека, идя по заснеженной Москве, говорили, конечно, о всё возрастающих трудностях в экономике, о частых случаях недовольства и восстаний по всей стране. Акмаль знал, что, скорее всего, возглавит ЦК Туркестана, предвидел загруженность работой, и был огорчён предстоящей разлукой с Женей. Та, без пяти минут дипломированный аграрник, ничего определённого не отвечала Акмалю на его предложение работать в Ташкенте. Она только сказала, что проблема малоорошаемых земель ей небезынтересна.

В квартире доктора Льва Захаровича Зелькина их ждали. Сидели за столом в гостиной, грелись горячим чаем. Лев Захарович наскокивал на молодого человека с каверзными вопросами. Его интересовало, что думает Акмаль о будущем государства, вставшего на абсолютно непроверенный путь. Ответы выслушивал недоверчиво, на заверения, что все трудности роста окончатся, резко возражал:

— А если нет? Имейте в виду, Акмаль, я симпатизировал большевикам только до семнадцатого года! Тогда я не до конца понимал их намерения... Но они бессовестно воспользовались военным временем, отста-

лостью масс, использовали недовольство окраин! Известно, что цель вождей, делающих революции «снизу» — вовсе не народное благоденствие.

— Россия давно стала «тюрьмой народов», — сказал Акмаль. — Вы ведь знаете, что Туркестан был присоединен насильственно, и положение народа под произволом царских чиновников было ужасно.

— Понимаю... Но кровавый террор никогда не заканчивается торжеством демократии, а равенство, которое проповедует революция, — всего-навсего хитрый обман тёмных народных масс. Люди должны уравниваться духовными качествами, а не кошельками. Такова, по моему мнению, идея Божьего мира. Отняв чужое невозможно стать счастливым, этому учат все религии. В армии одичание солдат происходило на моих глазах... Только не цитируйте больше Ленина. Я отношусь безо всякого доверия ко всему, что он обещал. Говорю Вам, как врач: человек, который, не будучи строителем, ломает крепкий дом, обещая сейчас же построить на этом месте лучший, — мягко говоря, не логичен. Результатов своего эксперимента Ленин уже не увидит, беда в том, что его заблуждения попадут неизвестно, в какие руки. Во всяком случае, такие люди не могут быть во главе Великой Православной России...

— Папа, при чём тут «православная» Россия? — рассердилась Женя.

— Притом, дорогая, что этот факт забывать нельзя. Это и Вас касается, Акмаль. Не спорю, вы люди образованные, но этого недостаточно, чтобы, начитавшись Маркса, менять порядки в масштабе такой страны. Методы должны были избираться крайне осторожно, с учётом вековых традиций народа. Последствия Гражданской войны, этой страшной бойни, будут отзываться на судьбах наших потомков. И сейчас везде неспокойно. А ответ у новой власти — один. Как там у вашего громилы-поэта: «Ваше слово, товарищ маузер...».

— Эти бунтуют классовые враги, — сказала Женя. — Борьба не окончена.

— Рассуждая так, придётся воевать со всем народом до второго пришествия. Конца не будет, и в эту кровавую молотилку, которая уже сейчас молотит без разбора, боюсь, вы тоже можете угодить.

— Зачем ты такое говоришь? При чём тут дети? — Вмешалась мать Жени, Берта Юрьевна.

— Я хочу сказать, что православие особый вид христианства, очень опасно это игнорировать. У русских детская, доверчивая и мистическая душа. Часто в госпитале раненые солдаты уговаривали меня не беспокоиться напрасно, так как уже приготовились идти к Господу, и врач им ни к чему. Вы, кстати, читали «Очарованный странник» Лескова? Почитайте, хотя уже поздно, всё случилось. Освободив народ от власти Духа, отняв Бога и Царя, большевики погубили Россию, но и себе подписали смертный приговор, их эпоха дойдёт до катастрофы. Я видел, как русский человек превращался в зверя. Испытал на себе. Меня беспокоит ваша судьба, молодые люди. Вы встали на сторону безнадёжного дела.

Берта Юрьевна молча подливала спорщикам чай, подкладывала печенье и, стараясь не подать виду, грустно поглядывала на дочь и её кавалера. Хороший мальчик, думала Берта Юрьевна, очень хороший. Умница, вежливый... Какими одинаково образованными и свободными выросли эти двое, причём в разных краях, и, казалось бы, в разных традициях. Но они — россияне, их объединяет русский язык, русская культура. И уверенность в своей правоте у них тоже одинакова. Но всё же такая смелость не доведёт до хорошего. Если бы Берту Юрьевну спросили, как это всё закончится, она бы ответила, не задумываясь: «Плохо! И во всём опять будут виноваты евреи!» Это — обязательно. Это она знает по горькому опыту. Но разве детям нужен опыт родителей?..

...За окном стоял морозный вечер, мягко светил оранжевый абажур над столом. Доктор, близоруко поднося к глазам книгу, читал вслух отрывки из «Войны и мира». Акмаль переглядывался иногда с Женей и собирался рассказать присутствующим о своём двоюродном дедушке. Мулла Абдувахид Кариев, депутат Государственной Думы от Туркестана, был сослан царским правительством «за пропаганду против государственных идей». Его отправили в Ясную Поляну, где он встречался со Львом Толстым.

Хороший зимний вечер провели они вместе, семья доктора Зелькина и их гость, молодой узбек Акмаль Икрамов. Впереди было ещё много хороших моментов...

...В сентябре 1927 года у Жени и Акмаля родился сын. Эрудированные родители дали мальчику имя Камилл. Кажется, — в честь Камилла Демулена, деятеля французской революции.

Акмаль Икрамов в 1924 году стал Первым секретарём ЦК Туркестана. Его арестовали в сентябре 37-го по так называемому «бухаринскому» делу, а в марте 38-го расстреляли вместе с другими участниками процесса. Мать Камилла, Евгения Зелькина, арестованная так же, как и муж, в сентябре 1937-го, исчезла, пропала без вести в стенах ташкентского НКВД.

Под предлогом борьбы с национализмом Сталин уничтожил интеллигенцию не только в Туркестане, но и по всей стране, даже в своей родной Грузии. Прежде всего, он убивал тех, кто мог припомнить ему преступления коллективизации, голод, трупы, карательные меры. Принцип состоял в отборе лучших, наиболее способных оставаться людьми.

Изодрёнными, инквизиторскими методами органы НКВД расправлялись с образованными людьми, с интеллигентами, вступившими

в ряды большевиков из идеальных соображений. В высшем партийном руководстве задерживались только трусливые, неразвитые, жестокие, которые, применяя насилие, распространяли в народе дух примитивизма, нивелировки, выхолащивали культуру и вековые традиции. Создавалось общество бессловесных рабов, во главе которого стоял вождь-главарь, коварный, опасный, пугающий всех непредсказуемым садизмом.

Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей —
Он играет услугами полулюдей:
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет —
Он один лишь бабачет и тычет.
Как подковы куёт за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, то малина,
И широкая грудь осетина.

О. Мандельштам

Камиллу тогда только что исполнилось 10 лет. Предчувствуя арест, отец отвёз сына в Москву, к дедушке.

...Доктор Лев Захарович обожал единственного внука, баловал его страшно, разрешая буквально всё. В школе Камилл учился кое-как, но,

главное, спокойно и терпеливо выносил даваемые ему прозвища. Он не расплакался даже тогда, когда учительница велела ему написать крупно на доске: «Мой отец — враг народа».

Это случилось в начале марта. Лев Захарович навещал в соседнем доме заболевшую девочку. В комнате тихо работало радио, выписывая рецепт, доктор расслышал слова: «...бухаринского право-троцкистского блока... приговор приведён в исполнение...» Он не торопясь, окончил писать.

— Напомните, пожалуйста, свою фамилию, Надя.

Девочку эту он знал, она училась в той же школе, что и внук.

— Ляпичева.

— Угу... Вот, готово... Вы в каком классе учитесь, Надя?

— В седьмом...

— Как думаете, звонок с урока уже был?

Над диваном, где лежала больная Надя, висели портреты, вероятно, её родителей, а по бокам — две пары старинных настенных часов. Время они показывали разное, но Надя, поглядев на них, сказала уверенно:

— Нет. До конца урока ещё долго.

Часы степенно начали бить.

— Вам это спать не мешает? — поинтересовался Лев Захарович.

— Я привыкла, — засмеялась Надя.

Мама девочки, (это была моя будущая бабушка Наташа), проводила доктора до двери.

— Только непременно дайте лекарство сегодня, — сказал Лев Захарович. — Это важно... А дня через два я зайду... Впрочем... Как, простите, Ваше имя-отчество?

— Наталья Васильевна.

— Если вдруг что срочное, Наталья Васильевна, дайте мне знать. Не стесняйтесь. По-соседски...

Доктор медленно спускался по ступеням с четвёртого этажа. Быстро идти он не мог, ноги сделались ватными. К школьным дверям он подошёл в тот момент, когда раздался залиvistый звонок. Мимо него бежала детвора из младших классов, скоро показался Камилл, как всегда с улыбкой на веснушчатом лице. Лев Захарович вздохнул с облегчением. Пусть он узнает об отце не сегодня, пусть эти страшные слова: — «приговор приведён в исполнение» — они услышат по радио дома. Перед входной дверью он пропустил мальчика вперёд и увидел на его спине надпись мелом: «Враг народа!»

... Лев Захарович, как врач, тревожился, иногда предлагал внуку валерьяновых капель, но тот зашвыривал портфель в свою комнату и мчался через Черниговский переулок на Пятницкую и дальше, вниз, в сторону Павелецкого вокзала в Дом пионеров, где занимался в кружке юных изобретателей. Он сконструировал нечто вроде мотороллера, и был сфотографирован для газеты. Подпись гласила: «Пионеры умеют работать».

Они старались оба держаться, дедушка и внук. Больше у них на свете никого не осталось.

...Что он помнил о своих родителях? Они всегда были заняты, его воспитывала няня тётя Лиза, и только редкие случаи, когда они бывали вместе, остались в памяти. Отец был спортивным, Камилл помнил, что он играл в теннис, крутил на турнике «солнце» и мылся во дворе холодной водой. Однажды, во время какого-то праздника, они всей семьёй находились в правительственной ложе ташкентского стадиона. Был парад физкультурников, в конце — фейерверк. Вдруг в переполненных рядах раздался женский крик: в публику попала ракета. Отец в секунду пере-

махнул через барьер ложи и помчался по проходу туда, где звали на помощь...

Откуда-то Камилл знал, КАК любит его отец, более того, — знал, что отец «трясётся» над ним. Веснушчатого сына он называл — Рыжка. Уже незадолго до отъезда к бабушке, отец зашёл в его комнату. Кроме няни Лизы там находился портной, снимавший с мальчика мерку.

— Что здесь происходит? — поинтересовался отец.

— Рыжке нужно брюки сшить, — объяснила Лиза. — Он уже большой. Я сказала Евгении Львовне...

— Какую Вы, товарищ Икрамов, предпочитаете ткань? — уважительно обратился портной, — я принёс образцы...

Отец удивлённо смотрел на выкладываемые перед ним ткани.

— Десятилетнему мальчику шить из новой материи? — произнёс он, наконец. — Мне это не понятно.

Он вышел и через пять минут вернулся, неся в руках свои старые брюки.

— Будьте добры, перешейте из этого.

Сам он всегда носил один и тот же костюм военного покроя и сапоги.

А мама... Когда он открывал дверь в её кабинет, там всегда были чужие люди. Мальчик знал, что дверь положено сразу закрыть и не мешать взрослым. Они — работают. Мама постоянно была занята, она работала заместителем «Наркомзема», часто уезжала в командировки... Только однажды маленький, лет пяти, Камилл не выдержал. Он вошёл в кабинет, и на него все посмотрели удивлённо.

— Что, Рыжка? — спросила мама.

Он не знал, что ответить, просто хотелось объявить всем, что это — его мама. И он выпалил:

— А Камилка у мамы грудь сосал...

...Когда немцы подошли к Москве, Камилл вместе с другими подростками рыл на Пятницкой окопы, дежурил на крыше и потушил тринадцать зажигательных бомб. Надо сказать, что Лев Захарович дал внуку свою фамилию. В ремесленном училище, куда он перешёл из школы, его знали как Камилла Зелькина. В сентябре 1943 года ему исполнилось шестнадцать, и он отдал документы на получение паспорта.

В ту осень наша армия освободила от фашистов Киев. Победа радовала, стало ясно, что враг слабеет, появилась надежда. Ночью 13 ноября в квартире доктора Зелькина раздался звонок. Предъявили ордер на обыск, велели собрать необходимые вещи и увезли арестованного Камилла.

Поданные для получения паспорта документы напомнили властям, что сын врага народа Акмаля Икрамова живёт вольно на белом свете, на что, по советским законам, этот мальчик права не имел.

Из книги Камилла Икрамова «Дело моего отца»

«...Неужели никто не расскажет о малолетках, попавших в сталинские лагеря?»

Малолетки, это те, кому не больше, а то и меньше шестнадцати. Кажется, по правилам нас должны были кормить лучше и работать мы должны были не двенадцать, а десять часов. Только если эти правила и были, то их никто не знал и соблюдать не собирался. Работали мы от темна до темна.

...Думаю, в марте, когда в низинах было много снега, наша и ещё две бригады малолеток работали на трассе Москва — Минск, по которой теперь так много ездят наши и западные туристы, это главная магистраль на Запад.

Мы подсыпали гравий на обочины и углубляли кюветы. И вот, когда нас перегоняли дальше, начальник конвоя увидел чей-то брошенный рваный бушлат.

— Чей бушлат?

Эх, никто не догадался взять его! Нас тут же стали пересчитывать. Одного не хватало. Оказалось, что исчез Руня. Он был из другой бригады, и фамилию его я не знаю, только кличку.

Кажется, и мы, и конвой вместе увидели Руню. Он был в километре от нас или чуть больше. Шёл по низине, проваливаясь по пояс в глубокий и тонкий снег. Нас согнали в кучу, три бригады малолеток, и мы видели, как гонятся за ослабевшим мальчиком здоровые мужики со свирепыми немецкими овчарками. Руня шёл, не оборачиваясь, шёл по направлению к белой полуразрушенной церкви, стоявшей на свободном от снега пригорке.

...Овчарки настигли Руню, когда ему прострелили ноги. Потом его волоком вытащили по его же следам на трассу, погрузили в срочно прибывшую вохровскую полуторку и тут, в кузове, уже пристрелили. Опять же — в голову. Я помню фамилию старшего надзирателя, убившего Руню в кузове, но не назову её, а вдруг ошибусь? Впрочем, они все действовали так, как им было положено по уставу...

Бригадирами малолеток начальство всегда ставило матёрых рецидивистов, воров в законе. Нашей бригаде повезло, наш дядя Ваня — Иван Иванюк, если это была его единственная фамилия, был мастером карточной игры, бригадный хлеб проигрывал редко, пайку мы получали чаще других. Хуже всех приходилось пацанам из бригады Воёди-коаснушника. (Краснушники грабили железнодорожные вагоны, и, по воровской иерархии, были много ниже ширмачей, домушников и медвежатников).

Воёдя-краснушник был здоровый мужик лет тридцати, глупый до чрезвычайности и лишённый каких-либо человеческих чувств. Он не произносил буквы «р» и «л», потому и Воёдя. В карты он играл плохо, проигрывал бригадный хлеб целиком и прямо из хлеборезки нёс его выигравшим. Потом наш Иванюк или другой бригадир малолеток дядя Саша Проценко меняли этот хлебушек на водку.

Несёт «Воёдя» утром ящик хлебных паек мимо своей бригады к Иванюку или Проценко, а они поддразнивают его на весь барак:

— Воёдя, как твоя бьигабочка?

И тот очень весело орёт в утренней тишине малолетского барака:

— Моя бьигабочка по утьяночке гудьончик штефкает.

Да, его бригада очень часто вместо хлеба жевала битум, гудрон — «гудьончик»...

В его бригаде и был тот Руня, что среди бела дня безоглядно бежал по снегу на верную и желанную смерть.

...Был в Воёдиной бригаде мальчик без клички, фамилия редкая и красивая — Дофине, сын и внук потомственных кондитеров, приглашённых в Россию бог весть когда, и до революции работавших на собственной фабрике «Эйнем», впоследствии — «Красный Октябрь». Мой приятель Дофине был последним из этой династии. Он работал на этой же фабрике, украл шоколад, получил пять лет и умирал на моих глазах, не выдержав и первого года.

В мае 1944 мы рядом лежали на солнечном скате землянки-барака, в котором вода доходила до нижних нар, но нары были уже пустые... Малолетки «освобождались», выходили на свободу через «деревянный бушлат».

У меня была «дистрофия три», на внутренних сторонах ног, от щиколоток до паха, на коже и костях непонятным образом держалось десятка

два фурункулов. Я ждал, когда начнётся профузный дистрофический понос, после которого всякие земные мучения прекращались.

У Дофине понос начался раньше, и он умер, а меня спас доктор Штернер. Увидев мои ноги, он стал лечить меня в санчасти. Каждый день я приходил туда, он вёл за занавеску и давал кусок хлеба. Может, он сам был политический или имя моего отца ему о многом говорило?..

Позже я попал в бригаду автослесарей, которых подкармливали вольные шофёры. Но это уже другой рассказ, рассказ о счастье, о том, как я остался жив.

...Много лет спустя, я, выражаясь высокопарно, посетил эти места, но где был наш лагерь, лагпункт, по терминологии ГУЛАГа, я не вспомнил. Не нашёл и того места, куда старый цыган по кличке Мора сваливал мертвецов и куда бросили бедного моего друга с красивой французской фамилией. Особенно много мёрло нас в апреле и мае. Ящик был большой, и туда сваливали сразу двоих или троих... Возвращался Мора с пустым ящиком, который назывался «деревянным бушлатом». В оставшееся время Мора возил на своей кляче воду.

Однажды, когда у Мора было много «основной» работы, в водовозку впрягли несколько малолеток. Пожилой надзиратель сопровождал нас до реки и обратно. Не помню за ним ничего плохого, а в тот день он всё улыбался и, наконец, не выдержал, сказал нам:

— Скоро на свободу, пацаны. Вчера второй фронт открыли, Гитлер — капут.

В лагере, как на свободе и на фронте, верили, что после победы над Гитлером жизнь станет другой. И эту веру Сталин обманул».

Я ОСТАЛСЯ ЖИВ...

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

В. Лебедев-Кумач

С первых дней революции большевики применяли ко всем слоям российских граждан один принцип отбора: происхождение. «Чрезвычайки», т.е. карательные организации, получили право убивать без суда и следствия просто за достойных предков.

Под эту статью подходили зажиточные крестьяне, помещики, служащие, военные, интеллигенция, духовенство. Это был геноцид российского народа.

Зверские методы не устаревали, к тридцатому году приняли закон, что высшей мере наказания подлежат дети, начиная с 12 лет.

«Уинстон Черчилль в 1930 году, на основе труда доктора Гершноу «Обзор социализма», писал, что большевистские диктаторы только до 1924 года убили следующих лиц: 28 епископов, 1 219 священников, 6 000 профессоров и учителей, 9 000 докторов, 12 950 землевладельцев, 54 000 офицеров, 70 000 полицейских, 193 290 рабочих, 260 000 солдат, 355 250 интеллигентов и промышленников, 815 000 крестьян. Это без учёта огромных человеческих потерь русского населения от голода... Ни один азиатский завоеватель, никакой Тамерлан и Чингисхан не может потягаться с Лениным, в полном смысле чумной бациллой.

А что касается сталинской эпохи, то в промежуток с 1930 по 1950 год только по политическим соображениям были уничтожены не менее 20 миллионов человек».

(Иоахим Гофман. «Власов против Сталина. Трагедия русской освободительной армии»).

К этим же потерям следует отнести почти сорок миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны 1941–1945 гг. Они, по большей части, стали жертвами сталинского приказа «Людей не жалеть!»

За чудовищными цифрами — судьба людей, судьба страны, судьба её будущего... Но сегодня правда о большевистском режиме никого уже, как будто, не пугает. Неужели мир забудет о том, что творилось в России?

Из книги Камилла Икрамова «Дело моего отца».

«Когда меня пришли забирать, дед не суетился, сосредоточенно укладывал в наволочку разрешённые вещи, не забыл зубной порошок и щётку.

Шесть людей в шинелях, с оружием и погонами, плачущие понаты... Дед был известным врачом, блистательным диагностом, имел элитарную клиентуру, которая хорошо оплачивала его труд, а всех в округе он лечил бесплатно. Спасал детей из соседних домов от скарлатины, дифтерита, ангина и пневмоний.

В 37-м дедушка лишился единственной дочери, любимого зятя, но жил на удивление всем мужественно, стойко, гордо. Он верил в добро и преклонялся перед учением Льва Толстого. Вслух, сдвинув очки на лоб и уткнувшись носом в страницу, он читал мне его сказку «Чем люди живы»...

Понятые плакали, жалея его и меня, а дед старался ничего не забыть, но не боялся предвидеть, что берут надолго и увезут далеко. Я спросонья думал, что это всё ошибка, а дед знал, что в этом деле ошибок не бывает. Он многое понимал. Не знаю, откуда бралось это понимание, но чётко помню, как в мае сорок первого он сказал, что скоро будет война с немцами.

Я не помню, поцеловал ли я его, когда меня уводили.

Дед очень надеялся, что в честь Победы объявят амнистию, и его несовершеннолетний внук будет освобождён, но амнистия была для воров, грабителей, насильников, растратчиков и мошенников. Погибающие в тюрьмах и лагерях дети под эту амнистию не подпали».

...Утром арестованного Камилла привели в кабинет следователя на допрос. В окно он увидел площадь Дзержинского с фонтаном посередине. Ноябрьский день был серым, промозглым, моросил холодный, пополам со снегом, дождь. Трамвай, позванивая, обогнул большой фонтанный круг, и мальчик проводил его глазами, представляя весь этот хорошо знакомый ему маршрут: мимо памятника героям Плевны, по улице Разина, через мост, на Пятницкую, а оттуда до его дома — рукой подать...

...И всё-таки спустя 12 лет, в апреле 1955 года, Камилл Икрамов вернулся в Москву. Почти слепой, с одним процентом зрения, но — живой. В то время я училась в школе, в седьмом классе, и мы с ним встретились много позже, хотя долгое время ходили по одним и тем же замоскворецким улицам и переулкам.

УРОКИ ГАРМОНИИ

Не властны мы в самих себе,
И, в молодые наши леты,
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть,
Всевидающей судьбе.

Е. Баратынский

...Но я должна вернуться к себе в то время, когда ничего из написанного выше я не знала и даже представить не могла, что такое «знание»

меня коснётся. До поры до времени жизнь моя проходила вполне обыкновенно. Благодаря маме, любые трудности воспринималась оптимистично, была уверенность, что всё к лучшему, наивная вера тех лет — «мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

В 1958 году я окончила школу, и встал вопрос, кем быть. Училась я хорошо, имела склонность к занятиям литературой и музыкой, поэтому стала студенткой Института культуры. Тут обнаружилось нечто, что я в себе не предполагала. Лекции по истории коммунистической партии вводили меня в ступор. Я не улавливала смысла, более того, слова повисали отдельно, ни в какой степени не сочетаясь. О чём идёт речь, я не могла догадаться даже приблизительно. От этого заболела голова.

Чтобы избежать лекций, я перешла на заочный факультет, надеясь, что составить конспект я как-то сумею. Но и тут вышло не лучше. Тексты этого толстого учебника были мне так же чужды и непонятны. Конспектировать — значит выделить и записать главное, основную мысль. Этого сделать я не могла. Переписывать без разбору всё подряд было трудоёмко, но ещё возможно. А вот уловить хоть какую-то мысль в этом «партийном» учебнике — нет. Не получалось при всём желании. Пришлось затею с институтом оставить, я решила продолжить музыкальное образование.

Музыкой я начала заниматься довольно поздно, в двенадцать лет. Дома у нас стоял папин рояль и жила папина мечта, чтобы дети непременно музицировали, как это было принято в роду Монастырёвых. Мама пыталась организовать наше с сестрой музыкальное обучение, но время к этому, мягко говоря, не располагало. Когда в Балашихе открыли первую музыкальную школу, меня сразу туда отдали, но мне шёл двенадцатый год, возраст для успешного и быстрого овладения музыкальными дисциплинами прошёл. И, всё-таки, я сделала неплохие успехи, благо-

даря моему замечательному педагогу Наталье Сергеевне Прокошевой. Своих учеников она любила, как родных детей, никогда на них не сердилась и не раздражалась. Я часто бывала у неё дома, она занималась со мной дополнительно. После занятий поила чаем и рассказывала удивительно истории. Она была родом из Казани, там жили её предки, богатые купцы. Александр Сергеевич Пушкин, работая над «Историей пугачёвского бунта», приезжал к дальнему её прадеду побеседовать, потому что тот, мальчиком, побывал у Пугачёва в плену. Я держала в руках узкий, старинного стекла бокал, из которого великий поэт пил вино...

В общем, я решила посвятить себя музыке и сдала экзамены в московское музыкальное училище.

...Отношения столицы и периферии грустны, как рассказ А. П. Чехова «Цветы запоздалые».

Сойдя с пригородного автобуса, я первым делом меняла обувь. В любую погоду столица лицезрела меня в туфлях на высоком каблук.

Синдром провинциала — он на всю жизнь, как бы она ни сложилась. Столичные — они от рождения победители, всем прочим завоевать столицу только предстоит. «В Москву, в Москву!» — какие мечты, какие надежды! Из моей Балашихи приходилось добираться автобусом больше часа, но у меня всё было впереди.

В замоскворецком переулке пахло хлебом и шоколадом. Я пришла на первое занятие.

Занятие было по гармонии (не человеческой, а музыкальной). Собравшиеся студенты с ужасом смотрели на Генриетту Львовну. К этому педагогу все мечтали попасть, а, попав, — умирали от страха. Совсем забыты мною черты Генриетты, помню только, что и лицо, и голос, и даже фигура представляли собой сплошной сарказм. Она совершенно не ве-

рила в необходимость развития музыкальных способностей, так как, по её твёрдому убеждению если у человека музыкальные данные есть, то они есть, а если отсутствуют, то их и развивать не надо. Лучше, в таком случае, подыскать для себя другое занятие.

Мы, бедные первокурсники, выслушали Генриеттино *credo* на первом нашем занятии, и мне показалось, что сказанное относится исключительно ко мне. Меня-то Генриетта Львовна вычислила сразу, по глазам. Вернее сказать: её сарказм определил, что в течение ближайших пяти лет кушать он будет именно меня. Генриетта, кроме всего прочего, была ещё и гениальным режиссером, мысленно она выстраивала спектакль. Увы! Мне предназначалась одна из главных ролей.

Претендент на вторую главную роль явился на первое занятие с опозданием на полчаса, но абсолютно без всякого смущения. Когда говорят — красив, как бог — подробности излишни. Сразу понятно, что высокий, широкоплечий, лицо мужественное, глаза выразительные и т.д. Именно такой он и был, опоздавший студент по имени Лев. Разумеется, он обладал прекрасными музыкальными данными и целиком соответствовал теории Генриетты; я, к сожалению, тоже...

Так и пошло: после идеальных Лёвкиных ответов, когда сарказм нашего педагога требовал пищи, наступал мой черёд и мой выход. Группа, как и положено толпе, находилась в состоянии подобострастия и радости, что чаша сия всех прочих миновала.

Конечно, мои знания по музыке были недостаточны, столичные одноклассники были намного сильнее. Если же учесть мою нервную неуверенность в себе, можно догадаться, что учиться у Генриетты Львовны мне было очень не легко.

По программе нужно было петь русские песни на два голоса. Первый голос исполнять было несложно, просто поёшь основную мело-

дию — и всё. Тот, кто подтягивает вторым, совсем не мешает. Но вот наоборот... Это, как помню, была песня «Я вечер в лужках гуляла». Первый голос я успешно пела, со вторым у меня ничего не получалось — я сбивалась на основную мелодию — и всё тут. Со мной попробовали спеть все студенты нашей группы, им не везло, мне — тоже. Генриетта Львовна безжалостно высказала всё, что думала по поводу моего музыкального будущего, попутно высказывая сомнения относительно моих умственных способностей вообще. Группа повеселилась и устала. Я в двадцать пятый раз с кем-то из энтузиастов затянула проклятым вторым голосом «я вечер в лужках гуляла, грусть хотела разогнать», у меня опять не получилось, и занятие кончилось. Как видно, Генриетте жаль было этой сцены, по методу Станиславского она решила перенести её в другие декорации.

— Лёва, — попросила она своего любимца. — Вы бы, голубчик, помогли коллеге.... Оставайтесь после занятий минут на пятнадцать.

Да, методы Генриетты были сродни инквизиторским пыткам. Вряд ли от её пронизательных глаз укрылась моя большая, назовём так, симпатия к Лёвке. Это, в основном, и служило причиной происходящих со мной казусов. В его присутствии я теряла способность не только петь, но даже говорить. Понятно, что ему до всего этого не было никакого дела.

— Потрудитесь, голубчик, — Генриетта сверкнула глазом в мою сторону — Надеюсь, Вы преуспеете лучше меня.

Дверь за саркастической её фигурой закрылась, мы с Лёвкой остались одни. Сидя в красиво-небрежной позе у рояля, он тоненько, фальцетом напевал мне первый голос, я в свою очередь, ничего не сознавая кроме своего ничтожества, ни одной чистой ноты спеть не могла. Он бился минут сорок и после этого глянул на меня с каким-то даже уважительным интересом. Это уже пахло гениальными неспособностями к музыке, и он

поинтересовался, как это мне удаётся. Я ответила, что вообще живу не в Москве, и каждый день по три часа тряусь в пригородных автобусах. Почему я вдруг такое ляпнула — не знаю. Вероятно, для полного самоуничтожения, так как более «столичного» мальчика, чем Лёва, представить было трудно. Его реакция на эти мои слова оказалась вовсе неожиданной: как-то очень дружески улыбнувшись, Лёвка предложил пойти на следующий день... в ресторан.

...Мне везло, я нашла, где буду ночевать после ресторана, взяла у подруги блестящее платье на бретелях. Где-то я читала, что открытые плечи пудрят, и я напудрила. И целый день от волнения ничего не ела.

Мы встретились и пошли в «Националь». Не помню, какую еду он заказал, в конце концов, я всё равно ничего не попробовала, а вот какое было вино — помню: коньяк в графинчике и бутылка вина «Твиши». Я не отказалась от коньяка и немного пришла в себя, осмотрелась, сравнила своё платье с платьями за соседними столиками. Моё было явно не хуже, и я почувствовала прилив небывалой уверенности. Лёва налил мне бокал вина, я выпила его, как мне показалось, очень эффектно, но сразу все окружающие меня звуки переместились в мою голову. Прямо там играл оркестр, и все люди громко и одновременно заговорили именно в моей голове. Надо было что-то предпринять. Женщина за соседним столиком курила, я тоже попросила сигарету и после первой затяжки очулась уже на каком-то бульваре.

...Мы сидели на скамейке, Лёвка курил, голова моя лежала у него на плече.

— Ты зачем коньяк пила? — Поинтересовался он, увидев, что я начала соображать. — И каблук чёрт-те какие нацепила... Пойдём, провожу, — вздохнул он...

...Я не помню, как мы добрались до нужного мне дома, как я вошла, как легла спать. Но вот что почувствовала, проснувшись, — не забыть. После пережитого срама дальнейшая жизнь представилась абсолютно невозможной, это я понимала отчётливо. Но как умереть, каким образом?

Именно над вопросом ухода из жизни — можно сказать, техническим вопросом — я билась, когда раздался телефонный звонок. И когда я успела сообщить Лёвке номер?

— Ну, что, выспалась? — как-то очень тепло спросил он.

...На следующее занятие к Генриетте я пришла в совершенно преображённом виде. На голове я сделала высокий начёс, модную в те времена «Бабетту», и сильно подвела глаза.

— Что с Вами? — осведомилась Генриетта холодно.

— А что? — ответила я, не чувствуя ни малейшего испуга.

У Генриетты был странно довольный вид.

— Вы, голубушка, вероятно, в лужках немного перегуляли...

...Было душное московское лето. Я навестила Генриетту Львовну в больнице. Она сидела на лавочке под деревом в больничном халате, с нотной тетрадью на коленях.

— Не лень Вам, голубушка, в жару тащиться в такую даль? Впрочем, это у вас семейное... Вчера Ваш муж был.

В Генриеттиных глазах полыхнул сарказм. Я обрадовалась ему, как надежде.

Она показала записи в тетради.

— Конспект... Готовлюсь к занятию с первокурсниками. Я всегда волнуюсь перед первым занятием. Не удивляйтесь, пожалуйста. Я обычная занудная училка, Вы прекрасно это знаете. Что Ваш муж? Всё ещё брен-

чит свой ужасный джаз? Пора бы ему остепениться... Впрочем, у него ещё есть время. Когда-то я думала, что всю жизнь буду играть в кино.

— Вы были актрисой? — совсем не удивилась я.

— Смейтесь? — фыркнула Генриетта. — С моей внешностью... Я просто приехала в Москву из провинции и должна была как-то устроиться. В древние для Вас времена, а это как раз были времена моей молодости, кино было немое. И вот я сидела под экраном и в темноте барабанила по клавишам. Считалось, что я неплохо с этим справляюсь. По-моему, я тоже изображала джаз... Гармония была мне тогда, по выражению моих студентов, «до лампочки».

...Милая, добрая, прекрасная моя Генриетта! Она слегла в больницу, когда мы оканчивали пятый курс, и больше из неё не вышла... Нет, на один день она всё же выбралась. Накануне экзамена по гармонии я позвонила в больницу:

— Бойтесь? — спросила Генриетта.

— Очень...

— Напрасно... Впрочем... Знаете что... Я постараюсь быть.

И она пришла! Конечно, из-за меня. Когда я отвечала, Генриетта не спускала с меня горящих и ободряющих глаз. Как мне это помогло! Мне поставили отлично. Генриетта была счастлива.

...Что это всё-таки за штука — любовь к ближнему? Если вопрос ставится глобально: любить весь мир, всех людей вообще, — тут всё более или менее ясно. Но когда внешних проявлений, кроме требовательности и взыскательности, — никаких, когда желание добра настоятельно до такой степени, что «ближний» пугается, — тут уж на ответную любовь надежды мало. Мы Генриеттой восхищались и страшно её боялись. А вот любили ли? Трудно сказать...

...Из родных у Генриетты Львовны остался только старик-отец. Я позвонила ему в годовщину её смерти. Он всхлипывал в трубку и говорил, что Бог разгневался на него, опять, опять оставил жить и забрал последнего дорогого человека, такую добрую девочку. У него был характерный южный говор. Где-то в Белоруссии, во время войны и оккупации, его жена и две старшие дочери живыми были закопаны в землю. На всём белом свете он остался один.

...Отношение столицы и периферии грустны и нежны, синдром провинциала — неизбывен. Прошло много-много лет, и я разыскала Лёвку.

Он преподавал гармонию в музыкальном училище. В расписании на этот день он значился в 22-м классе. Я пошла по коридорам, ища 22-й класс, и встретила Лёвку с седыми висками.

— Ты как тут оказалась?

— Тебя ищу...

...Мы были в классе одни, студентов он отпустил. Он сидел на преподавательском месте, на месте Генриетты Львовны. А я — там, где всегда сидела в те далёкие времена.

Наша не очень складная общая с ним жизнь была далеко позади. Все обиды, связанные с этой жизнью, сгладились, так как пришлись они на время молодости, а, как сказал поэт, «что пройдёт, то будет мило». Всякий жизненный опыт, даже неудачный, вероятно, — на пользу... Во всяком случае, «уроки гармонии» мне в жизни, несомненно, пригодились.

Мы посидели, немного поговорили «о том — о сём», и я — ушла...

СЕМЬ ПРАЗДНИКОВ

... Если имею всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять,
а не имею любви, — то я ничто.

Послание коринфянам Святого Апостола Павла.

... После окончания музыкального училища я стала работать в детском саду музыкальным работником, и до сих пор считаю это время главным в моей жизни. Всё, что я впоследствии делала в жизни, — моя работа в кино и журналистика, — всё началось тогда, родилось из впечатлений тех лет, когда я работала с детьми.

Давала я и уроки фортепьянной игры. Моими первыми ученицами были пятилетние Надюша и Юля. Мне кажется, что, в какой-то степени, уроки музыки определили будущее этих девочек...

Надюша, с которой мы дружим, по сей день, была внучкой Екатерины Павловны, завуча маминой школы. На урок Надюшу приводил папа, импозантный Виктор Фёдорович. Я всегда смущалась в его присутствии, а он относился ко мне с преувеличенным почтением и называл на польский манер «Оленька». Юля, девочка из соседнего дома, ходила в детский сад, где я работала и потому упомянута в моей повести «Семь праздников».

Я долго работала с детьми, потом стала о них писать. На бумаге я умела рассказать только то, что пережила, чему оказалась свидетелем и, таким образом, каждый раз получалось автобиографическое произведение. Повесть «Семь праздников» не исключение. Вот маленький отрывок из неё.

«... Иногда зайду в группу, (в детском саду так групповая комната называется), а там как раз — воспитательный момент. То есть в детском саду все моменты воспитательные, но случаются особо важные.

— Кто это сделал?

Значит, кто-то из детей совершил плохой поступок. Воспитательница Нина Ивановна или Надежда Николаевна, одним словом, та, что в это время в группе находится, построит перед собой детей и выясняет:

— Я спрашиваю, кто это сделал? Пусть выйдет вперёд. Я всё равно узнаю. По глазам.

И тихо так в группе становится... А у меня вдруг появляется жуткое ощущение, что она меня подозревает. Совсем непонятно, откуда это ощущение берётся, но неприятно становится, какой-то холодок по спине пробегает. Но это только в первое мгновение, а дальше я прихожу в себя, и всё на свои места встаёт: я — музыкальный работник детского сада, я взрослая. А спрашивают-то детей!

Странность эта у меня давно возникла, с первого дня, как работать начала.

...Детский сад был от балашихинской хлопкопрядильной фабрики, меня взяли музыкальным работником. В детских садах эта должность так и называется, не руководитель, а — работник. Мне было девятнадцать лет, я очень боялась первого занятия. По расписанию оно приходилось на среднюю группу. Тем детям тогда было по пять лет, теперь они давно взрослые. Вряд ли кого из них узнаю, встретив на улице, но одного я бы всё же узнала...

— Кто это сделал? Пусть выйдет вперёд!

Был ответственный воспитательный момент, — шло дознание. Я смотрела на пугливо снующих рыбок. В каждой группе обязательно есть аквариум с рыбками. За ним следят, выглядит он опрятно: прозрачная

вода, песочек, водоросли... Там идёт себе неспешно другая жизнь, равнодушная к людским страстям.

— Орлов! Подойди ко мне!

Я как-то, уже после этого случая, спросила у одной воспитательницы, почему дети так странно ведут себя: подзываешь кого-нибудь к себе, он вроде улыбается, а по лицу видно, — ничего хорошего от тебя не ждёт.

— Почему это? — спросила я.

— Они зна-а-ют, — загадочно ответила воспитательница.

Орлов как раз так и вышел из общего строя: улыбаясь и ничего хорошего не ожидая. Вероятно, кривлялся он больше обычного, ведь был один новый зритель — я.

— Это ты, Орлов, наплевал на пол?

— Я не плева-а-л...

— Не ты? А кто же тогда?

Губы в трубочку, голос басовитый:

— Я не зна-а-ю...

Воспитательница несколько не сомневалась, что виновен именно этот рыжеватый мальчишка.

— Я тебя, Орлов, очень хорошо знаю! Вытирай свои плевки! Я жду!

— Я не плевал...

— Долго мне ждать?

— Это не я!

— Иди за тряпкой! Кому говорю?!

Дети поглядывали на меня с удовольствием. По-моему, они были за меня рады. Им эта процедура давно была известна, а я — человек свежий. Потом я научилась вести себя в таких случаях. В самом следствии не участвовала, но хмурилась или укоризненно покачивала головой. Не одобряла, одним словом. Но в тот первый раз я как-то судорожно листала

сборник песен и глаз почти не поднимала. Услышала, как хрипло заорал Орлов, увидела, как воспитательница возит им по полу, прерывисто, от натуги, повторяя:

— Долго ты мне нервы будешь трепать? Долго, а?

Как она с ним справилась? Орлов был коренастым крепышом. Они возились на полу, дети стояли кружком, смотрели. Потом Орлова увели орать за дверь, чтоб не мешал музыкальному занятию.

Я холодными пальцами ударила по клавишам...

... В том детском саду было шесть групп. Шесть групп — это около двухсот детей. Знаю, что стало с двумя. Юля Беляева кончила московскую консерваторию, играла в оркестре, который гастролировал по всему миру. Гена Орлов до совершеннолетия был в исправительной колонии, а затем и вовсе сгинул. В детском саду они были в одной группе. Юля на моих занятиях первая запоминала мелодию и слова разучиваемой песни, и всегда тянула руку. Спросишь — поёт, не стесняется. Громко у неё получалось. Немножко, правда шепелявила и слегка косила, а выросла красавицей, похожей на Наталью Гончарову.

Генка Орлов и тогда был очень красивым мальчишкой. Рыжеватый, глаза орехового цвета, озорные и смелые.

— С этим по-хорошему нельзя, — говорили про Генку. — С ним и мать не справляется.

Я к этому мнению, конечно, прислушивалась, а как иначе? Люди этого ребёнка с трёх лет знают, а я человек новый.

— Сегодня, дети, будем слушать «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского. Гена Орлов, сядешь около меня.

Мы разучивали песни, репетировали танцы и построения:

— Орлов, посиди пока отдельно. Ты нам мешать будешь.

Когда на всякий случай, когда по делу, но Генку Орлова — на строгий режим. Потому что обязательно будет мешать. Сорвёт занятие, а на носу праздник.

На парад, на парад
Все спешат с утра.
Все поют, все кричат
Громкое «ура!»

Все до одного почему-то произносят «громкАЯ»...

— Послушайте, дети, как я пою. Следите...ГромкОЕ ура!

Всё по методике, всё учтено. Нельзя детям повторять их ошибку. Нельзя сказать:

— Кто это у нас поёт «громкАЯ ура»? Что это за громкАЯ ура такая? Тогда всё пропало. Никогда не переучить!

Здравствуй, здравствуй
Праздник Октября!
Самый лучший
День календаря!

Ну, вот, пожалуйста: «самай, лучшай»...

— Не правильно, дети. Послушайте, как я спою.

И каждое занятие надо всё повторять сначала.

За год музыкальный работник должен подготовить семь праздников, семь больших спектаклей в каждой группе: Октябрьский, Новогодний, День Советской армии, Восьмое марта, День рождения Ленина, Первое мая и Выпуск детей в школу. Уф!

Я волнуюсь! Ведь смотреть приходят не только родители и родственники детей, а и просто желающие из соседних домов. Особенно любят эти представления старушки, договариваются по нескольку человек,

приходят, усаживаются в первый ряд. Октябрьским праздником в старшей группе, как правило, интересуется начальство из фабричного комитета. Ну, разве есть время на баловника Орлова?

...Не знаю, нравились ли Гене Орлову мои занятия, по его озорным глазам понять это было невозможно. Но однажды он подошёл, встал рядом. Занятие кончилось, я сложила ноты, закрыла крышку пианино.

— А вы придёте ко мне на день рождения? — спросил вдруг Гена.

— Приду, если пригласишь. — Ответила я безответственно.

Отца у мальчика не было, мать работала буфетчицей в школе. Сына она иногда приводила на работу. Генка болтался по коридору, в то время, как она, абсолютно не воспринимая окружающее, как явь, не отрываясь, запоем, читала книги.

Однажды в буфете не досчитались выручки. Генке было всего шесть лет, и найти у него деньги было нетрудно. Никто и не удивился: чего же ещё можно было ждать от этого мальчишки?

Через несколько лет я случайно узнала, что Генка Орлов попал в исправительную колонию.

...Дети — это моя жизнь, моя память и моё позднее сожаление. Иногда во сне я вижу рыжеватого мальчика. Просыпаюсь и думаю: а вдруг и, правда, — не он наплевал тогда на пол, не Орлов?!

И оттого, что всё уже поздно и ничего не исправить, — делается то-скливо».

СОН МАМЫ

Снился мне сад
В подвенечном уборе,
В этом саду
Мы с тобою вдвоем...

Русский романс

...Я всю жизнь пыталась освоить понятия «случай» и «предназначение». Это именно понятия, никак не слова. Связаны ли они между собой? Вероятно да, связаны. Без «случая» не догадаешься о «предназначении». Именно в такой очерёдности совершается поворот судьбы, как это и случилось в моей жизни. Итак...

В повествовании я уже миновала своё детство, отрочество и перешла в пору молодости. Я нахожусь в центральной точке своей жизни, откуда скоро свершится поворот судьбы, обозначится путь, определится будущее. Жизнь моя заполнена заботами, надеждами, разочарованиями. Мне вполне достаточно того, что на меня обрушивает молодость. У меня нет времени ни на прошлое, ни на будущее. Каждый день забирает все мои мысли и чувства. Много ошибок, обид, ужасных переживаний, но, — по большому счёту, настроение у меня отличное, и жизнь складывается, как у всех, — ничуть не хуже.

Всё прожитое и пережитое в тот период я помню, как вчера. Может быть, из-за работы в детском саду — на памяти большое количество праздников. То и дело — народное ликование, парады и демонстрации! Портреты вождей, воздушные шары, торжественный голос диктора Левитана на всю Красную площадь. Могучая военная техника, пройдя мимо мавзолея, на котором стоят члены коммунистической партии, про-

езжает потом по Большой Ордынке, мимо бабушкиного дома № 17. Танки гусеницами оглушительно скребут мостовую, танкисты в шлемах машут людям на тротуарах. Все смеются, выкрикивают приветственные лозунги, дети с флажками подняты на плечах отцов высоко над толпой. А вечером — непременно салют, снопы разноцветного огня взлетают над собором Василия Блаженного и окунаются в Москву-реку... Красиво, но странный «кураж» отличал любой советский праздник. В нём словно таился : — « Знай наших! А мы — такие!»

... 9 мая 1965 году — день особый. Страна празднует 20 лет победы над фашистской Германией! Это наша страна спасла мир от коричневой чумы! Это мы — самые, самые!.. Мы победили в страшной кровопролитной войне, советские солдаты — все, как один, — герои. И среди них, конечно же, мой папа. Он пропал без вести, это значит, ни среди живых, ни среди мёртвых не найден. Это случается на войне, и в день Победы мы поминаем папу с гордостью и слезами. И мама, в который раз, начинает историю их прощания, последний их день... или рассказывает какой-нибудь свой сон про папу:

«...Стою с ним на улице, а он — такой же, как до войны. Молодой...

И я ему говорю:

— Зайди к нам, посмотри хоть, как мы живём...

А сама — плачу, и у него — слёзы на глазах. Худой, усталый стоит. Лицо болезненное, бледное...

— Ты ешь лучше.

А он — тихо так, почти шёпотом:

— Я ем...

— Найдёшь нас? — спрашиваю. — Запомни адрес...

И — проснулась, адреса не сказала».

Ничто на свете не случайно, не случаен был и мамин сон. В начале 1966 года мамин брат Борис получил письмо. На конверте стоял его адрес, внутри находился лист бумаги. Написано же было следующее: «Сидельникова Клавдия Фёдоровна может получать по такому-то адресу в Париже (Франция), — помощь: денежные суммы и вещи».

И — всё. И — без подписи.

ПЛЕН

Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Б. Пастернак

...Многие немецкие солдаты и офицеры с ужасом вспоминали потом те страшные болота, которые окружали Ленинград с востока и с юга. Стоит только глянуть на карту этой местности: болото Волховский Мох, болото Оттенский Мох, болото Маловишерский Мох... Болото, болото, болото. Местность безрадостная и унылая, состоящая из болот с редкими чахлыми листовыми деревьями и с редкими участками сухой земли. На этих участках ютились деревеньки, земля, за неимением лучшей, как-то обрабатывалась крестьянами, но, в общем, всё равно оставалась болотистой трясиной.

В этом районе и находилась 2-я Ударная армия, окружённая немцами и обречённая на гибель. Кончался июнь, лето было в разгаре, и страшная вонь от гниющих трупов поднималась в испарениях болотной воды.

...Прорваться сквозь заслон надеялись ночью, внезапным и стремительным броском, выиграв на этом время. И вот, почти одновременно, началось всё: бег, крик, стрельба, разрывы снарядов. Всё тут же оказалось в бешеном огне и адском грохоте.

Командование рекомендовало разбиться на небольшие группы, и таким образом держать направление на Старую Руссу. И сначала они держались вместе, бойцы расчёта и их командир, а потом, в какой-то момент, огонь, взметнувшийся перед глазами, отделил их друг от друга навсегда...

Папа продолжал бежать куда-то, не видя ни дороги, ни направления, ожидая каждую минуту конца от пули или осколка. Сколько прошло времени и где он находится — он не понимал, да и не возможно было ориентироваться в этом аду. И вдруг он почти свалился в какую-то яму — дорогу преградил полуразрушенный блиндаж.

...Он сразу понял, что в блиндаже кто-то есть, тяжёлое дыхание, стон и — невнятная немецкая речь. Папа выхватил пистолет и разглядел лежащего в блиндаже человека, это был молодой немецкий солдат. Слипшиеся светлые волосы, бледное влажное лицо и светлые глаза, которыми он глянул на русского. Видно было, что ранен он в живот.

Папа присел напротив, понимая, что продолжать безумный бег под огнём и пулями он больше не в состоянии. Пистолет он держал в руке, и немец, с трудом открыв глаза, увидел этот пистолет. Во вспыхивающей полутьме они встретились глазами.

— Застрели ... — прошептал одними губами немец и добавил — пожалуйста, bitte...

Папа тронул поясной ремень и понял, что забыл снять планшет, как было предписано всем командирам. Вероятно потому, что там были не

только документы, но и самое драгоценное: письма и фотографии жены и дочек.

Он хотел, было, достать свой индивидуальный пакет, но — передумал и потянулся к раненому. Лицо того наполнилось ожиданием сиюминутной смерти, он как-то по-детски, изо всех сил зажмурил глаза.

— Спокойно, — сказал ему папа, — лежите спокойно. Я постараюсь Вам помочь.

Он нащупал индивидуальный пакет немца и стал осторожно освобождать место ранения. Часть одежды пришлось разрезать ножом, и тогда рана открылась полностью. Папа вспомнил, как надо фиксировать повязку при ранениях такого рода и постарался забинтовать предельно осторожно и аккуратно.

Раненый не открывал глаз, папа, намочив кусок лоскута в каком-то ведре с водой, протер ему спёкшиеся губы и лицо.

— Danke... — прошептал немец.

...Сколько времени прошло — папа не знал. Грохот снарядов и пулёмётные очереди били уже не над самой головой, они будто сместились немного в сторону, и папа понял, что надо использовать момент. Готовясь покинуть убежище, он глянул на немца, отодвинул подальше от него ведро и сказал по-немецки внятно и отдельно:

— Пить — нельзя. Понятно? Не пейте воды!

И рывком поднялся из укрытия. Он не помнил потом, что произошло в тот момент. Просто на него вдруг обрушилась тьма и полная тишина.

...Сознание возвращалось медленно, прерываясь провалами во тьму. Он словно поднимался с большой глубины, и сквозь толщу воды к нему пытались вернуться образы и звуки. Слабо, будто откуда-то сверху доносились голоса, и он разобрал:

— Офицер... Рюс офицер.

И сразу, как от толчка, он пришёл в себя. Было светло, вероятно, около полудня. Вокруг стояли люди в немецкой форме. Его держали с двух сторон за руки. У одного из стоящих напротив офицеров в руках был его планшет. Все они что-то говорили, папа видел шевелящиеся губы, но звуков не слышал. Тело существовало отдельно, ни рук, ни ног он не чувствовал. В голове пронеслось: «Я контужен. Если потеряю сознание — застрелят». Он старался не закрывать глаза. И тут, прямо напротив, он увидел и узнал блиндаж, и сейчас оттуда поднимали носилки, на них лежал тот раненый в живот немец. Он был в сознании, пришёл в себя от света и воздуха, увидел над собой небо и потом вдруг сразу — русского. Глаза их встретились, и немец слабо крикнул:

— Этот русский мне помог! — и шевельнул рукой на перебинтованном животе.

И как во сне папа увидел, что немцы отдают ему честь...

Очнувшись снова, он понял, что лежит раздетый и укрытый одеялом. На голове ощутил повязку, и, оглядевшись, понял, что это — полевой немецкий госпиталь.

...Спустя некоторое время, когда он смог как-то держаться на ногах, его с группой других русских солдат отправили в Эстонию. Из разговоров он понял, что его попутчики перебежали к немцам и теперь находятся в лучшем положении, чем взятые в плен.

И ещё он понял, что его поместили в эту группу в качестве награды, — за помощь раненому немцу.

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО

Легко вообразить, что каждого окружает уготованное ему великолепие жизни во всей его полноте...

Ф. Кафка

Письмо пришло в феврале 1966 года, но ни сестре, ни мне мама ничего не рассказала. Не хотела нас тревожить, вероятно. У Инны была шестилетняя дочка Марина, моя Аня была новорожденной. Мамину взволнованность мы отметили, но причины для объяснения этого были, — всё-таки директор школы и бабушка двух внучек.

Мы с мамой жили вместе, и скоро я вычислила, не знаю каким образом, что перемены в мамином поведении как-то связаны с папой. Я открыла сумку, где она хранила документы, и почти сразу увидела тонкие листики бумаги, заполненные убористым почерком. Наш папа жив! Он — нашёлся!

А через какое-то время выяснилось, что это ошеломляющее известие вызвало большой интерес к нашей семье у органов государственной безопасности. Случилось это так.

Самое первое письмо не было никем подписано, просто — обратный адрес во Франции. Конверт был отечественный, с московским штемпелем, так как письмо было опущено в почтовый ящик непосредственно в Москве. Казалось бы, всё туманно, но почерк, папин почерк мама узнала сразу. И всё же... Все средства массовой информации непрестанно твердили о проникающих отовсюду врагах и призывали советского человека к бдительности. Даже самые разумные не могли не реагировать на эту постоянную промывку мозгов. Но — почерк... Папин почерк и то, что сразу угадало мамино сердце.

Всё же она решила довериться некой сведущей, как ей казалось, знакомой. Та выслушала, обещала подумать и вскоре пригласила маму к себе. Мама застала у этой милой дамы очень приятного и внешне, и в обращении господина. Он начал задавать вопросы спокойным и доброжелательным тоном, и мама сразу поняла, что должна на них отвечать. Добрый господин осведомился, предполагает ли уважаемая Клавдия Фёдоровна, кто ей пишет из Франции? Да, ответила мама, предполагаю... Мой муж, пропавший без вести весной 42-го.

— Вот как! — не удивился господин. — Ну, значит, следует на письмо ответить.

— Ответить?.. Во Францию?..

— А Вы не думайте про Францию. Вы ведь когда-то в прежние, довоенные времена, письма от мужа получали?

— В 39-м он писал из Монголии.

— Ну, вот и вообразите, что пишете ему в Монголию.

Так началась наша новая жизнь, — жизнь с папой. В письмах мы писали ему обо всём. Мама, Инна и я пытались заполнить для него прошедшие тридцать лет вне дома. Как росли, как учились, с кем дружили, за кого вышли замуж, кого видим из родственников, одним словом, почти все наши грустные и весёлые истории жизни.

Посылали фотографии, чтобы он представлял во всех возрастах не только нас, но и своих внучек. Ведь он уже был не только папа, но и дедушка! Мы любили его очень сильно всегда, мамиными стараниями он незримо присутствовал в нашем доме, но теперь, наконец, мы получили возможность передать ему нашу любовь и память.

Мы были счастливы, что Бог вернул его нам, уверены, что все вокруг будут обрадованы этим чудом, и что совсем скоро ничто не помешает нам быть вместе. Это ведь так естественно — быть вместе всей семьёй!

Больше всех, казалось, были за нас рады наши новые знакомые из Комитета государственной безопасности. Вначале на площадь Дзержинского, в Комитет госбезопасности, регулярно являлась одна мама (её просили, очень любезно, показывать папины письма). Занимался нашим делом некий Тарас Алексеевич, он прочитывал очередное папино письмо, и в свою очередь сообщал что-нибудь новое. Это касалось, прежде всего, папиного военного досье. И почти всё из того, что мы от него узнавали, нас радовало и успокаивало.

Так он объяснил, примерно, следующее: «Происшедшее с вашим мужем и отцом, капитаном Ростиславом Сидельниковым, — не вина его, а, скорее, беда. Война без пленных не бывает. Правда, он добровольно вступил в армию генерала Власова. Генерал Власов судим и казнён, как предатель, а капитан Ростислав Сидельников в армии Власова занимался агитацией против советского строя. Сказалось, вероятно, его социальное происхождение... Конечно, всё это нехорошо, можно даже сказать, это очень плохо. Но Советский Союз давно всем всё простил. Выяснилось, что по вине Сталина были допущены некоторые ошибки, вскрытые уже десять лет назад. На 20-м съезде культ личности открыто и навсегда искоренён. И всем тогда же, — на радостях, — вышла амнистия. Власовцам — тоже, в 55-м году. Особенно таким, как ваш папа. Потому что оружия он в руки не брал, а просто говорил, что советская власть ему не нравится. Что ж, теперь времена другие, за это не судят. Пишите ему — пусть возвращается домой. Глупо жить на чужбине одному, тем более что семья любит и ждёт...»

Так мы папе и писали: приезжай, ничего не бойся, нам верные люди говорят, что всё давно в прошлом, если тебя и пригласят «кой — куда», то исключительно из любознательности, дабы послушать про дела давно минувших дней.

Тот факт, что наш папа «власовец», нам абсолютно не мешал быть счастливыми. Убаюканные словами Тараса Алексеевича, мы как будто забыли, как ненавидели генерала Власова и тех, кто был с ним. Они были презираемы как предатели, изменники Родины. С нашим папой это не сочеталось, и мы рассказывали знакомым историю про то, как папа оказался в плену даже с некоторой гордостью, и, — безо всякого смущения, что он служил затем в Русской освободительной армии.

...Письма из Франции нас охлаждали. Папа очень мягко отказывался брать билет и ехать к нам. Он писал, что «собственная судьба его мало занимает, он обеспокоен только нашей, поскольку мы никакой правдивой информацией не располагаем...» Он был прав, тогда мы ещё не знали ничего.

В 1936-м году Сталин не подписал Женевскую конвенцию о пленных, в августе 1941 года издал приказ № 270, в соответствии с которым все военнопленные объявлялись изменниками и дезертирами, а их семьи репрессировались. Г. Жуков считал, что семьи военнопленных надо вообще расстреливать. Даже раненый, без сознания попавший в плен советский солдат или офицер автоматически считался преступником. Но одна только операция на Волховском фронте имела следствием сорок с лишним тысяч человек пленённых врагом, а вообще к 43-му году их набралось более пяти миллионов. Папа оказался среди них и считал своим долгом помочь молодым солдатам и офицерам связать факты и сделать выводы. Он остался учителем и в учебном центре Русской освободитель-

ной армии преподавал подлинную историю России. Он рассказывал правду о большевиках, о том, как они пришли к власти.

...Нет, он не доверял словам ласковых наших «друзей» из КГБ, и предлагал нам сначала встречу во Франции: «Вышло вам приглашения, приезжайте».

...Тарас Алексеевич огорчённо развёл руками: вот ведь как на Западе работают враги Советского Союза, вводят намеренно в заблуждение советских людей, мешают возвращению к семье.

— Вот пошлите ему эту брошюрку, тут всё сказано о преступлении и наказании, это — наш судебный Кодекс. Уж в этом случае, я думаю, невозможно не поверить. Вот на отмеченной странице, то, что касается его дела. Читайте: полная амнистия...

(Амнистия действительно существовала в 1957–1964 годах, но ко времени, о котором пишу, т.е. к 1967 году, действие её было давно прекращено, и нас намеренно обманывали). Мы, окрылённые, послали брошюрку с отмеченной страницей. В ответ папа написал, что законы в Советском Союзе, если и существуют, то только на бумаге, и никогда не исполняются. Об этом знает весь мир, только советские люди, как всегда, введены в заблуждение.

«Напомните тем, кто беседует с вами, о зверском убийстве русского Царя и его семьи. Большевики, виновные в этом, виновные также в уничтожении миллионов россиян, не имеют права судить генерала Власова и его армию. Вряд ли вы там найдёте литературу об этом, но здесь она существует. Старайтесь не идти у них на поводу, ищите подлинную историческую правду о том, что случилось. Может быть, попадут в руки книги писателя Александра Солженицына, — не пропустите».

Тарас Алексеевич, прочитав, не рассердился на папину резкость, напротив, заботливо посетовал на последствия его тяжёлой контузии. Но ему стало абсолютно ясно, что папа не приедет, во всяком случае, первым. Из Франции тем временем прибыло приглашение на имя мамы, немало погодя такое же получила я. В связи с этим, мы явились на Лубянку и в небольшом уютном особнячке я первый раз увидела Тараса Алексеевича.

На стене висел портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Из-за письменного стола навстречу поднялся благородной красоты мужчина средних лет, очень улыбочивый и радушный. Серо-голубые глаза, седая прядь ото лба в тёмных густых волосах... Мне показалось, что я вижу сцену из кинофильма.

Руки Тараса Алексеевича были раскинуты в почти родственном приветствии. Он был нам с мамой неподдельно рад.

— Что подделаешь!... Придётся ехать вам. Вы ведь — музыкант? — обратился он ко мне. — Ну, а ведь там и учиться можно. В Париже существует русская консерватория. Вы бы не возражали? Ну, и прекрасно, значит — будете студенткой в Париже.

Я не верила своим ушам: не только встреча с папой предстояла, но и учёба в Париже! Сказка! Что-то невероятное! Мысли мои неслись вскачь. Решено! Надо срочно учить язык!

Об этом я сразу сообщила папе, он был тоже счастлив и деятелен. Мы строили планы, готовились и считали дни.

...Жизнь «по совести» — это всегда только личная, индивидуальная жизнь каждого, это право свободного выбора, данное человеку Богом.

Через какое-то время маму пригласили в гостиницу «Центральная» для беседы. В гостиничном номере её встретили два незнакомых сотрудника КГБ и, уже прямым текстом, изложили всё, что они от неё хотят.

Она полетит во Францию на самолёте, билет ей будет куплен, будет жить у мужа и — работать на благо Родины. А именно, соберёт сведения обо всех друзьях и знакомых супруга, как зовут, где проживают, чем занимаются. Следующая задача: — мужа, во что бы то ни стало, надо уговорить вернуться.

— Передавать сведения будете в зашифрованном виде, ну, а остальные подробности — по ходу дела. Да, и, конечно, само собой, никому ни слова.

Мама на всё это ответила просто:

— Я шифровать не умею.

— Не беспокойтесь, научим.

Тут она им укоризненно, как несмышленным детям, попеняла:

— Как же вы мне такое предлагаете?! Мужа обмануть! Разве можно так поступать? Мы тридцать лет не виделись, а я с камнем за пазухой к нему приеду?

— Но Вы ведь, Клавдия Фёдоровна, член партии, а он — не забывайте, кто он!

— Да муж мой всегда был честным человеком, я уверена, что таким он и остался. А вы мне такое не предлагайте... Кого другого пошлите, а я шпионить не могу и не стану.

Маму тут же успокоили, мол, ничего такого в виду не имели, ей просто показалось, и вежливо распрощались.

Через какое-то время сообщили, что мою поездку тоже сочли нецелесообразной. Взялись, было, за Инну, но... вскоре в Чехословакию вошли наши войска, мир ахнул от этой новой советской наглости, зашумел, — и наша история перестала быть актуальной.

Мы больше никогда не видели импозантного Тараса Алексеевича. Папины письма без интереса пару раз повертел в руках какой-то безли-

кий субъект и распрощался с нами, сказав напоследок, что ни в какую за границу наша семья ездить не будет. Даже в Болгарию.

КАМИЛЛ

Надо выжить во тьме костоломной,
Надо выпарить соль из беды.
...Я иду по окраине темной,
Над которой не видно звезды.

Т. Бек

... Мы познакомились с ним в Коктебеле, Камилл обитал в Доме творчества советских писателей, а я приехала с мамой и дочкой в Крым отдохнуть. На писательском пляже человек в тюбетейке, в очках с очень толстыми стёклами был особенно заметен. Там, где он появлялся, раздавались взрывы хохота, это Камилл рассказывал «смешные» истории ГУЛАГа:

— ...Да, так вот, приближается день выборов в Верховный Совет. Наш лагерный начальник — председатель избирательной комиссии. И ему надо провести концерт художественной самодеятельности на избирательном участке. А как это сделать, если в округе одни собаки и «вохра»? Местное население жило ужасно, хуже, чем мы в лагере. Люди на свободе просто подыхали с голоду, им было не до веселья. Так вот, где же взять художественную самодеятельность? Вохра — она не поёт, потому что все по одному на вышках стоят, нас караулят. Им спеться невозможно. А мы, заключённые, все вместе, но интеллигенты, их же много сидело, в хоре петь не хотели. Думаю, коммунистическая партия именно за это интел-

лигенцию и не любит, она хором петь отказывается. А вот власовцы, бендеровцы, — те соглашались. Им в лагерях жилось ужасно, тяжелее, чем остальным... И ещё женщины с оккупированных территорий, депортированные немцами на работу в Германию. Их тоже много сидело. Они на чужбине привыкли петь, спасались этим, а дождались «своих», и очень многие сразу угодили в сталинские лагеря. Называли их «немецкие подстилки». Вот из этих несчастных и составлялся хор. Ну, вот — наступает день выборов. Нас ведут, собаки лают, конвой с автоматами. Пришли... Столовая вохра, переделанная на время в клуб. Маленькая такая сцена — и я объявляю:

— Начинаем наш концерт. Маяковский. Стихи о советском паспорте... Может быть, помните, это стихотворение кончается так:

Я достаю из широких штанин,
Дубликатом бесценного груза.
Читайте,
Завидуйте,
Я — гражданин Советского Союза!

И вы поверите? Такова была сила искусства, что мне, заключённому, которого водят с собаками, вохра завидовала. Я видел по их глазам... После этого объявляю:

— Песня о Сталине!!!

И хор несчастных запекает. Слов не помню, а припев там был такой:

И летит над просторами дальними
Наша песня к вершинам Кремля.
Спасибо товарищу Сталину —
Поют города и поля.

...Он обратил на меня внимание, увидев, что я не смеюсь. Вероятно, для меня он тогда произнёс слова, которые впоследствии я слышала от него часто:

— Не устаю удивляться, что жизнь, в общем, — длинна... В ней может хватить времени и для наказания порока, и для торжества добродетели.

Потом, когда мы шли, спасаясь от жары, по тенистой аллее Дома творчества, я сказала:

— Мой папа был в армии Власова. Теперь живёт во Франции. Я его никогда в жизни не видела...

— Хорошо, что не вернулся, — сказал Камилл. — Лагеря бы не вынес, да и вас всех на Колыму бы отправили.

— Нам сказали, сейчас всех простили. Можно возвращаться.

— В КГБ, что ли, сказали? — засмеялся Камилл. — Вы, надеюсь, не поверили?

...Так началась наша с Камиллом семья. Мы жили очень насыщенно, растили дочку, встречались с друзьями, которым Камилл не уставал объяснять всё то, что понял за двенадцать лет заключения и ссылки. В наш дом приходило много бывших лагерников, и маленькая Аня, оглядев очередного нового гостя, довольно громко осведомлялась:

— А он — «сидел»?

Случай Камилла был особый, его посадили мальчиком, он прошёл тринадцать тюрем и лагерей, и там вырос. Люди, арестованные в зрелом уже возрасте, успевшие что-то сделать в жизни, применяли в лагере имеющийся жизненный опыт. Камилл в лагере формировался, он был воспитан старшими товарищами, заменив им оставленных на воле детей.

Чаще всего это были люди уникальные, истинный генофонд страны, обречённый на уничтожение. Известно, например, что философ Алексей Фёдорович Лосев читал сокамерникам в Бутырской тюрьме лекции

по астрономии и философии, таким образом, преодолевая, по его словам, «победу злых сил» и «бешеную бессмыслицу» времени». Такие вот «университеты» сотворили интереснейшего человека, — Камилла Икрамова.

Может быть, под воздействием витавшего в доме дедушки Зелькина духа Льва Толстого, Камилл, по мнению всех окружающих, был внешне похож на Пьера Безухова. Во всяком случае, слова, сказанные великим писателем о своём герое, полностью ему подходили:

«...Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные, успокоительные мысли, воспоминания и представления».

Сам же Камилл любил повторять, что мировоззрение — это то, что позволяет одни факты считать случайными, а другие — закономерными.

Посаженный в шестнадцать и освобождённый почти в тридцать, он сразу поступил в институт, стал писать книги, статьи, сценарии фильмов. Он был прекрасный рассказчик, его роман «Пехотный капитан» — увлекательнейшее чтение. Вместе с тем, он везде проводил главную свою мысль: нельзя, чтобы рвалась связь времён. С человеком всё может случиться, но чтобы остаться человеком, надо помнить о тех, кто был до тебя:

«...Спасение только во внутренней критерии. Слушать себя, слушать то, что вложено в тебя, что ты впитал, находясь в атмосфере, насыщенной эманациями судеб миллионов, живших до тебя. Тогда смысл жизни не нарушен, он тот же, что был до тебя. Ты — продолжение, ты — в связи с людьми. Это — моя религиозность, моё ощущение Бога».

Почти слепой, но одержимый поисками истины, он часами высиживал в библиотеках, находил нужные книги, копался в старых газетах и журналах. Он знал всё, что касалось России до и после революции, он

знал ПРАВДУ о том, что произошло с его отцом, Акмалем Икрамовым. «Дело моего отца», — так назвал он свою главную книгу, которую писал тридцать лет, буквально до последнего дня своей жизни.

Камилл разыскивал следы матери, но ничего о ней не узнал. Вскоре после его смерти, в начале девяностых, я получила из Ташкента печатный материал. В газете «Учитель Узбекистана» от 20.01.1990 в статье Е. Рябова со ссылкой на очевидца сообщалось, что в феврале 1938 года в Ташкентской тюрьме «...Евгения Львовна Зелькина погибла во время допроса, подвешенная за связанные руки». Камилл всегда говорил, что он против мести, надо, чтобы были просто названы имена преступников. Хорошо, что он не узнал, как умерла его мать...

...А маленький привет от неё всё же до него дошёл. Однажды, в 1988 году, когда Камилл был уже тяжело болен, мы получили бандероль и письмо.

«Здравствуй, дорогой Камилл!

Пишет Вам Мария Николаевна Савина. Я племянница тётки Лизы, которая работала няней у Ваших родителей в Ташкенте. Поздравляю Вас и Вашу семью с Днём Победы, желаю всем хорошего здоровья и всего самого доброго.

Посылаю фотографии, которые хранила моя тётка Лиза. На этих фотографиях Вы, Камилл, маленький и с вами ещё какие-то дети, может, Ваши друзья.

Ещё мы с Лизой сохранили одну вещь Вашей мамы, она её хранила до 1969 года, и уже 19 лет храню я. Это панамка Вашей мамы, которую она носила.

В сентябре 1937 года Сталин вызвал к себе Вашего отца и долго продержал его в Москве, дней двадцать. Он из Москвы пытался звонить жене, но связи с Ташкентом не было...

В его отсутствие приехали из НКВД, сделали обыск и арестовали Вашу маму. Она смогла проститься с тёткой Лизой, а брат с собой ей ничего не разрешили. Во время обыска у Вас в квартире панамка валялась на полу, тётка Лиза подобрала и спрятала, чтобы её не затоптали.

Когда вернулся Ваш отец, его со слезами встретила тётка Лиза и рассказала про это несчастье. Он сразу прошёл в свой кабинет и увидел, что там были люди из НКВД. Телефон не работал, и пропало много разных вещей. После приехала машина, и хозяина увезли. А тётку Лизу сначала допрашивали, а потом приказали освободить помещение. Её спасла неграмотность, ведь она ни одного дня не ходила в школу, самоучкой научилась читать печатными буквами.

До 1936 года я не знала, что у меня есть тётка Лиза, т.к. они с мамой, которая была её сестрой, не виделись 20 лет, но знали о существовании друг друга. Об этом узнал от Лизы Ваш отец и разрешил ей поехать в Углич, на родину, на две недели, чтобы найти нас. Ваша мама отдала детское бельё и костюмчики, которые Вы носили и Вам стали малы, а брат мой 1929 года рождения, меньше Вас и ему всё подошло. Ваша мама сделала и мне подарки — свой габардиновый синий костюм, в котором ездила по командировкам, тоже послала нам. Мы его распороли, выстирали, и портниха сшила мне прекрасный костюмчик. Лиза привезла мне ещё от неё на платье отрез, блузочку вышитую. Как это всё было дорого для меня. Ведь мы выросли без отца, неграмотная мама нас одна вырастила, — пять человек детей, и всем дала среднее образование.

На войну мы с мамой провожали трех человек, двух братьев и моего мужа, за которого я только перед войной вышла замуж. Получили две похоронки. 15 мая 1945 года в Будапеште в госпитале умер от ран мой муж, брат погиб под Киевом, только один брат вернулся, а сестра — умерла. Вот и вся наша жизнь.

В блокаду мы жили в Ленинграде, с тётей Лизой. Ходили рыть укрепления, едва остались живы. После войны тётя Лиза стала очень верующей, и вряд ли есть в Ленинграде хоть одна церковь, где бы она не ставила свечек, не молилась о Вашем отце и матери, а особенно о Вашем, Камилл, здоровье. Может, поэтому ты и остался живой...

Тётя Лиза, умирая, наказывала мне панамку беречь.

Сейчас родных никого не осталось, а я больная, и потому посылаю Вам шёлковую панамку, которую носила Ваша мама. Как память сохраните её».

ПРОЗРЕНИЕ

На что дан свет человеку,
которого путь закрыт, и которого Бог
окружил мраком?

Книга Иова

...В наш сюжет Камилл включился сразу и решительно. Прежде всего, он постарался вывести нас из советских «потёмок». В долгих беседах он на простых примерах растолковывал нам, нашим родным и знакомым, подлинную историю России и то, как эта история сказалась на судьбах всех присутствующих. Кроме того, что Камилл был прекрасный рассказчик, у него ещё был врождённый талант педагога. Казалось, он одновременно пересказывает авантюрный роман и учит замороженных режимом слушателей самостоятельно мыслить.

«...Всё сразу началось с преступления. Потому что Ленин вступил с немцами в стовор. Они его снабдили деньгами для развала фронта. Не

надо говорить про Власова, предатель в этом деле один, — Владимир Ильич. Я в лагере знал Евгения Александровича Гнедина, бывшего заведующего отделом печати Наркоминдела, посажен был в 33-м. Так вот, он был сыном Парвуса, того самого немецкого банкира, который Ленину в Германии передал деньги и со всей его компанией отправил в plombированном вагоне в Россию. Судьба нашей страны была тогда решена. И большевики сразу начали убивать, у них выхода не было, потому что власть захватили бессовестным обманом. Россия была империей, значит, национальные окраины были ущемлены. Это была «ахиллесова пята» России — бесправие, незащищённость перед чиновничьим произволом национальных окраин. И, конечно, позорная «черта оседлости» еврейского населения, «десятипроцентная норма»... Реформ от царского правительства так и не дождалось. Большевики этим воспользовались, интеллигенция этих окраин, образованная молодёжь, такие, как мой отец, поверили Ленину. Фактически, это и был его главный выигрыш. И, ещё, конечно, крестьянство, которое он обманул, обещав раздать землю. Этим развалил армию, солдаты бросали оружие, возвращались к себе, чтобы не опоздать к дележу...

Когда стало ясно, что все обещания — враньё, начались восстания, мятежи. И большевикам надо было убивать. Лучше Сталина с этим никто управиться не мог. Ленин его, поначалу и выделил именно за эти качества. Другие — не справлялись. А этот — топил всё в крови, люди испытывали ужас. Так страшно это было. Настоящий дьявол.

В первую очередь он, когда пришёл к власти, уничтожил тех, кто поверил. Таких, как мой отец, а с ним была почти вся туркестанская интеллигенция. Но, как преступник, Сталин боялся мести. Значит, надо было убивать детей тех, кого он уже убил, потом свидетелей, потом просто для устрашения... Он не верил никому. Даже своей жене. Уничтожал всех.

Подозрительный, завистливый... Колдун из «Страшной мести» Гоголя. Ненавидел Ленинград за то, что там любили Кирова. Завидовал Кирову, — и того не стало. Из разговоров, опять же, лагерных, узнал, что пожар Бодаевских продовольственных складов, блокада и голод в Ленинграде, — всё не однозначно. Страна была в руках коварного убийцы-маньяка. Без преувеличения... В биографии Сталина — ограбление почтовых поездов. Он разыскивался царской полицией за убийство почтальона.

Вот кому попала в руки Россия и вот на какой основе создавались Органы, так называемой, Госбезопасности. На самом деле это были заплечных дел мастера, исполнители сумасшедшей сталинской воли. И по этому образцу Органы создавались по всей стране, то есть — «власть на местах». На организованных, сфальсифицированных судебных процессах прокурор Андрей Януарьевич Вышинский в угоду хозяину, на блатном языке — «пахану», заставлял арестованных признаваться в чудовищных преступлениях. Да, в общем, не только пытки применялись. Бывали «воздействия» и пострашней. У каждого ведь на воле оставались семьи, дети...

Только представьте. Идут кровопролитные бои за Киев, и — арестовывают мальчишку... А сколько подготовки было, и какой... Моего товарища по автокружку в Доме пионеров заставили написать донос. Будто я говорил, что мой отец не виновен. Я этот донос видел. Но главное, что НКВД, серьёзная, казалось бы, организация, занималась такими делами в то время, когда на фронте гибли миллионы наших солдат.

Да, а «власовцы», все поголовно, были мстители, у каждого была или семейная история, или своя личная. Целая армия мстителей, — страшнее для Сталина быть не могло. И — вне досягаемости... Движение это возникло сразу, в самом начале войны. Власов потом уже объединил его под своим именем, он пошёл на это, хотя знал, что жертвует собой. Сталин и

«иже с ним» лучше других понимали, что это движение — политическое. Это было продолжением борьбы с большевиками, начатой ещё Добровольческой армией в 1918 году, поэтому там было немало эмигрантов. Создать антисталинское движение на Западе помогли антифашисты, они были даже и в окружении Гитлера. Это был гениальный, по сути, план: одним махом избавиться и от фашизма, и от большевизма.

Если бы не предательство союзников, Англии и Америки, могло бы получиться. Европейский мир надеялся, что война закончится именно так. Конечно, понимали, что Власов думает только о пользе России, да он этого и не скрывал. Это была личность мощная, настоящий полководец. И, что немаловажно, — русский. Сталин знал его возможности и боялся. Но и Гитлер — тоже, он понимал, что Власову немцы будут не нужны, как только Русская Освободительная армия будет окончательно сформирована и допущена к боевым действиям. Это дело тормозили до самого конца войны.

А союзникам мешали и Гитлер, и Сталин, но третьей силы они тоже не захотели. И они предали Власова, предали Русскую освободительную армию, выдали её в руки Сталину, договорившись с ним в Ялте. Об этом своём преступлении англичане и американцы стараются забыть, архивов этих никому не открывают. И пока об этом молчат в России, пока не назовут всё своими именами, ни о какой «оттепели» и переменах нечего говорить...

Камилл стал писать письма в органы Госбезопасности, в самые, что ни на есть, высшие их инстанции и требовать, чтобы нас пустили во Францию увидеться с папой. Особенно часто он просил за маму. Сколько таких писем было получено на Лубянке, не сосчитать. Генеральным секретарём компартии в то время был Л.И. Брежнев, на его имя тоже приходили письма с нашим обратным адресом. Камилл был фигурой в об-

ществе заметной. Его статьи в центральных газетах касались самых острых сюжетов тогдашней жизни. Вероятно, поэтому с ним не могли не считаться, ему отвечали. Иногда письменно, один раз пригласили на Лубянку для того, чтобы отказать. Его нападки, видимо, достигали цели.

Однажды по телефону с ним заговорил некто, обладающий уверенным и вальяжным голосом:

— Почему Вы так себя ведёте? Публично позволяете себе в наш адрес такие обвинения. Мы делаем свою работу. С какой стати предателю доставлять удовольствие свиданием с семьёй? Он этого не заслужил.

— Я Вашей «конторе» не верю, — сказал Камилл. — Не верю, во-первых, что предатель, а во-вторых, что нельзя дать детям увидеть отца, а жене — мужа. Это нарушение прав человека.

— Вы хотите сказать, что я говорю неправду?

— Именно так. Вы посадили меня на двенадцать лет. Здоровенные мужики арестовали мальчишку, пытали, лишали сна. За что? Я вам никогда не поверю. Я знаю про Власова, в тюрьме я встречал тех, кто был в его армии. Они рассказывали правду, которую вы боитесь открыть. Народ замордовали, страну превратили в концлагерь, а на фронте СМЕРШ, те же сытые сволочи, стреляли солдатам в спину. Жена моя никогда отца не видела, тёща и старшая дочь — честные люди. За что вы над ними издеваетесь?

— Ну, знаете, — сказал голос, — с Вами трудно говорить, закончим, пожалуй. Хочу только добавить, что всё, в чём вы обвиняете нашу организацию, делали совсем другие люди, их больше нет. Доказательство тому — Ваша возможность разговаривать в таком тоне.

— Что со мной ещё можно сделать, хуже того, что вы сделали? — устало сказал Камилл. — Погублены отец, мать, пять братьев отца, погиб дедушка. Я трижды умирал в лагерях от дистрофии последней степени,

ослеп, имею один процент зрения. Живу, как говорят, «на премию». Я вас не боюсь.

Камилл потом уверял, что звонил ему тогдашний шеф КГБ — Андропов.

...Нет, никаких особых репрессий по отношению к нам не было. Можно понять собеседника Камилла, особенно если предположить, что это был сам Андропов. И тому, вероятно, обидно было в семидесятых годах слышать обвинения в содеянном его коллегами тридцать лет назад. С теми делами давно покончено, виновных наказали, культ личности вскрыли, Сталина из мавзолея убрали... Но ведь какой всё-таки неблагодарный народ! Не живётся ему спокойно. Чуть «оттепель» — и пошло. Диссиденты, правозащитники, «Доктор Живаго»... Им бы радоваться, что живы, что из лагерей вернулись на волю, но нет! Статьи, романы, стихи пишут, общественность тревожат, Запад информируют. При Сталине — не пикнули бы, думать — и то боялись бы... Честное слово, надоело уже с ними нянчиться, холодная война на дворе. Приходится вспоминать старые методы успокоения... Что касается Власова и армии его, — тут сам чёрт не разберётся. Понятно, что пленным деваться было некуда и перебежчиков было много... Положа руку на сердце, неудивительно, что такую огромную армию Власов собрал. Он бы и большую мог собрать... Стыд и позор на весь мир! Миллионы ведь ушли к врагу! Разве такое количество предателей бывает? Какая же должна быть ненависть к советской власти?! Сталин, конечно, был личность мощнейшая, равных ему нет, Гитлер в подмётки ему не годился. Союзники перед Иосифом Виссарионовичем на задних лапках стояли. Боялись. Он им в 45-ом в Ялте скомандовал: - выдать поголовно всех советских с территории Германии! И одна только Англия выдала на смерть миллион человек!

И вот весь этот кошмар достался теперь в наследство. Но можно же понять, что Госбезопасность сентиментальной быть не может, ей страну доверено охранять. Власовцы, которые уцелели, там, за рубежом, спокойно не живут. У них организации всякие антисоветские, книги выходят компрометирующего содержания и сюда проникают, а тут умники, вроде этого Икрамова... Главное, никто ведь этого Икрамова больше не трогает, отдельная квартира в столице, — всё равно не довольны! Нет, по хорошему с этим народом нельзя!

...Время, к сожалению, часто работает на преступников. Менялись времена, уходили свидетели. В семидесятых годах мир жил новыми проблемами, Вторая мировая война отходила всё дальше в прошлое. Вероятно, только сотрудники КГБ не переставали держать «руку на пульсе», читать, всё, что говорят и пишут о Русской освободительной армии на Западе. Конечно, никому, кроме них, в России не был известен текст статьи, напечатанной в парижском журнале «Часовой» в январе 1957 года. Оттого хочется поместить здесь выдержки из неё.

«10-летие убийства, выданных в Лиенце».

17 января 1947 года советские чекисты убили выданных им британским командованием возглавителей Казачьего Стана — генерала П.Н.Краснова, генерала Ф.Г. Шкуро, генерал-майора Султан-Гирея.

Когда английский комендант лагеря объявил, что завтра все офицеры будут переданы большевикам, — генерал Краснов сказал: — «Нас выдадут большевикам, но ударить в грязь лицом нельзя. Нас ждёт смерть, и её надо принять гордо и прямо, а не ползать...»

...Большевистские палачи отомстили тем, кто первые подняли оружие против них.

Мир, — и в это время вооружённый мир, — молчал и даже не протестовал символически, когда на заведомую смерть выдавали русских генералов Краснова, Власова и всех других...

Когда одного из ближайших помощников фельдмаршала Александра, военного министра Её Величества Королевы, спросили, как английский штаб мог допустить подобное предательство, он ответил: — «Советское командование дало нам честное слово, что они будут соблюдать в отношении выданных законны о пленных».

Постараемся, если Господь даст, поставить им достойный памятник в России...

(Журнал «Часовой» №372, 1957 год, Париж)

Стоит, справедливости ради, отметить, что времена в Советском Союзе действительно наступили другие, много лучше, чем сталинские. Именно поэтому папа и решил объявить себя, по крайней мере, можно было не бояться за нашу жизнь. Нас — не трогали. Правда, мою сестру Инну не поставили в очередь на телефон. И ещё не взяли на работу в институт, когда она защитила диссертацию. Человек, который с ней по этому поводу беседовал, носил фамилию Святобогов.

— Что же Ваш отец так Вас подводит? Вернулся бы. Мой вот тоже в плену был, но возвратился, три года отсидел — и всё, живёт себе спокойно. И семья довольна... А пока мы Вас на работу взять не можем.

...Трудно сказать, кто решил, на каком «уровне» и из каких соображений, но после того телефонного разговора, в 1975 году маме, в ответ на очередное ходатайство, ответили согласием. В марте того же года они с папой встретились и три месяца пробыли вместе. Это было последнее их свидание ...

ПАПИНЫ ПИСЬМА

Первая встреча —
последняя встреча,
Тихаго голоса
звуки любимые.
Старинный романс

...Двадцать лет папа присылал нам письма. Только сейчас я понимаю, как они были для нас важны. В них было много всего, он рассказывал о себе, о том, чем занят и увлечён, отвечал на наши вопросы, советовал, бывал нами недоволен, объяснял и требовал. Одним словом, папа нас воспитывал. Папа учил нас свободно мыслить. И — образовывал.

Мы получали из Франции «умные» посылки: музыкальные инструменты, кисти, холсты, краски, художественные альбомы, записи старинных романсов, сочинения русских писателей, открытки с видами и большое количество фотографий.

Последние годы папа жил в маленьком городке близ Парижа, S-te Genevieve des Bois, что в переводе на русский — «Св. Женевьева в лесах». Там находится русское кладбище, известное во всём мире, и вместе с церковью Успения место это и по сей день представляет собой кусочек России. Оно собирало, объединяло и — утешало русскую эмиграцию. Папа же старался собрать, систематизировать и сохранить следы этой огромной русской общины, вообще всю историю русских во Франции, начиная с Анны Ярославны. Он создавал музей. В него входили печатные материалы, но главное — папины рисунки на холсте и его оригинальные «скульптуры». Всё это всегда было связано историческим сюжетом и демонстрировалось на устраиваемых папой выставках.

Чаще это бывало под открытым небом у входа на русское кладбище. Посетителям вдруг являлся летописец Нестор в монашеской рясе, склонённый над рукописью, или Дмитрий Донской в шлеме и кольчуге, или Святой Владимир с высоко поднятым Крестом. Можно было увидеть Анну Ярославну, королеву Франции, бюст писателя И. С. Тургенева, пианистки Марии Башкирцевой, певицы Полины Виардо. Всё это представлялось в композиции рисунков, фотографий, подобранных текстов. Таким образом, папа реализовывал своё всегдашнее стремление к просветительству, желание во всём свидетельствовать об истинном и вечном.

Он слыл, конечно, чудачком, был одиноким и одержимым. Сажал берёзы, косил на кладбище траву, поил посетителей выставок чаем из самовара. Ухаживал за русскими могилами, мог рассказать историю каждого, кто погребён на русском кладбище. Он призывал соотечественников, попавших волею революции и войн на чужбину, писать историю русской эмиграции. Святыне русской земли, образно воссозданные папой, обращались к изгнанникам с начертанным на хоругвях призывом: «Духа не угашайте!»

Когда приехала мама, они продолжили эту работу вместе. Мама сшила Андреевский флаг и смастерила облачения для папиных скульптур, а также пекла пирожки для посетителей выставок. Это время они запечатали в трогательных письмах и фотографиях, которые присылали нам, в Россию. Самое первое фото они сделали на ходу, в большом магазине. Зашли в кабинку, прижались друг к другу, — и прислали нам многочисленные крошечные квадратики. Двое счастливых, немолодых, утверждающих собой нечто вечное и непобедимое. На обороте — надпись: «Скажите всем, что мы нашли наше потерянное счастье»...

...Мама возвратилась с надеждой, что ещё раз увидит папу, что мы тоже в скором времени сможем навестить его. Но оказалось, что эта встреча была разрешена в исключительном порядке, и в течение последующих десяти лет на все наши просьбы и папины хлопоты ответом был решительный отказ.

А письма от папы продолжали приходить. Не сосчитать, какое количество их получили и он, и мы за двадцать лет переписки! Но не всё было так просто и легко, очень часто мы не понимали друг друга, и папу это страшно огорчало, разочаровывало. Ему казалось, мы сопротивляемся его советам, не хотим понять его усилий, предпринимаемых для нашей же пользы. Горькие бывали моменты в этой переписке, и они вполне объяснимы: папа писал «с воли», а мы — «из мест лишения свободы». Не могли же мы ему в письмах обо всём рассказывать открыто, мы только намекали, ходили вокруг да около. Страх был у нас в крови, настороженность — врождённой. Не писали и о «советах», которые нам давались в стране «советов»:

— А зачем вы с ним в переписке состоите? Вам это нужно? Ну, и что, что отец? Он не один такой отец нашёлся, а умные люди знаете, как поступают в этих случаях? Отказываются, причём — публично, через газету. Вот недавно тоже, — одна семья письмо получила. Вы вот — из Франции, а они из Аргентины. Ответили туда так: «Ты нам не пиши, мы тебя знать не хотим. Можешь деньги присылать...» И вот это — разумно!

5 марта 1967 года.

Оля, родная моя, милая дочка!

Не нахожу слов, чтобы высказать, сколько радости ты дала мне своими первыми письмами. Эти два письма открыли мне тебя, — неведомую мне родную дочь. Я почувствовал наше не только кровное, но и глубокое

душевное родство, ты стала мне бесконечно близкой, как Инночка и наша мама.

Ты любишь и жалеешь меня, а это — дороже и ценнее всего! Я непрерывно думаю о вас, у меня осталась только возможность молитвы за вас, о том, чтобы вы были здоровы, были умными, хорошими людьми, чтобы душой были выше и чище нас.

...Мне больно, что у тебя несчастливо сложилась личная жизнь. Но у тебя и другое счастье — дочка, она и мне, далёкому от вас, не чужда. Я думаю, что невзгода не сломила, напротив, подняла твои душевные силы, ради дочери ты должна быть ещё более сильной духом. Не отчаивайся. Я вижу, у тебя есть самое лучшее, что может быть у человека — большая, светлая, красивая душа. Среди многих пустых и ничтожных есть немногие, кто ищет в женщине сердечность и душевную нежность, святость и внутреннюю красоту. Ты найдёшь своё настоящее счастье, создашь его...

Мне нужно высказать тебе очень многое, трудно оторваться от интимных слов. Спешу теперь написать о внешнем и не всегда приятном.

Оля, милая, помоги мне устроить ваши дела с жизненными средствами. Я понимаю и высоко ценю те мотивы, которыми вы отклоняете мои предложения. Но я хочу убедить вас в другом и, надеюсь, ты согласишься с моими доводами.

Мне одному здесь нужен минимум средств. Я 17 лет проработал геодезистом, из них уже 11 — здесь, в Париже, в одном бюро по землеустройству. Продолжаю работать и теперь, хотя бюро переместилось за 300 км, и я туда ездить не могу. Мне дана возможность работать дома и сноситься с бюро по почте и телефону.

Свои сбережения я овегествил, купил землю недалеко от Парижа (30 км) и построил домик в виде русской избушки, с садом и прудом. Для меня ценность этого приобретения была только в том, что оно удержива-

ло меня от петли. Мне одному всё это не нужно и — в тягость. Я бы хотел всё передать вам и в малой мере исполнить свой долг.

У меня теперь упорное и неуклонное намерение сделать это, и не слишком откладывать, учитывая свой возраст...

Я теперь упорно думаю о том, насколько возможен твой приезд сюда, хотя бы на некоторое время. Понимаю, что здесь немало трудностей и преград, маленькая Аня не главная среди них. Твой приезд был бы значительным в профиле твоей профессиональной деятельности.

Буду писать тебе часто, буду ждать твоих писем, с неутолимой жаждой получать их чаще, знать о вас больше.

Кончая это письмо, хочу опять сказать несколько сердечных слов: мне очень дорого, что ты с такой любовью и нежностью пишешь о маме.

Я прошу тебя передать маме, что мысленно я стою перед ней на коленях, без конца целую её руки и за себя, и за вас, наших дочерей. За то, что она свято исполнила свой долг и подвиг матери, вынесла много невзгод. За то, что никогда меня не упрекала. Берегите её, будьте дружными между собой, прощайте друг другу.

Мило и трогательно мама мне напомнила, что стала «настоящей бабушкой», а я не забыл ещё, как она была комсомолкой...

Мысленно обнимаю, целую тебя, моя родная Оля, также Инну, маму и маленьких.

28 апреля 1967 года.

Инна, родная моя, любимая!

Уже долгое время я хочу написать тебе, зная, конечно, что ты откроешь это письмо маме и Оле. Но, всё же, — оно обращено к тебе.

Теперь, когда я нашёл вас, я беспредельно рад и счастлив, всей душой и думами с вами. Теперь мне хочется ещё жить, уже для того, чтобы что-нибудь сделать для вас.

Я рад не только тому, что вы живы, здоровы, приобрели знания, квалификацию, относительно обеспечены. Я горжусь и восхищаюсь вами, тем, что вы умственно и душевно поднялись на большую высоту, в вас горит стремление к свету, добру, ко всему лучшему, что может быть в человеческой жизни.

Светлое и тёмное, высокое и низкое в человеческой жизни различают не все, а чаще — не всегда должной и истинной мерой. Ко многим людям можно отнести изречение: «Тьмы горьких истин нам дороже нас обольщающий обман».

За свою нескладную жизнь я повидал немало людей, всегда пытался разглядеть их внутренний склад, и очень многие оказывались способными лишь к тому, чтобы усваивать и затем повторять чужие мысли и слова, шли за другими.

У вас же — большая и ясная мера всего — вне и внутри. У Оли эта мера чиста и искренна, некоторые строчки её писем ко мне звучат, как трель жаворонка или щебетанье ласточки. У тебя я вижу более сильную волю, самостоятельность, уверенность и твёрдость в решениях и действиях.

Но там, где ты и Оля пишете о своих дочерях, о маме, обо мне — нахожу тёплую душевность, ласковость, чуткость и нежность. Как вы высоки и сильны душой, сколько в вас внутренней красоты, мои родные! Сколько радости вы приносите этим маме и мне.

Мне очень отраднo, что и ты, и Оля так нежно, с такой любовью говорите о маме, о том, что она сделала для вас, отдав все силы. Много сделала вам и ваша бабушка, Наталья Васильевна. Я всегда вспоминаю её с чувством благодарности и преклоняюсь перед нею. И она, и Фёдор Григорьевич, ваш дедушка, помогли маме в трудное время растить тебя и Олю. Светлая им память.

Инночка, ты права, я должен возвратиться к вам, быть с вами, поддерживать маму, помочь вам поднять Марину и Аню. Это — мой долг, я это сознаю, и я решусь на возвращение...

Пока ещё меня удерживает здесь мысль, что своим возвращением я могу причинить вам неприятность. Должен сказать тебе прямо: если при возвращении я буду привлечён к ответу, то отвечать не буду: я не виноват перед русским народом и власти этой — не признаю ... Я не хочу этим доставлять вам новые страдания.

Есть и другие обстоятельства, которые на какое-то время задержат меня здесь. Одно из них — консерватория и возможность обучения в ней Оли. Может быть, Оля сможет закончить здесь не только консерваторию, но и нечто большее. Приобрести и знания, и овладеть французским языком, лучшими формами и содержанием французского искусства, приобрести способности к самостоятельному и большому музыкальному творчеству. Может быть, по пути Оли пойдут потом Марина и Аня. Область искусства, в особенности музыкального, подходит нам более в интеллектуальном и практическом профиле.

...Но ещё я лелею мысль создать возможность для тебя приехать во Францию, и не только для того, чтобы увидеться со мною. Вместе бы мы многое здесь посмотрели, подвергли анализу и оценке. Конечно, было бы хорошо, если бы ты приехала с Мариной и Владиславом, но реально ли это? Признаться, таю мысль, что и мама приедет на какое-то время сюда.

Одним словом, вначале вы ко мне, а потом — я к вам.

...Музыка, как интеллектуальная среда и профессия, для вас, наше второе и третье поколение, — занимает меня теперь всё более. Поэтому-то я и посылаю вам цитры, дудочки, хочу и кое-что другое, новое. Думаю, что лучше специализироваться в малых формах, что даст возможность

большей свободы творчества, а значит — большой спрос и заработок. Это — не маловажно.

Всего тебе не написал, продолжу в следующем письме. Обнимаю тебя, моя милая, родная Инночка. Вместе с тобой Марину, Владислава, Олю, Аню, маму — вас всех.

Ваши письма для меня — радость, и чем они подробней, тем она ощущаемей.

27 октября 1967 года.

Мои дорогие! Вчера получил письмо от Оли и Инны, узнал, что Оля отправила заявление в русскую консерваторию. Сегодня с утра поехал в Париж, чтобы встретиться с директором. Олино заявление им получено, и он вышлет Оле уведомление, т.е. вызов, для приезда на испытание в возможно скорое время.

...Если Оля не получит визу, или вместо неё неопределённо долгое ожидание, то напрасны и не нужны уверения, что теперь всё изменилось, что я «в плену старых, давно забытых времён». Эти тёмные времена у многих в свежей памяти, и из истории их не вычеркнуть, как бы этого не хотелось тем, кто был участником и пособником кровавой недавней тирании. Приезд Оли ко мне никакой, ни партийной, ни общественной безопасности не угрожает, никакого ущерба никому не приносит, и отказ — попрание права и произвол.

...До меня полчаса езды от Парижа — электропоезд и автобус. Буду готовиться встретить Олю, как только получу телеграмму о приезде. У меня ещё нет комфорта, но зато расппевают соловьи, кукушки и другие певуны, они мне милее города. Впрочем, вблизи меня есть вилла моего сотрудника, он живёт в ней 3–4 недели в году, и в этой вилле он даёт мне комнату для Оли со всеми удобствами, включая и ванну.

Автомашины у меня нет, но есть велосипеды — простые и моторный. Недавно я купил ещё один, складывающийся, Оля будет им пользоваться.

Придумал для Оли интересную профессиональную тему: изучение колокольного звона. Колокола тысячу лет звучали на Руси, звали на помощь в беде — набат, в метели зимой помогали заблудившимся путникам найти дорогу, призывали к добру, к возвышению духа человека. Колокола умолкли теперь в России. Может быть, Оля воскресит их звон в своей музыке. В другой форме, но с тем же значением.

Обнимаю вас всех, мои дорогие, родные.

12 мая 1968 года.

Любимая, родная Клавочка!

Получил письмо с вашими фотоснимками — не наглажусь на них. Сколько бы времени ни прошло, как бы мы ни изменились, я узнал бы тебя, Клавочка, по твоим глазам, светлым и чистым, как и твоя душа...

Только неуловимый след в рисунке бровей и носа остался от милого, дорогого мне лица 5-летней Инночки, когда я оставил вас. Теперь то же лицо с чертами зрелости мысли, твёрдости воли, сдержанности чувств и душевной ясности. Чудно хороши и вольные волны волос, тепло и нежность глаз... Помнишь ли ты меня, Инночка?

Смотрю на фотографию Марины и рад, что выражением глаз она напоминает свою маму. Пусть всегда в её глазах сквозит этот луч небесного света; пусть этот луч освещает ей путь в темноте человеческой жизни, зовёт в высоту Разума и Творения!

Я надеюсь на твой приезд, Клавочка, верю, что мы встретимся. Пути для этого измышляю разные.

Некоторое время назад я начал составлять сборник, посвящённый памятным именам на русском кладбище в городе, где я обитаю. Сведения искал в журналах и газетах, издававшихся в Париже за истекшие 50 лет. Задача оказалась значительно больше, чем я предполагал вначале, но возрос и итог. Сейчас я даже затрудняюсь исчислять объём моего сборника, вероятно, будет более 300 страниц.

Я составил значительный архив из выписок, вырезок, фотокопий, выбирая наиболее значительное по вопросам русского литературоведения, критики, философии, истории, искусства, и полностью исключая беллетристику. Всё это плод работы больших русских умов за полвека истории нашего времени.

Из того, что я сделал — это наиболее значительное, мои панно и скульптуры второстепенны. Архив и рукопись сборника я хотел бы оставить тебе, Инночка, верю, что мои труды попадут в твои руки и послужат тебе в деле изучения подлинной, не ложной истории нашей России, дадут возможность мыслить самостоятельно и независимо.

Уже в своей старости я открыл и понял глубочайший смысл православных молитв, например, рождественского тропаря со словами: «...Воссия миру свет разума...». Значит, разума каждого человека, народа, истории. Всё больше накапливается документальных сведений и оснований для утверждения, что Россия имела моральное превосходство над западными странами в 19-м веке после войны 1812 года и победы над Наполеоном. После взятия Парижа было проявлено столько духовной высоты и благородства, сколько не проявлял ни один победитель во всей истории. Моральное превосходство Россия удерживала в течение всего 19-го столетия. Очень бы хотел, чтобы Инна посмотрела все источники на эту тему.

Другая тема — историософия, в частности Ключевский, Бердяев и Тейяр де Шарден. Для Инны эта тема была бы значительной. Хотел бы

увлечь её книгами Бердяева, из которых самая увлекательная, на мой взгляд — «Смысл истории», читал с упоением и восхищением. Француз Тейяр де Шарден повторяет мысли Бердяева.

Передайте привет моим дорогим сёстрам. Болею за них душой, особенно за Эммочку и Магду. Эммочка — праведница и страдальца за всех нас, мы держимся её молитвами.

Хотел бы знать о моих двоюродных братьях и сёстрах из дома Монастырёвых, со многими из них я был близок. Передайте им мой поклон и последнюю фотографию дяди Нестора Монастырёва, он был офицером царского флота, командиром подводной лодки, жил и скончался в Тунисе. Я виделся с ним, получил от него некоторые снимки и, в том числе, фото моей бедной мамы и вашей бабушки Людмилы Александровны. Посылаю его вам с моей надписью на обороте.

Скорблю о брате Мише. Меня на фронте в окружении и во время прорыва всего лишь ранило и контузило, хотя смерть косила людей кругом и вблизи. А несчастный мой брат погиб всего за несколько дней до окончания войны. Пусть бы мне досталась его участь...

Обнимаю всех. Храни вас Господь.

24 марта 1974 года.

Дорогие мои!

В феврале получил письмо от Оли и от мамы. Вложенные фотографии очень обрадовали меня. Дорого всё, и каждая чёрточка ваших лиц, каждая строчка писем, а более всего — ваше чувство сильной любви ко мне.

Радость от письма немного утоляет досаду от задержки посылки с кларнетом для Ани. Изучаю программу концерта, в котором исполнились её произведения, очень рад и горд её успехами.

Живу надеждой на приезд Инны в предстоящее лето, в этом у меня сосредоточились все помыслы и действия. Очень прошу передать Инне,

как ей следует обосновать просьбу о выезде: принять в собственность созданный мною архив-музей русского зарубежья во Франции, главной частью которого является музейная коллекция с названием «Памятники русской истории и русской культуры во Франции». Весь архив-музей может быть вывезен в Советский Союз по решению Инны. Если же Инна не приедет в нынешнем году, то создаётся необходимость ликвидации моего архива-музея. Никаких других решений я не приму, как не приму посторонних посредников и представителей.

Для нас само собой понятно, что вся наследственная собственность от меня принадлежит Инне и Оле в равной мере. Если окажется возможной и целесообразной отправка архива в Советский Союз, то следовало бы заранее найти место для его размещения. Такое место могло бы найтись в Троице-Сергиевой Лавре или при какой-либо церкви в Москве.

В обоснованиях и прошениях можно упомянуть о том, что в моём архиве содержатся, например, уникальные сведения об Анне Ярославне (дочери Ярослава Мудрого) — королеве Франции. Так же о И.С. Тургеневе, Марии Башкирцевой, Мечникове и многих, многих других. Я думаю, что у меня наиболее полные документальные сведения о русских во Франции, к тому же — систематизированные.

В продолжение зимы много сделал в подготовке нескольких выпусков с общим заглавием «Русский летописец за рубежом». Эти выпуски в виде серии могут быть изданы, и послужить к составлению и изданию другой серии — «Русская летопись». Нам довелось жить на переломе исторических эпох, быть живыми свидетелями и очевидцами событий. Мы могли бы собрать и сохранить записи и фотографии об этих событиях, чтобы ощутить их ход, последовательность, значимость.

За рубежом во Франции оказались и крупнейшие русские историки и мыслители: Лосский, Бердяев, Вышеславцев, Ильин, — признанные ав-

торитеты. В западной историософии Бердяев неопровержим, он слава и гордость русской мысли.

На кладбище в городе «Св. Женеьевы в лесах» и других местах в окрестностях Парижа, можно найти немало памятников с именами, которые составляли Серебряный век русской культуры и его часть — «Мир искусства»: Коровин, Добужинский, Сомов, Бенуа... Умственное достояние, созданное русским зарубежьем, должно быть собрано, сохранено и возвращено на Родину.

Я очень рад, что у вас горит творческий дух, и обрёл бы покой и удовлетворение, если бы смог передать вам мой архив. А мне нужно быть готовым к концу...

Обнимаю вас, мои дорогие, любимые.

В это письмо вложил фото колокольни нашей церкви, которая служит достопримечательностью не только города Ste Geneviev des Bois, но и всего парижского округа. При церкви — огромное русское кладбище, где свыше 10 тысяч русских могил. Это место признано историческим памятником Франции.

Привет и поклон моим дорогим сёстрам и всем нашим родственникам.

(«Св. Женеьева в лесах» — русский перевод названия города Сент-Женеьев-де-Буа.) ...

23 апреля 1975 года.

Дорогие, любимые!

Рады вашему благополучию. У нас тоже всё хорошо, кроме того, что мама натёрла новыми туфлями ногу. Такое с ней уже случалось во времена нашей молодости.

Она с удовольствием хозяйничает возле нашей дачи и помогает мне в работе над скульптурами. Даже находит удачным лицо Св. княгини Ольги, а похвала мамы для меня самая большая награда на свете.

Фигура Св. княгини Ольги будет из дерева, с княжеской короной на голове и большим крестом в руках. Она будет первой в ряду других скульптур: Князя Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого и последующих... Над скульптурами теперь работаем вместе. Всё хорошо, но один месяц уже прошёл... Путешествуем...

Если удастся, покажу маме кладбище русских воинов, погибших на полях Франции под городом Реймсом в 1916–1918-м годах.

Могил примерно 1000, рядом есть русская церковь и ежегодно весной совершается торжественная и печальная панихида. Есть ещё немногие живые участники экспедиционного корпуса, посланного русским Царём в 1916-м году сражаться во Франции.

События эти весьма значительны, честь и слава сражавшихся и погибших за Францию русских воинов принадлежит России и её народу. Между тем, это от него закрыто и предано забвению, как и участь остатков русского флота в Бизерте.

P.S. Интересно, что среди захоронений на этом кладбище есть могила Поликарпа Ляпичева, солдата 1-й бригады генерала Лохвицкого. Предполагаю, что он может быть моим, а значит и вашим родственником со стороны дедушки Фёдора Григорьевича.

Обнимаю вас всех и передаю слово маме.

... Мои дорогие! Всех любим и целуем, живём в полном согласии, словно не было этих тридцати четырёх лет разлуки. Всё — как прежде. К сожалению, дни летят быстро. Бываем в Париже, осмотрели Лувр, двадцать минут стояли около Моны Лизы.

Видела жизнь Парижа в разных её проявлениях. Впечатления трудно выразить словами, это надо увидеть... Конечно — соскучилась. Как там мои внученьки, Маришечек и Анёчек?

Посылаем фото: мы вместе — в цветущем саду... Крепко целуем.

Ваши папа и мама, дедушка и бабушка.

...Это письмо было прочитано нами бесчисленное количество раз и про себя, и вслух, родным, друзьям, знакомым... Весть о встрече наших дорогих родителей после долгой их разлуки. И о возможности счастья на земле, несмотря ни на какие преграды.

Часть третья: ОСМЫСЛЕНИЕ

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Да, слепы люди, низки тучи...
И где нам ведать торжества?
Залег здесь камень бел-горючий,
Растет у ног плакун-трава...

А. Блок

В 1985 году во главе страны встал Горбачёв Михаил Сергеевич. Камилл, как журналист, работал всё последнее время, можно сказать, в команде «автора» перестройки. И прямо в том же 85-м он обратился с письмом к Горбачёву с просьбой: разрешите моей жене увидеть отца. Нас выпустили из страны вдвоём на два месяца.

...Было это в сентябре, на Белорусский вокзал все приехали нас провожать. Из окна вагона я видела лица родных: мамы, Ани, Марины, Нади. И мою дорогую сестричку Инночку, которая отчаянно зарыдала, когда поезд тронулся. Ей папу увидеть было не суждено.

Мы ехали долго, за окном медленно проплывала Европа. Поезд пришёл в Париж на северный вокзал, и дорожные знакомые, симпатичные Катя и Пьер, нашедшие друг друга в немецком плену сорок лет назад, занялись нашей судьбой. Они возвращались из Киева от Катиных родных, их встретила дочь с мужем, они и повезли нас на машине к папе.

Я видела, что дорогой Катя потихоньку плакала, она знала, что моя предстоящая встреча с отцом — первая в жизни. Из нашей семейной истории глянуло на неё своё, — горькое и незабываемое.

Папа жил в доме для одиноких стариков, ему исполнилось 82 года, он почти уже ничего не видел. Мне сказали: «Пятый этаж, номер 54». Поднялись на лифте, и я — побежала, поняв, что нужная мне дверь — в конце коридора. Я двигалась, как против сильного ветра, я преодолевала течение времени. Постучала в дверь, услышала французское: «entrez!» и — вошла...

Маленький старичок в белой рубашке и при галстукe старался разглядеть меня сквозь толстые стёкла очков. Здравствуй, папа! Вот мы, наконец, и встретились. Сорок пять лет назад мы должны были увидеть друг друга. Ты взял бы меня, новорожденную, на руки, разглядывал, любовался, радовался. Был бы для меня большим, сильным, всемогущим.

Посмотри на меня теперь. Вот я — какая, вот ты — какой... И не будем плакать. Просто обнимемся, и я буду повторять это слово — «папа». Ведь это впервые в моей жизни.

...Трудная и прекрасная была эта наша первая и последняя встреча. Папа поведал всю свою горькую «одиссею» в подробностях, начиная с того момента, как попал в окружение. — Кажется, ничего ведь плохого я не сделал, а Бог меня наказал.

— Как наказал?! Ты остался жив!

— Я о том и говорю. Меня бы пристрелили тогда, если бы не этот раненый...

Он вспоминал, как с 45-го по 46-й союзники выдавали их из концлагерей на советскую сторону. Американцы — с дубинками, с автоматами, бросали людей в грузовики. Из грузовиков на дорогу хлестала кровь, люди резали себе вены. На советской стороне многих сразу на

месте расстреливали, на глазах союзников. Других отправляли в советские лагеря, и это было хуже смерти. А он, наш папа, остался жив. В который раз смерть не тронула его... Им тогда многие старались помочь, особенно — из первой эмиграции. В Штутгарте была создана подпольная типография для изготовления документов. С помощью этих же друзей он перебрался в Тунис, к дяде Нестору. Как незабываемо они встретились!

Нестор помнил сына Людмилы десятилетним кадетом, и в его памяти сохранился забавный случай. Он тогда неожиданно приехал домой, а Рося гостил у бабушки на Потылихе. Увидев дядю в офицерской форме, он сперва встал «во фронт», затем заторопился помочь ему снять шинель. Но маленький рост был помехой, и мальчик, не долго думая, вскочил на табурет. Все тогда смеялись и хвалили его...

... Они сидели в саду возле дома, с холма далеко за горизонт виделось им море. Под африканским небом тихо и грустно беседовали два русских воина, два защитника России в тяжёлых её двух войнах! И оба — отвергнуты родиной... Сколько они тогда рассказали друг другу! Конечно, вспоминали родных, Нестор узнал подробности кончины родителей, сестры Людмилы и многих, многих дорогих ему людей.

Нестор Александрович с женой помогли папе начать работать, позднее он переехал во Францию. Только надежда когда-нибудь найти семью давала ему силы жить.

...Но, несмотря на пуд соли, съеденный в родном отечестве, мы оставались людьми наивными. Как мы могли предположить, что дерзкий «зек» Камилл Икрамов и не давший себя выманить «власовец» останутся без внимания ведомства «комиссара Чугунова»? Этот «вечно живой» комиссар был тут, недалеко, под именем господина Сидорова.

Господин Сидоров появился незадолго до нашего приезда и, к слову сказать, исчез сразу, как только мы покинули Францию. Навещал он папу в наше отсутствие, и мы заставляли того сердитым, взволнованным, непохожим на себя. Такой мудрый наш папочка вдруг начал нести несутветную и непонятную околесицу, в основном наполненную неприязнью ко всему и ко всем. Он часто повторял слова «господина Сидорова», а мы мучались, не понимая, что происходит.

Конечно, папа был сильно в преклонном возрасте, нельзя было забывать контузию, а также выпавшие на его долю болезни и переживания. Но ведь буквально накануне нашего приезда мы получили от него прекрасное письмо, как всегда с разумными советами, мудрыми замечаниями. А тут вдруг:

— Господин Сидоров интересовался адресами моих знакомых на предмет сбора денег.

— Денег? Для какой цели?

— Он предлагает собрать средства для борьбы с большевизмом.

— Папа! Он сумасшедший. Откуда он взялся?

— Говорит, что сбежал из России от большевиков. Он — диссидент...

— Всё врёт. Гоните его прочь, — советовал Камилл. — Это провокация, Вы уж поверьте мне.

Но папа не верил и всё больше сердился на нас.

— Господин Сидоров считает, что с большевиками надо бороться решительно. И он прав, обвиняя вас в бездействии. Он предлагает купить пистолет. Вы возьмёте его с собой...

— Папа, — пугалась я, — опомнись, что ты такое говоришь!

Самое главное, что этого Сидорова не видел никто, он был невидимкой. Но однажды мы встретились. Я вошла в папину комнату и увидела

незнакомца: нечто белёсое, с каким-то «выстиранным» лицом. Он тут же стал прощаться.

— Обратили внимание, какое мясо во Франции? — хихикал он в дверях, — кушайте здесь, дома такого не дадут.

Пытаясь рассмотреть его, я пробормотала вслед:

— А мы, знаете, — вегетарианцы.

...Нет, не сразу удалось «господину Сидорову» свести папу с ума, лишить покоя, довести больного старика до нервного расстройства. У нас с папой было много хороших минут, совместных обедов, «возлияний» прекрасных французских вин, воспоминаний, бесед, после которых мы обнимали друг друга крепко, за всю нашу прошлую жизнь и будущую разлуку. Мы провели много времени вместе. Он показывал нам русское кладбище, рассказывая о тех, кто там похоронен. Знал он удивительно много. Запомнилось, как подвёл к могиле Лики Мизиновой и сказал:

— Вот здесь похоронена чеховская Чайка.

И дальше стал интересно рассказывать про Художественный театр...

Часто приходили друзья, много милых новых лиц, — русская диаспора. Они баловали нас поездками, прогулками и всевозможной французской экзотикой. Замечательные, «штучные» были папины соседки! Умница с неподражаемым юмором — Мария Станиславовна Кривошеева, вдова корниловского штабс-капитана, поэта, автора гимна Русской добровольческой армии. Когда заходила речь о России, она неизменно повторяла: «Была бы она Великая!»

Тогда началась и моя дружба с Ренатой Оскаровной Сильванской. Рижанка, получившая образование в классической петербургской гимназии, она говорила на прекрасном, неповторимом русском языке и сра-

зу стала для меня примером на последующие двадцать лет нашей дружбы. Она и её муж с годовалым сыном Никитой бежали в 43-м году из Риги от Советской армии. Они знали папу ещё по Тунису, и мы сразу почувствовали взаимное доверие.

...Сейчас, когда я пишу эти строки, моей Ренате идёт девяносто восьмой год, она проводит время исключительно в инвалидной коляске, но по-прежнему даёт мне уроки «хорошего тона», перенося все трудности возраста спокойно, терпеливо, достойно. «В сущности, мне не на что жаловаться», — говорит она обычно и задумчиво улыбается скачущим на подоконнике воробьям, почти единственным её собеседникам. Или вдруг, с каким-то юным, радостным оживлением восклицает:

— Подумайте только, какое счастье выпало мне в жизни, — я читала Пушкина по-русски! Хоть во мне нет ни капли русской крови. Но это в России часто бывало. Россия очаровывала иностранцев, и они не могли с ней расстаться...

В этом доме для престарелых Рената одна — русская, воробьи за окном и те — «французы». Я довольно громко читаю ей вслух русскую классику. Окружающие прислушиваются, поглядывают на нас с любопытством, стараясь понять причину молодого восторга почти столетней моей подруги, по-прежнему прекрасной во всех отношениях.

— Напишите, Оленька, когда-нибудь сказку под названием «Там русский дух, там Русью пахнет»... Но, позвольте, о чём это я? Такая сказка ведь уже написана!... Какая всё же удивительная страна — Россия!

...Папа водил нас в «Русский дом», познакомил со многими обитателями почтенного возраста. Мы сразу попали в атмосферу «светского общения». Пожилая дама в окружении двух таких же по возрасту кавалеров представилась мне без отчества: Олимпиада.

Вначале она сидела в парке на скамейке, кавалеры — по бокам. Тут мы и разговорились.

— Так Вы из России...Папа Ваш говорил, что Вы должны приехать. Я попрошу Вас об одном одолжении. Когда вернётесь, обратитесь, пожалуйста, от моего имени к Михаилу Горбачёву. Было бы любезно с его стороны организовать экскурсию в Россию для обитателей нашего дома. Ехать мы предпочитаем автобусом, самолёта никто не перенесёт. Вы думаете, это возможно?

Я дала понять, что полностью уверена в согласии Горбачёва.

— Потому, что, знаете, хотелось бы в последний раз увидеть Россию...

Молчавшие кавалеры вытащили носовые платки.

Олимпиада пригласила посмотреть её комнату. Мы шли впереди, джентльмены сопровождали. Она ответила на мой немой вопрос.

— Знаете, — сказала она доверительно, — в меня всю жизнь влюблялись. И, поверьте, до сих пор. Мне за восемьдесят, мои друзья, которых вы видите, помоложе. Но — не отходят ни на шаг. Причём — оба...

В комнате было много милых и необязательных вещей, попавших сюда вместе с ней из прожитой жизни. Я стала рассматривать фотографии на стене. На одной были сняты совсем молоденькие девушки, в форменных платьях и белых фартуках, похожие все вместе на букет.

— Это мой класс. — Сказала Олимпиада. — Я окончила женскую гимназию в Севастополе. Как раз накануне эвакуации. И больше я никого из своих подруг не видела, и не знаю, что с ними стало. Иногда мне кажется, что я тогда одна из всего класса спаслась. Не помню уже, как... Помню только море, много людей на палубе...

Я стала рассказывать что-то известное мне из истории Гражданской войны и эвакуации Севастополя, но Олимпиада остановила меня.

— Пожалуйста, не произносите этих слов: «белые» и «красные». Это так тяжело слышать. А главное, я и тех, и других жалею. Как-то покойный муж рассказал мне историю. Он был офицер, воевал у Деникина, и вот раз, не помню, где это было, они после боя вошли в освобождённое село. И там ими был пойман боец, комсомолец... Он в поле, среди колодцев прятался. Муж рассказывал, что он был молоденький, просил пощадить. А они его зарубили. Когда в себя пришли, увидели вместо человека — кровавое месиво... Муж этого до смерти забыть не мог. Молился. А теперь я молюсь и за этого мальчика, и за всех, за всех... Свечки ставлю... Это же всё были русские люди, несчастный наш народ...

Она словно ушла куда-то, горестно качая головой. Я сделала первое, что мне пришло в голову, — предложила напеть ей песню, которую любила в детстве:

Там вдали за рекой загорались огни,
В небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцов из буденовских войск
На разведку в поля поскакала.

Я пела тихо и плохо, голос дрожал. Я боялась, что вот-вот, — и разревусь самым «не светским» образом, чтобы стало, наконец, легче сердцу, которому давно уже не вмоготу носить в себе Россию...

И бесстрашно отряд поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва.
И боец молодой вдруг поник головой,
Комсомольское сердце пробито...

...Но методы «комиссара Чугунова» в родной нашей державе за долгие годы применения развились и достигли совершенства. Не просто — «к стен-

ке», как в двадцатых, а изошрённое, можно сказать, талантливое, воздействие на психику жертвы. Увы, мы недооценили «господина Сидорова».

Накануне нашего отъезда Рената Оскаровна встревожено сказала нам, что видела папу, и тот был непривычно мрачен. Она спросила о причине, и услышала нечто ужасное: ему кто-то сообщил, что дочь и зять, приехавшие из Советской России, на самом деле — подставные лица и агенты КГБ.

— Таким вашего папу я никогда не видела. Говорю ему: побойтесь Бога! И побежала искать вас. Вы знаете, это всё гораздо серьёзней, чем вы думаете.

Неизвестно, что по разработанному «там» сценарию должно было с нами произойти... А ведь и правда, интересный из всего этого мог получиться фильм! Красивые актёры сыграли бы мужественных чекистов, а вот нашу судьбу, зритель, конечно, оплакивать бы не стал.

Но всё кончилось хорошо. Мы, распрощавшись с папой, в сопровождении многочисленных друзей, не оставлявших нас ни на минуту без внимания, снова оказались на северном парижском вокзале. Мы и они, наши новые друзья, были как две России. Одна — оставалась на чужбине, ставшей им родной, другая — возвращалась к себе, на Родину, в которую, несмотря ни на что, надо было верить. Настроение у всех было молодое, мы ведь все были почти ровесники...

— Представляете, — крикнул Камилл из окна вагона, — в 45-м следователь сказал мне, что я буду сидеть всю жизнь!

Оставшиеся на перроне захохотали так, как будто ничего смешнее представить было невозможно. И Вера Дегтярёва, дочка солдата-корниловца, закричала вслед нашему поезду:

— Они — перепутали! Слышите? Они всё перепутали!

В августе 1987 года, на 85-м году жизни, папа скончался. Друзья прислали телеграмму, пустили опять только нас с Камиллом, — мы поехали на похороны. Папу отпели в церкви Успения и похоронили на Русском кладбище. Было много народа, русская речь и вовсе непохоже, что всё это происходит во Франции.

Ещё перед первой нашей поездкой папа просил, чтобы мы, если сможем, привезли горстку землю из хутора Татарское. Мы поехали в Малоярославец, оттуда добрались до нужного места. Хутора не было, на его месте рос лес. Старожил приблизительно показал место, где когда-то стоял дом и был большой сад. Там и накопили земли. Когда папу хоронили, я высыпала эту землю в его могилу. Надеюсь, он знает, что милая сердцу частичка России соединилась с ним навсегда.

На поминках мне захотелось, чтобы все запомнили, каким необыкновенным он был человеком, наш папа, и я прочитала вслух его письмо к нам. То самое, которое он написал накануне нашего приезда, перед нашей первой и единственной встречей в 1985 году.

24 мая 1985 года.

Дорогие мои! Слава Богу, приглашение получено, дело начато. Можно ожидать результат. Лучшим вариантом был бы приезд Оли и Камилла первыми, а затем, после них, — Инночкин. Трудно ожидать, что разрешат троим одновременно.

Для Оли и Камилла можно было бы запрограммировать возвращение через Марсель, Средиземное море с посещением Карфагена, Греции и далее в Одессу. Я очень бы хотел предоставить им эту возможность, и не такой уж я в этом фантазёр... Кстати, римские руины можно видеть и во Франции, а в Тунисе их больше, чем в Италии. Я много их повидал и сохранил восхищение творческим гением и железной волей Древнего Рима.

Меня тревожит упоминание Олей сердечных лекарств, прописанных доктором маме. Ей ведь пришлось пережить немало трудностей, относиться к ней с душевной лаской, утешением и ободрением.

...Очень, очень понимаю Олю в том, что она написала о посещении деревни Ловать в Калужской области. Мне скоро 82, жизнь мяла и трепала, а всё помню со светлым чувством и радостью, и весеннюю слякоть, и тёплую русскую печку в избе, и ломоть чёрного хлеба, и, кажется, всё отдал бы, чтобы ещё раз, и уже последний, побывать на убогих родных местах, увидеть их, подышать их воздухом, приникнуть к родной земле и не подниматься более...

Но приходится подавлять в себе это чувство.

Когда Оля будет собираться ехать ко мне, очень прошу взять с собой небольшую щепоть земли с поля или вашего сада, а счастьем было бы получить щепоть земли из Татарского, где мы с Клавочкой были в 36-м году.

Я храню воду из колодца Троице-Сергиевой Лавры, которую мне привезла мама десять лет назад. Вода такая же чистая, я храню её для окропления меня при положении в гроб.

Работаю теперь над темой «Пушкин. Жизнь и творчество». Одной из частей этой темы будет «Язычество и христианство в творчестве Пушкина». Вся тема подготовлена пока вчерне, «в карандаше». Может быть, ещё смогу напечатать её в журнале.

...Мне нравится стремление Инны и Оли к увеличению знаний. Но нужно не только множество знаний, но и глубина понимания, достигаемая самостоятельной мыслью. Ценны не дипломы и звания, а умственный и духовный потенциал, как бы живой родник мысли и творчества.

Не следует всю жизнь оставаться учеником, хотя и высшего класса, идти по пути других, пусть и признанных учёных, быть покорным слугой чужих указаний и требований.

Сомнение и отрицание — начало мысли. Жизнь нужно очищать и возвышать изнутри, и каждому в меру своего таланта и разумения.

Обнимаю вас всех, мои дорогие. Храни вас Господь.

СТАРИННЫЕ ФОТОГРАФИИ

Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней не надо света.

И. Анненский

...Сложными путями, в течение всей моей жизни приходили ко мне фотографии предков. Фото бабушки, Людмилы Монастырёвой, хранилось в альбоме у Нестора, вместе с ним ушло в изгнание, в Бизерту. Когда мой папа увиделся с дядей Нестором, тот отдал ему фото сестры. Маленький квадратик плотной бумаги путешествовал более тридцати лет по морям и сушам, из Чёрного моря приплыл в Африку, затем оказался во Франции, а оттуда фотография вернулась в Россию, папа прислал её нам, сделав запись на обратной стороне:

«...Памяти нашей бедной мамы. Может быть, не осталось и следа от её могилы, и лишь те же берёзы своим шумом оплакивают её прах. Но у нас — её детей — не исчезнет память о маме. До своего последнего вздо-

ха она молилась за нас и эту молитву завещала нам. ТАМ, с мамой, — отец и братья. Вечный покой им!»

Вот она передо мной сейчас, моя молоденькая бабушка, смеющиеся глаза, коса вокруг головы, женственность и очарование. Вглядываюсь в эти глаза, и, кажется, время вот-вот смилуется и отступит.

...Большинство людей, о которых пишу, обладали даром «вдохновения». Именно наполненность Духом, — одухотворение рисовало линию их судеб, диктовало поступки и создавало внешний облик. Со старых фотографий смотрят на меня лица, отмеченные высоким достоинством, благородством. И всегда передо мной образ, в котором все эти качества доведены были Богом и природой до совершенства: — лицо последнего русского Государя — Николая Александровича Романова.

РЕПАТРИАНТЫ

Рукою набожной сложила здесь отчизна
Священный прах своих сынов.

А. Фет

Об антисталинском движении во время Второй мировой войны на Западе выходят всё новые и новые книги. В России — очень мало и почти незаметно, время для этого не пришло. Слишком длинная там очередь из тех, кто ожидает торжества правды и справедливости или, как это называется, — реабилитации.

Сначала занимались «врагами народа» и «кулаками». Сейчас настала очередь Белого движения и Добровольческой армии, только совсем недавно слова «белогвардеец» и «колчаковец» перестали быть клеймом и ругательством.

Белая армия, чёрный барон,
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней.

«Чёрный барон», это, конечно, Врангель. Тот, кто сменил генерала Деникина на юге России в 20-м году. Кто сумел эвакуировать из Крыма остатки Белой армии и гражданское население, и спас, таким образом, от смерти тысячи людей.

Останки генерала Деникина недавно возвратились на Родину и перезахоронены с почестями в Москве, у стен Донского монастыря. Останки генерала Врангеля покоятся пока на чужбине. Неизвестно, где покоятся останки генералов А. П. Кутепова и Е. К. Миллера, которых органы НКВД выкрали во Франции в тридцатых годах и увезли в неизвестном направлении.

...Александр Павлович Кутепов был личностью заметной. В Галлиполи — организатор достойной и трагической страницы русского зарубежья. В эмиграции — «вождь христоролюбивого русского воинства». Он не признавал компромисса с советской властью и мешал её посягательствам на эмиграцию.

В мыслях его была только судьба несчастной России.

— Может быть, я и монархист. Но я клянусь на кресте, что до последней капли крови буду защищать республику, которая освободит Россию от большевиков и даст народу свободу.

...Где окончилась жизнь генерала Александра Павловича Кутепова? Как с ним обошлись, долго мучили или убили сразу?..

На многие вопросы ответов пока нет, о прошлых «грехах» упоминается лишь в общих чертах.

Очередь реабилитации Русской освободительной армии и её командующего — генерала А. А. Власова — надо надеяться, тоже придёт, а пока потомки воинов этой армии молча и тайно переживают своё горе. Они — виноватые без вины. О палаче и убийце Сталине и его приспешниках вспоминают спокойно, подчас — доброжелательно. А жертвы, попытавшиеся противостоять дьявольскому режиму, по-прежнему отечеством «не приняты». Ложь заменила информацию, мало кто в России знает, что власовцы носили военные знаки отличия русской дореволюционной армии, а знаменем их вначале был Андреевский флаг, а затем — российский трёхцветный. Генерал Власов как-то сказал: — «Если Русская Освободительная армия придёт в Россию, то первейшая наша обязанность объяснить народу смысл и жертвенность нашего движения...»

Книга «В угоду Сталину. Годы 1945-1946» — это воспоминания тех, кто уцелел, их свидетельство о преступлении. Вот выдержки из неё:

«...Можно много писать о том, что свершилось, но надо быть очевидцем, чтобы понять, что такое репатриация! Жертвы репатриации никем не учтены — они неисчислимы.

1-го июня 1945 года — неподдающаяся никакому описанию, кровавая, беспощадная выдача англичанами в Лиенце над Дравую казаков с семьями, детьми, женщинами, стариками.

В американской зоне зверские выдачи из лагерей — в Кемптене, Дахау, Платтлинге, Даггендорфе, Бад Айблиге, Мангайме. В Италии — в лагере Римини и других местах...

Кто может подсчитать, сколько русских жизней погибло в эти страшные дни! И это гибли люди, боровшиеся против коммунизма, жаждущие освобождения России, страдавшие за неё и для неё.

...В репатриационном лагере Платтлинг американский офицер спросил русского лейтенанта из «белой» эмиграции:

— Не стыдно ли было Вам, так долго прожившему во Франции, поступить в армию Власова и идти на стороне Германии против Советского Союза, союзника Франции?

Лейтенант ответил:

— Нет, мой колонель, мне не стыдно. Я поступил в эту армию не потому, что любил немцев и Германию, а по причине того, что для меня и моих товарищей это была единственная возможность снова сражаться с большевиками — врагами моей Родины»...

Европейский мир чтит память солдат Русской Освободительной армии.

Во французском городке Ste Genevieve des Bois, на русском кладбище стоит маленькая церковь Успения. Те, кто бывает там и ставит свечи «за упокой» на Канун, видит прилаженную за распятием небольшую памятную мраморную доску с надписью:

«Жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве и Лиенце.

Погибших — 37 генералов, 2 605 офицеров и 29 000 казаков.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ».

В Праге на кладбище поставлен крест-obelisk солдатам и офицерам РОА, весной 1945 года спасшим город от уничтожения. Тогда на танках Первой дивизии армии Власова было написано: «Смерть Гитлеру!» и «Смерть Сталину!».

Теперь на памятнике надпись: «Мы погибли за вашу и нашу Свободу».

Если освободиться от «дьявольских» чар и мыслить самостоятельно, можно понять многое. Вся трудность в том, чтобы освободиться, то есть — стать СВОБОДНЫМ.

...Мы вернулись из Франции после похорон папы в декабре 1987 года. Недели через две, днём, в дверь позвонили двое молодых, одинаково

коренастых мужчин, один вскинул руку, заученным движением показывая в горсти красную книжицу.

— Пришли послушать рассказы про Францию, не прогоните?

Проницательно глядя на нас, они шагнули в дом, а мы — отступили. Казалось бы, давно умер Сталин, автор и режиссер страшного советского спектакля, но распределение ролей не изменилось. В нашей мизансцене каждый знал своё постоянное место. Они — уверенная карательная сила, мы — подчиняющиеся этой силе жертвы.

Камилл пришёл в себя, сказал, усмехнувшись:

— Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...

НАДО ЖИТЬ ДОЛГО...

Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Наверное, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Б. Пастернак

...Стихи в моей книге не случайны, они пришли с Камиллом. Старший его лагерный друг Евгений Александрович Гнедин, заведующий отделом печати Наркомата иностранных дел, был взят чекистами в разгар рабочего дня. А через полчаса его уже топтали ногами в кабинете Берии и мочились ему в лицо.

Так вот Евгений Александрович в лагере учил Камилла всё время про себя читать стихи. Говорил, что это отгораживает от действительности, не даёт сойти с ума. Камилл любил и знал Блока, Гумилёва, Есенина, Багрицкого, Мандельштама, но более всех — Пастернака.

...Помню, в ноябре 1970 года мы жили в Доме творчества в Переделкино, и в тот день большой компанией пошли на дачу Бориса Пастернака. Выпал очень ранний и очень пушистый снег. Совсем, как в «зимних» стихах поэта. Сидели в столовой, большую часть которой занимал концертный рояль, на стенах разместились картины отца поэта. Казалось, хозяин сейчас войдёт с улицы, отряхивая снег, обрадуется гостям. Народ собрался известный, лучшие, то бишь, ругаемые властями представители советского искусства: литераторы, кинорежиссеры... Борис Пастернак для всех был и оставался в авангарде. Говорили, читали стихи, пили красное шипучее вино. Уходили поздно, я всё оборачивалась, чтобы увидеть сквозь белые хлопья дом поэта, и бормотала:

Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

Камилл шёл, о чём-то сосредоточенно думая.

— Когда его в конце пятидесятых травили публично и из страны гнали, то знаешь, с кем сравнивали?

— Нет...

— С генералом Власовым... Параллель провели, что оба они — предатели. Одного, мол, повесили, так и другого не долго... Если партия прикажет. Советских писателей организовали, ну, многие и старались. Страх очень к подлости располагает. Народ, как всегда, кричал «одобрямс!». А Хрущёв «Доктора Живаго» удосужился прочитать только,

когда его скинули. И очень огорчился, что с Пастернаком тогда распривились. Говорил, что в романе никакой крамолы не нашёл и что это его помощники в заблуждение ввели. Вот в такой смешной стране живём.

Очарование зимней ночи пропало, лес надвинулся чернотой, за стволами деревьев таилась тьма.

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет...

— Что же делать? — спросила я.

— Надо жить долго, — улыбнулся Камилл. — Другого выхода нет. Правда всегда торжествует. Но, к сожалению, всегда — потом.

...В 1989 году Камилл умер от рака печени в Германии, его пригласили туда как узника концлагеря, оперировали, но чуда не произошло. После его смерти я долго боролась за издание книги «Дело моего отца». Время было такое, что я победила, книжка вышла, но половина тиража исчезла. Мало кто в стране прочитал эту книгу, вник в её заключительные слова:

«...Только память — основа сознания, только память о прошлых наших ошибках может предостеречь от ошибок сегодняшних и завтрашних... Думаю о годах сталинских репрессий. Уверен, что очень малое число его жертв могли полагать за год или за два до этого, что навсегда исчезнут с лица земли... Им казалось, что несправедливость — справедлива.

Читатель, если у тебя есть дети и внуки, читай эту книгу как предостережение. И не думай, что судьба твоих детей сложится так же удачно, как моя.

Мне несказанно повезло: я остался жив, хотя, как и многие миллионы ни в чём не повинных людей, был обречён на смерть...»

... Он всегда обожал заниматься «молодой порослью», любил передавать молодым свой необычный жизненный опыт. Это ему самому здорово помогало жить. К счастью, под его рукой оказался хороший, благодарный материал, — дочка Аня и племянница Марина. Он учил их, что жить надо, как бежать стометровку, а главное — уметь «держаться». Надо сказать, что всё посеянное Камиллом попало на добрую почву. Девочки наши выбрали музыкальное поприще, обе окончили консерваторию, обе стали людьми образованными, трудолюбивыми и высокопрофессиональными. Марина работает музыкальным редактором на радио, Аня — композитор.

Когда наша дочь окончила Московскую консерваторию, мы с Камиллом вздохнули с облегчением. В процессе учёбы её постоянно критиковали, за, только ей присущую, манеру сочинять. Музыка её была «не ко двору», на нас глядели сурово и подозрительно, намекая, что в её «несоветских» сочинениях есть и вина родителей.

Завкафедрой композиции произносил загадочную фразу:

— Алеаторика не в русле нашей эстетики.

И клялся, что, пока он жив, дочь наша диплома не получит...

Мне хочется процитировать автобиографию, написанную Аней, правда, довольно давно. Но по сей день она абсолютно «в русле» Аниного отношения к творчеству и к себе, и даёт кое-какое представление о её «штучном» характере:

«Анна Икрамова (рожд. 1966)

Я живу на свете 25 лет, композиторский опыт составляет 19 лет. Три года назад я окончила Московскую консерваторию, в настоящее время продолжаю образование в ФольквангхохшULE г. Эссена. Увлекаюсь сочетанием звуков различной природы: естественных, электронных и т. д.

Иногда удаётся услышать свои работы в исполнении. Имею несколько публикаций. Подрабатываю преподаванием.

Отрицаю характерную ныне претензию на глобальность и некое подведение итогов, в пределах которой и мыслят многие мои заслуженные коллеги. Я бы хотела работать просто со звучащим материалом, находить ту или иную конструкцию, поскольку она мне кажется красивой, и только.

Ненавижу длинные предисловия к каждому сочинению и научные описания рабочего процесса, так как полагаю личность автора несущественной».

...Камилл хотел быть похоронен обязательно в России, и я просьбу его выполнила.

Вскоре после его смерти Аня вышла замуж за нашего друга — Вольфрама Эггелинга. С ним мы познакомились в Германии, когда, едва придя в себя после операции, Камилл стал читать лекции по русскому литературоведению. На отделениях славистики он рассказывал, как он воспринимает творчество Толстого, Достоевского и Булгакова, доказывая связь русской литературы и с настоящей историей России, и со своей собственной судьбой. Один из слушателей, славист, молодой доктор философии и стал впоследствии нашим зятем.

У Ани и Вольфрама двое детей — мальчик Матвей, или Матиас, и девочка, которой дали имя Камилла-Женя...

ЭТО «СЛАДКОЕ» СЛОВО — СВОБОДА

Сквозь темень лет и тучи стрел
Благослови меня, Россия!
Тоской отмеченный удел
Сулят дожди твои косые.

Алексей Шадринов

Начались девяностые годы... Мы остались с мамой вдвоём. Не могу точно определить, в какой стране мы с ней тогда жили. Из разговоров следовало, что в «перестроившейся». Всё время толковали, по какому пути направить Россию, некоторые горячие головы даже замахивались на монархию. «Что покушать» — то появлялось, то исчезало, но зато, в конце концов, у нас появился президент, и это уже было «как в хороших домах».

Перемены я сразу заметила, глядя на мою дорогую мамочку. С годами она становилась всё более жалостливой и плаксивой. Особенно трудно ей было в конце правления Брежнева и на всём протяжении правления Черненко. Едва завидев на экране этих старцев, она уже начинала сморкаться, а когда они открывали рот и пытались о чём-то поведать, не подымая очей от текста на бумаге, она заливалась горячими слезами:

— Господи, — приговаривала она, — трудно-то им как!

Нового президента мама воспринимала без слёз. Он был русский человек, и это являлось главным его достоинством. Такой вот богатырь из сказки, в воде не тонул, в огне не горел, и был «свой мужик» в отличие от предыдущего, положительного и не пьющего «минерального секретаря» Михаила Горбачёва.

На историю России новый президент смотрел здраво, во время партийной своей кипучей деятельности в Екатеринбурге он, своей волей, уничтожил дом Ипатьева, где летом 1918-го большевики расстреляли

царскую семью. По натуре человек он был весёлый, грустных мест, вероятно, не любил. Ему и выпало возглавить матушку-Россию. Народ был его избранию рад, носил транспаранты с призывом: «Руби, Борис!». И Борис, не раздумывая, одним махом развалил на части незыблемый, казалось, Советский Союз. Было ясно, что в этом контексте говорить о монархии просто неприлично.

Всё менялось очень спешно. Ездили по Москве на танках, грозили и пугали людей, а по телевизору в это время шёл балет «Лебединое озеро». После этого руководили страной уже не коммунисты, а демократы, причём, что это были те же самые люди. Народу показывали разные доказательства свободы, свалившейся вдруг на родное отечество. По телевизору демонстрировали церковные службы, и народ умилялся, глядя, как «власть предержащие» стоят в храме со свечками в руках. Всё выглядело вполне правдоподобно, иногда даже приходила мысль, что родная коммунистическая партия вообще всегда целиком состояла из подпольных демократов. Идеи ведь невозможно менять так же быстро, как костюмы, один снял — другой надел...

Не мешкая, демократы принялись делить между собой, как пирог, Великую Россию. Народ жил плохо и жить было страшно. Но правящих демократов народ интересовал ещё меньше, чем в то время, когда они числились коммунистами. Каждый теперь выживал и спасался сам. К счастью, народу официально вернули Бога, можно было свободно ходить в церковь и молиться. У священнослужителей работы стало много. Вопреки притче о верблюде и игольном ушке, особое рвение тут проявили вдруг люди богатые, так называемые «новые русские». Без церковного благословения они никакое дело не затевали. Иномарки, офисы, банки, игорные дома и особняки — всё сначала освящал приглашённый священник, все дружно молились, и только после этого начинался банкет.

Было даже что-то детское в том, как вели себя все без исключения общественные институты страны, делая вид, что восемьдесят лет большевистского правления их не коснулись и что всё наследовано ими прямоком из той, дореволюционной России. Но «ослиное копыто» спрятать было невозможно. Родители у всех без исключения были общие: мама — советская власть, папа — тоталитарный режим. Новая жизнь начала формироваться старыми приёмами. Всё делалось шумно, поспешно и, по советски, — напоказ. Почему-то в те времена часто всплывало в памяти слово «пугачёвщина».

Небывалого, невиданного ранее, было много. Раздавали ваучеры, это был абсолютно новый и красивый жульнический ход под названием «приватизация». Российских граждан уверяли, что эти бумажки — акции, и что они теперь, будто бы, акционеры приватизированного государственного имущества, а в это время все богатства России переходили в частные руки, а российские капиталы — в иностранные банки. (До сих пор не пойму, почему отечественные «демократы» не могли разворовать страну без этих жалких уловок, неужели — стеснялись?)

Сельское хозяйство прекратило функционировать в масштабе страны. Население сёл и деревень, те, кто ещё остался там жить, перешли на собственное обеспечение, и, забыв, как выглядят денежные знаки, поддерживали своё существование натуральным, то есть приусадебным хозяйством.

В городах народ бедствовал, особенно пенсионеры. Та Советская страна, где они когда-то жили и работали, больше не существовала, а новая демократическая Россия могучим рывком оторвалась от надоевшего родного убожества. Руководители пресловутой коммунистической партии казались теперь жалкими провинциалами. Их правительственные особняки в Крыму и на Кавказе не шли ни в какое сравнение с теми «де-

мократическими» замками, которые на украденные у народа деньги возводились во Франции на Лазурном берегу и в красивейших долинах Швейцарии.

Многие смешные анекдоты начала девяностых — на грустную «пенсионную» тему. Так, например, говорили, что врачи теперь, если пациент преклонных лет, прежде всего, спрашивают:

— А какая у Вас пенсия?

Если цифра удовлетворительная, то в ответ на жалобы советуют:

— Кушайте больше мяса.

Если сумма меньше, говорят:

— Употребляйте больше овощей.

А когда приходит рядовой «старикан» с обычной мизерной пенсионной копеечкой, его выпроваживают с напутствием:

— Вам — только чистый воздух! Гулять, гулять и гулять!

...Помню, что особенно мы не беспокоились. Когда можно было, я покупала лишний хлеб и сушила сухари. Знала, что это, и плюс запас любой крупы, умереть от голода не дадут. Почву под ногами человеку всё равно чувствовать необходимо, каждый в создавшемся положении искал своё. Многие увлеклись проблемами таинственного потустороннего мира, тем более что литературы и телевизионных передач на эту тему было предостаточно. С экранов махали руками колдуны, заговаривая болезни, привораживая любовь, удачу и деньги. В положенный час неимущая часть страны садилась к телевизорам на сеанс Кашперовского. Под тяжёлым взглядом колдуна-экстрасенса впадали в транс, крутили головами, засыпали и исцелялись от всех болезней, кроме одной: страха за завтрашний день, за судьбу детей. На них-то как раз перестройка и обрушила свой первый кнут: бандитский цинизм, жестокость и бесправие.

Юные наркоманы потерянно бродили по улицам, вокзалы и подвалы наполнили тысячи беспризорных и больных детей.

Собственно, именно дети этого поколения и стали настоящими жертвами, казалось бы, ушедшего в прошлое большевистского переворота 17-го года. Россия, как мощное дерево, подсечённое топором, падала долго. Перестройка завершила начатое в 17-м, дерево упало, живой ручеёк иссяк. На этом «обезвоженном» пространстве росло и формировалось дикийное поколение русских людей. Это были внуки советской эпохи, на них легла её тень.

Будто только теперь Россия подвела итог всему с ней происшедшему, и загнанная внутрь болезнь овладела, наконец, её бедным организмом. Диагноз был малоутешителен: вырождение человеческой морали. Запущенный большевиками механизм террора не остановился, он автоматически продолжал делить общество на две категории: палачи и жертвы. По улицам стало страшно ходить. Как в сказке, где из посеянных зубов дракона вырастали безжалостные монстры, так и бедная Россия внешне, казалось бы, избавившаяся от своих «драконов», наполнилась их наследием — бездушными, жестокими выродками. Комсомол — кончился, вместо него оказалась — пустота. Фашистская идея и символика оказались в этой ситуации привлекательны для сбитой с толку российской молодёжи. Бритоголовые молодчики вышли с ножами на улицу отстаивать «Россию для русских».

В армии это стало настоящим бедствием, её окончательно победила дикая и тупая «дедовщина». Родители боялись за своих сыновей, всеми правдами и неправдами старались уберечь, спрятать их от действительной службы, от издевательств и пыток, которые чаще всего их там ожидали. Немыслимые, запредельно жестокие происшествия в армии ужасали общество. Защитниками отечества никто больше не хотел становиться.

Сколько мальчиков-новобранцев было покалечено мучителями, сколько произошло ужасных бессмысленных смертей, сколько самоубийств!

Меня потрясла история Алексея Шадринова.

Он родился и вырос в городе Белозерске, древнем вологодском городке Русского Севера родном мне по монастырёмским корням. Я и приехала в Белозерск, отыскивая следы предков. С высокого земляного вала видно было бескрайнее, похожее на море озеро, старинного облика дома и многочисленные маковки церквей. Мощный, северной архитектуры кремль располагался широко, с большой соборной площадью посреди. Отсюда 625 лет назад двинулась защищать Святую Русь дружина белозерских князей числом в тридцать тысяч человек.

В краеведческом музее на территории кремля я купила прекрасную книгу «Белозерье», в ней нашла упоминание о Монастырёмских и на её же страницах произошла моя встреча с Алексеем Шадринным, которого уже не было в живых. О нём рассказывалось в очерке В.Н. Баракова, и там же, посмертно, были напечатаны Алёшины стихи, написанные с настоящей лермонтовской мощью. Стихи были поразительны и прекрасны, от них невозможно было оторваться.

...Он был «светловолосый, застенчивый юноша, совсем ещё мальчик, доверчивый и впечатлительный, одарённый с самого детства особым внутренним видением мира. Он погиб в армии в 1992 году, спустя день после того, как ему исполнилось 19 лет...» Подробности Алешиной смерти ужасны, лучше о них не думать, лучше просто наслаждаться его стихами, доступным ему во всей красе и силе русским языком:

Моя тропа уходит к перевалам.
День не окреп, но я уже по ней
Бреду. И лес зелёным покрывалом
Скрывает суть моих безмолвных дней...

Россия не сберегла, потеряла посланное ей Господом драгоценное чадо — подлинного поэта-языкотворца Алексея Шадринова. Он «словно птенец-подросток был подстрелен в первом своём полёте...»

Это было со мной, это вновь повторится
Не со мной, так с другим: на зелёном ковре
Обессилено мечется пёстрая птица,
Лёгкий пух поднимая, как снег в ноябре...

...Встреча с Алексеем Шадринным не была случайной. Дальний его предок «на поле Куликовом шёл бойцом переднего полка» и погиб там, как и Дмитрий Александрович Монастырёв. Это о том и другом заплакал князь Дмитрий Донской: «...бе же сии мужествени и крепки зело, яко нарочитые и славнии удальци, и яко един единого ради умре...».

Некоторые строфы стихов Алексея я взяла в качестве эпиграфов для этой книги.

...К сожалению, последний Алешин укор вряд ли слышали те, кто обманул доверие россиян, вызвавшись «перестроить» страну, кто, используя это доверие в собственных целях, безразлично вверг Россию в новый хаос и не пожалел российских детей:

Обращаюсь к вам, старые и маститые:
Оглянитесь на годы, которые пройдены.
И скажите, годов перематывая свиток,
Как берегли вы мою родину?..

РАСШУМЕЛАСЬ БЕЛАЯ БЕРЁЗА...

Ой, вы голуби, ой, вы сизые,
Вы куда летали, что видели
Мы не голуби, мы не сизые,
Мы два Ангела, два Архангела.

Духовный народный стих

Те, у кого была возможность, чаще всего всеми силами пытались покинуть пределы отечества, жаждали стать эмигрантами. Все страны и континенты годились, лишь бы вон из России, из клетки, которую, наконец, открыли. Иноземные народы дивились изворотливости и приспособляемости выходцев из постсоветского пространства. Вначале дивились, а после — испугались. От эмигрантов первой и эмигрантов второй волны, изгоев, тосковавших по единственной своей России, эти «новые» чаще всего отличались редкостным, отчаянным авантюризмом. Им нечего было терять.

Когда произносят — «Россия» — то в основном имеется в виду Москва — уже не город, а целое государство, но вовсе не глубинные российские просторы. А «глубинка» — она и есть подлинная, непередаваемая Россия. Конечно, тамошние проблемы, как говорят, не для слабонервных. Как бы ни были смехотворны отечественные пенсии и зарплаты, но в глубинку даже эти копейки доходят не регулярно. Как люди выживают — представить трудно, если не помнить, что в крайних случаях на помощь человеку приходит Бог ...

...Летом, в конце восьмидесятых, бродила я по дальним русским закоулкам неописуемой красоты. Во Владимирскую область отправилась

«за песнями» фольклорная экспедиция Московской консерватории. Несколько студентов, среди которых была моя дочь, — и я.

Мы попали в полное безлюдье, где песни, на первый взгляд, петь было больше некому. Но первый взгляд оказался поспешным. И тут кстати будет анекдот тех лет.

Перед зарубежными гостями, во время застолья, оратор превозносит необычайные качества русского народа:

— Всё вынес на своих плечах наш народ: революцию, Гражданскую войну, коллективизацию, Отечественную войну, мирное строительство и теперь взялся за перестройку...

В ответ один изумлённый гость спрашивает:

— А дустом вы его не пробовали?

Дустом назывался ядовитый порошок, от воздействия которого насекомые-вредители погибали тотчас. Мы попали в то время, когда, действительно, всё было сделано для того, чтобы деревни опустели. Исхаживая день за днём десятки километров, «прочёсывали» мы песенный когда-то край. Избы стояли, деревни ещё сохраняли свой привычный вид, а вот жителей не было. Молодых и среднего возраста — не было совсем. Две-три одиноких старушки на всю деревню, от силы — пять, а иногда — одна. Мужчины исчезли давно.

На опыте советской власти стало ясно, что эта половина человечества вообще довольно не крепкая. Немыслимых испытаний, в отличие от женщин, советские мужчины не выносили, — умирали, кто от чего. Главной же причиной, в основном, было чудовищное российское пьянство. По стране в то время продолжительность мужской жизни была шестьдесят лет, — такова статистика. А в деревнях и считать было некого... За всё время встретился нам старый Серёжа-пастух. Думали, запишем, как он играет на пастушьем рожке, но увидели, что у Серёжи нет обеих рук, та-

ким пришёл с войны. А все-таки кнутом на малюсенькое деревенское стадо щёлкал он грозно, как стрелял. Старушки-жительницы «эксклюзив» свой берегли, по-молодому тормозили его, подшучивали и угощали. Жилось ему приятно.

Нас повсюду встречали без удивления и суетливой заинтересованности. Достойное спокойствие разлилось по российским деревням и сёлам, то, которое всегда приходит на смену отчаянию и безнадёжности.

...Маленькую босоногую старушку, бабушку Александру, мы оторвали от работы, она ворошила сено возле избы.

— О, Господи, то иконы собирали, а то, вишь, песни. И охота вам? Это уж брошено давно, из-под ног подымаете. Вам старинные нужны, а старина-то позабылась. Да кому тут петь, гляньте, избы-то почитай все пустые.

Она говорила и делала, что нужно. Провела в дом, усадила, поставила банку молока, стаканы.

— Хлеба у меня только нет. Пейте так. А как у вас спеть... я и на голос не наведу. Матрёну бы позвать, да у неё руку-ногу отшибло. Старушки тут все примерли... А раньше-то гармонист был, гуляли-то... Мужёв взяли на фронт, а мы в лугах-то поём да ревём:

Московска дорожка была славна широка
По этой дороженьке никто не шёл, не гулял.
Эх, прошёл да прошёл полк солдат,
Полк солдат, нежонатых всё ребят...
Ох, дура старая! Ить без году девять десятков!

Бабушка Александра пригорюнилась, глядя в окно, и словно забыла про нас. Немного погодя, будто для себя, она продолжила:

Полк солдат, нежонатых робят...
Недошомши до новой деревни

Становились они в ёлках отдыхать.
Эх, расшумелась белая берёза
Во глухую она тёмную ночь...
Расшумелась она не от ветра,
От рекрутских горьких слёз...

Нету мужиков-то. Кого убили, кто, прищомши, от ран помер. Одне мы остались... Боле я вам петь не стану. Мне грех будет, ведь я старуха. Одного сынка убили, а другой-то в войну небольшой остался, а уж на другой год дали ему лошадёнку кряжи из лесу возить. Вот и застудил ножку. Вступило и вступило...

Казалось, что бессердечно будить в этих людях воспоминания, но каждый их рассказ можно было сравнить с библейской притчей.

Очередная деревня на нашем пути в смысле обитателей была не счастливей предыдущих. Если бы не высокая трава под самые окна и висячие замки на дверях, избы казались бы даже обитаемыми. Окна закрывали узорчатые занавески, между рамами ещё краснели сухие кисти рябины. Из одного окна глянул, похожий на голого младенца, пупс. В детстве у меня был такой же, значит, мы были ровесниками. Пупс улыбался, глядя на меня, и я задержалась, почувствовав сострадание к одинокой старой игрушке.

Начинался летний дождик, молодые мои попутчики побежали прятаться под навес колодца. Тут я и заметила, что у избы напротив сидит на скамейке старуха, одетая не по-летнему тепло, в тулупе и валенках. Дождик припустил веселее, я подошла, поздоровалась, предложила помочь ей зайти в дом.

— С воли не пойду, — сказала она, — дошш скоро кончится, а солнышко высушит. Я ить всю зиму в избе, выгить не могу, ноги не слушаются. А лето — мой день. Дышу не надышусь.

— Как же Вы здесь одна? Никого кругом.

— Люди есть. Не видать, а есть. Дачники на том краю живут, оне за мной смотрят.

— А зимой?

— Зимой, конечно, тут никого. Да машина хлеб мимо каждый день возит, шофёр заходит проведать. Я и с хлебушком, и с разговором...

— Надо, чтобы Вас в город, в дом престарелых оформили. Хотите, я могу написать...

Руки старушки, большие, наработанные, с толстыми, словно от другого тела взятыми пальцами, опирались на палку. Ею она и ткнула передо мной твёрдо в землю.

— Я, девка, в своём дому помереть хочу. Тут ведь вся жизнь прошла щасливая моя. Сама подумай, до таких моих годов меня никто не напужал, не съел! А каки страшные времена-то были! Хлеба мы не видали, одну картошку ели, и то не досыти. А щас — чем мне не жизнь, лежу себе, как барыня, а хлебушек на столе... Ты вот сядь-ко около, дождя не бойся. Послушай, что расскажу. Сижу я вот так, как сейчас, и подходит ко мне мужчина городской, костюм в полоску, при галстукке. Начальник, по всему видать. Поздоровались, он спрашивает: у вас тут, бабушка, церква есть? Откуда ей тут быть, отвечаю. Её ишшо когда сломали! Ты в город поезжай, там найдёшь. Мне, говорит, бабушка, священник нужон такой, который бы сыночка мово окрестил. Больно, говорю, далеко ты заехал, это каждый священник тебе сделает. Нет, отвечает, бабушка, потому что сыночек-то мой помер. Мне мёртвого окрестить надо...

Дождик перестал, июльское солнце опять принялось жарить вовсю, но на меня пахнуло холодом, я поёжилась, а старушка, внимательно глянув мне в глаза, продолжила.

— Вот и рассказал он мне жисть свою. Был он большой начальник, всё у его было, и квартера богатая, и машина. Санаторий — какой хочешь. Женатый, конечно, и сынок — умён да пригож. Был сынок двенадцати годков, да вдруг заболел и помер. Горе, не приведи Бог никому. Ну, плакали оне с женой, да куды ж денешься, — Его Святая Воля! Надоть всё равно жить, ещё не старые. Только видит он, начальник этот, сон. Будто садик, зелёный такой, травка — шёлковая, цветочки повсюду и солнышко ласковое греет. И будто в садике том детки играют, много их, все весёлые. Стал он сына своего меж ими искать, да не нашёл. Глядит — дом неподалёку. И такой неприветливый с виду! Он туда зашёл, комнат много, все тёмные да пустые. Глядь, в одном уголку мальчик сидит, сжался весь. Он сыночка свою узнал: что ж ты, дитятко моё, на солнышко к деткам не идёшь? А сыночек в ответ: папка, говорит, меня туда не пускают. Тут и вспомнил начальник, что сына-то он не окрестил. Да и кончилась на том хорошая его жизнь, бросил он работу свою, и пошёл искать покою душе своей. А успокоить его никто и не может... Так-то, девка, от Господа нигде не спрячешься. А ты говоришь, я тут одна...

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

Мы не дрогнем в бою за отчизну свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной обороны стальной
Разгромим, уничтожим врага!..

Марш защитников Москвы

Дальним предком Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн, с которой я познакомилась в Бизерте, был генерал Христофор

Герман Манштейн (1711 — 1757). Он принимал участие в крымской и прочих русских войнах того времени, и оставил драгоценные «Записки о России». Книгу эту я увидела в доме Анастасии Александровны, когда навещала её в Бизерте, и имела возможность убедиться, что написана она необычайно умно, пронизательно и полезна именно для сегодняшней России. В частности, Христофор Герман отмечал в ней, что русский солдат — явление уникальное, так как выносит с необычайной стойкостью тяготы походной военной жизни, а дезертирство в русской армии — вещь вовсе неизвестная.

Не один Христофор Герман заметил, что русский солдат — особенный, на солдат других армий не похожий. Лучшие страницы отечественной литературы — о том же, и без «гордых» слёз этих страниц не прочесть... М. Лермонтов и Л. Толстой воспели отвагу и душевное благородство русского солдата, не сдавшего в сражениях «живота» своего «За Веру, Царя и Отечество».

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы...

...Сосед мой, старый фронтовик Сергей Дмитриевич, спросил меня в 91-м:

— Ну, как там дочь-то? По-немецки уже говорит?

Я ответила, что — да, начинает. Внук ещё мал, ей трудно приходится, но муж хороший, помогает.

— Да, — сказал Сергей Дмитриевич, — я в Германии бывал, и в Венгрии... Порядок европейский представляю. Я ведь в восемнадцать лет на фронт пошёл и всю войну в пехоте, в окопах и мок, и замерзал. Теперь вот ноги у меня... Совсем ходить не могу. Прошу, как инвалид, машину, а никто не реагирует. Куда только не писал. Говорю, дайте хоть какую,

вы ж только на иномарках ездите, а мне пусть нашу, пусть даже в рас-срочку. Пока живы со старухой, сколько сможем — выплачивать будем.

Он оглянулся, нет ли кого рядом, и почти шёпотом спросил:

— Говорят, будто в Германии все ветераны войны пенсии большие имеют, машины им бесплатно выдают. Не слыхала про такое? Вот тебе и побеждённые...

— Давай напишем письмо в Германию, — предложила я, — а дочка переведёт и передаст в нужную инстанцию. Они наверняка откликнутся, будет тогда и у тебя машина.

Сергей Дмитриевич на какое-то мгновение замер, представляя, вероятно, процесс предложенного мной мероприятия, и заговорил горячо:

— Нет, что ты! Это — нельзя, это ж стыд какой! Это ведь — Россию позорить, а мы её защищали... Время, конечно, такое настало, ничему цены нет. Я уж и медали надевать боюсь. Как-то шёл с планками на пиджаке, подходят молодые, совсем, считай, внуки мне. Ты, говорят, отец, спрятал бы лучше планки свои. Теперь твои награды не в моде. Я им ответил: товарищи мои на фронте не для моды гибли, а чтобы вы в своей стране жили. А они: «Мы вас не просили такую страну защищать, это вы тут жили, как жуки навозные, а мы так не хотим». Вот тебе и поговорили! А всё же у немцев помощи просить — это последнее дело.

Мы сидели в саду, на моём дачном участке, Сергей Дмитриевич жил недалёко и захаживал поговорить или предложить посильную помощь. Передвигался он с трудом, держась за руль велосипеда, так что хоть какие-то колёса его поддерживали.

Погода стояла замечательная, душистая и тёплая. Июнь вступил в последнюю декаду, было 22-е число, пятьдесят лет назад в этот день началась Великая Отечественная война. Сергей Дмитриевич и зашёл в связи с этим днём. В свежей рубашке с галстуком, он сидел на скамейке совсем расстроенный, со слезами на глазах.

Я постаралась переменить тему:

— Мы сейчас немножко отметим, у меня водка хорошая есть, огурчики малосольные... И мы — по лафитничку. И за погибших, и за живых.

Первую, поминальную, мы с ним выпили, не чокаясь. Водка помогла, к гостю моему вернулось настроение, которое соответствовало праздничной рубашке и галстуку.

— Я в октябре 41-го родилась, немцы уже под Москвой стояли, — сказала я.

— В это время, считай, и я туда попал. 20-я Армия как раз формировалась, из кого — смех сказать. Мальчишки вроде меня да ополченцы. А с них что взять — пожилые да учителя разные! Настоящих-то солдат раз-два и обчёлся. Но обучили быстро всех, и ничего, ещё как воевали! Отстояли Москву.

— А кто командовал 20-й армией?

— Не помню уже... Пятьдесят лет прошло.

Небо казалось синей твердью, полуденный час, нагретый солнцем, подошёл беззвучно. Тишину словами нарушать не хотелось.

...Давай, дорогой Сергей Дмитриевич, хотя бы без слов вспомним твоего командующего, с которым отстояли вы тогда Москву. Вспомним его в этот день, потому что больше в этой стране помянуть его некому. А страна эта — его родная отчизна, он любил её и кровь за неё проливал.

Был он крестьянский сын, как и ты, рождён в деревне. Поначалу отдали его в духовную семинарию, но доучиться ему не пришлось — революция, Гражданская война — и он в рядах Красной Армии. Своей ли волей? Кто знает, в то время воли своей у людей уже не было. Там и проявились в нём большие способности к военному делу. Не сразу допустили бывшего семинариста да ещё сына кулака в советскую военную академию, но в ту пору там обучали ещё командиры старого закала, они оценили его талант. Выучился он и стал красным командиром, служил на

славу и перед самой войной создал легендарно обученную и непревзойдённую в испытательных учениях 99-ю стрелковую дивизию. За это присвоили ему звание генерал — лейтенанта.

Те же самые методы обучения применил он, когда назначили его командующим 20-й армией. И вот из разношёрстной массы невоенных людей, из «зелёных» мальчишек, каким был ты, талантом военачальника, человеческими своими качествами, за которые солдаты его любили, создал он быстро мобильную, слаженно действующую армию, бившуюся за Москву в ноябре 1941-го. Контратаки эта армия наносила быстро и точно. Повезло тебе, Сергей Дмитриевич, что ты сразу попал в армию генерала Андрея Андреевича Власова. Все газеты прославляли в то время его военную отвагу и талант полководца. Он и тебя выучил воевать, оттого, может, и повезло тебе на фронте...

Ты ведь знаешь, что победа под Москвой не переломила хода войны, Красная Армия всё равно отступала, пропуская врага вглубь страны, она была обескровлена довоенными репрессиями, плохой подготовкой, тупыми и жестокими политруками.

История — слишком объёмное слово, за ним могут стоять память и забвение, истина и ложь. На врага Русь всегда поднимала Святая Православная церковь. Это факт нашей истории, начиная с 1У века, с поля Куликова. Дмитрия Донского: «...благослови Крестом и окропи священной водою Преподобный Сергей и рече ему: «Господь Бог будит ти Помощник и Заступник и низложит супостаты твоя и прославит тя». Когда в 1812 году войска Наполеона вторглись в Россию, митрополит Платон (Левшин) послал императору Александру Первому образ Сергия Радонежского и предсказал победу над врагом.

Война 1941 года — другой факт нашей истории. «Коричневая чума» напала на страну, уже оккупированную «красной чумой». Русский на-

род был в руках большевиков, в руках губителей и гонителей. Нравственное его состояние держалось на страхе арестов, расстрелов, лагерей, а сталинские лагеря были подчас страшнее гитлеровских. Имена Суворова, Кутузова были выброшены из истории, их больше не упоминали, они были «элементами самодержавия». Попрание святынь, надругательство над Православной церковью, глумление над русской историей — такова была судьба России к 1941 году.

И потому война началась с повального отступления, несмотря на «наркомовские 100 грамм». Водка воевать не помогала. Было массовое дезертирство и повальная сдача в плен. На стороне врага оказались миллионы пленных советских бойцов. Тебе, фронтовику, и тогда ведь было понятно, что они не преступники, что на их месте мог оказаться каждый! Но по всему фронту НКВД сформировал заградительные отряды, и они должны были стрелять в «дезертиров». Вместо полковых священников и походных церквей, как было принято в русской армии со времён Петра Первого, вместо церковного благословения — отряды под страшным названием СМЕРШ. Их трибуналы расстреляли за годы войны около сорока тысяч военнослужащих, и это не считая рядовых. Тех без всяких судебных волокит расстреливали на месте. Через весь этот ужас русская армия должна была пройти и победить. Не страх перед СМЕРШем привёл к победе над Гитлером, а единственно верный выбор русского сердца: — «коричневая чума» была опасностью извне, а предки завещали беречь Святую Русь от чужеземца. Советскую власть народ не простил, но Россия была не виновата. Её берегли, надеясь, что победа над Гитлером изменит и жизнь в России.

Русский народ победил...

Из советской информации ты знаешь о Русской освободительной армии генерала Власова. Но в том-то вся беда, что никакой информации

у тебя, бедняги, нет. Ты сбит с толку, как и весь несчастный наш народ. Мы вот имя его вслух помянуть боимся, а если бы наши корни не были перебиты, то о русском воине Андрее народ бы песню сложил, за то, что задумал он спасти нашу Россию от врага и внешнего, и внутреннего. Ему это было по плечу, потому что был он — богатырь. И на чужой стороне, где оказался по судьбе, а не по своей воле, собрал он несметное русское войско из солдат, оказавшихся там же. Генерал знал свои силы, знал, что в бою осилит и фашистов, и большевиков. И если бы дошло до боя... Но богатырей побеждают не в бою, а предательством.

Суда над ним не было. Генералу предложили сохранить жизнь, если он публично признает себя изменником, и не будет упоминать имени Сталина. Но Власов отказался, сказал, что Родине своей он никогда не изменял, а о преступлениях Сталина на суде скажет. И открытый процесс палачам пришлось отменить, генерала казнили. Сказать тебе, как? Замучив самыми страшными пытками, подвесили за ребро на железный крюк.

Вот тебе и весь сказ, дорогой мой пехотинец Сергей Дмитриевич. Видно, правду о войне народ наш так и будет узнавать из советских кинофильмов, а мы с тобой не доживём до того времени, когда в России страх перед Богом и совестью станет сильнее страха перед несправедливой властью.

Знаешь, не беда, что сытые чиновники гонят тебя из кабинетов, что молодые «отморозки», выросшие среди лжи и обмана, плюют на твои боевые награды. Главное, ты вернулся с войны живой, судьба пощадила тебя и от пули, и от плена, который страшнее пули. Давай, солдат, помянем твоего первого генерала добрым словом за то, хотя бы, что не отдавал он приказов: «Людей — не жалеть!»... И пусть он простит нас.

...Какая-то птица настойчивым криком вернула нас из нашего молчания в июньский день, на скамейку под густой листвой, к нашему застолью.

— Давай ещё одну на помин души... — предложил Сергей Дмитриевич, как и я, оторвавшись от каких-то своих мыслей.

Он налил мне и себе, каждый из нас, взяв стопку, не вслух произнёс имена поминаемых:

— Ну, Царствие Небесное... Светлая память!

И мы опять выпили, не чокаясь, каждый за своё, а, впрочем, вероятно, за одно и то же...

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ — НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал.

О. Мандельштам.

...А по стране шла потеха, предоставленная народу в качестве отвлекающего момента: в поте лица валили памятники. Как-то даже, объявив очередной путч, палили вовсю из пушек по отечественному Белому дому. Дело было не шуточным, из белого правительственный чертог превратился в чёрный, но, Слава Богу, все помирились и сделали ремонт.

Ещё в конце 80-х я стала членом московской писательской организации по секции драматургов. По моим сценариям о детях было снято пять фильмов, писала я рассказы, повести, очерки и, хоть не особенно часто, печаталась в разных периодических изданиях. И теперь, в 1991-м, работала в газете внештатным сотрудником, ездила в командировки. В Вологодской, Ярославской, Владимирской областях я, если удавалось, набираюсь оптимизма и уверенности, что страна моя, вынесшая много лиха,

как-нибудь одолеет и перестройку. Мне кажется, что написанное более десяти лет назад, увы, мало устарело. В этом можно убедиться.

В начале девяностых эта моя статья не была напечатана в России, оттого считаю возможным здесь привести её текст под названием —

«Надежды мои чисто мистические...»

«...Официальная Россия поражает теперь полным отсутствием государственных умов. Да, правду сказать, откуда им быть?»

В 1906 году так высказался писатель В.Г. Короленко. Думаю, сегодняшние россияне полностью с его высказыванием согласны. Цитату можно продолжить:

«...Долгая практика вытравила в бюрократической среде и независимость, и самостоятельную мысль, и воодушевление».

И, опять же, нам ни добавить, ни возразить...

Только как же без воодушевления? Без него не выдержать, не выжить. Воодушевление, то есть наполнение жизни душой, — как без этого нынче народу, брошенному на произвол судьбы, устроенной свыше перестройкой?

Каждый день то с ужасом, то с малой надеждой вглядываешься в лица сограждан. Вот женщина в чёрном платке просовывает в окошечко сберкнижку.

— Куда без очереди? — шумят на неё.

— Я ж с костылём, миленькие!

— А нам на работу! С костылём она... Подождёшь!

— Смерть не подождала, миленькие. Муж помер, мне на похороны деньги взять...

Очередь притихла, зато негодует контролёр:

— Вы чью это мне сберкнижку суёте?

— Мужнина...

— Завещания нет — деньги не выдам.

— Миленькая! Дайте хоть сколько-нибудь! Не на что хоронить. Под балкон же я его не выброшу!

— Нет, вы слышали?! Дайте ей! Через полгода приходите — по закону всё получите.

— Через полгода, Бог даст, миленькая, я сама к нему уйду. Мне теперь хоронить не на что...

И руку из окошечка всё не убирает, всё надеется. А вокруг все уже сердятся:

— Товарищи! Порядок будет или нет?

...А мы давно уже не товарищи, мы — господа, так нас величают по новой моде. Мы -господа с полным джентльменским набором, у нас — Президент, мэр, префект, инвестиция, приватизация, либерализация и... Но самое главное слово нынче — малоимущие. Это те, с кем каждый день езжу в транспорте, кому звоню по телефону и зову в гости: врачи, инженеры, учителя, рабочие, медсёстры, поэты, служащие... А «многоимущие», это — которые? Бог весть! Вспоминается почему-то сытая и довольная собака, реклама фирмы «Алиса», про остальных же, как советовал гоголевский сумасшедший, «молчание, молчание...». Ясно одно: у них — своя компания.

Но и у нас, малоимущих, интересного в жизни немало. Чего только нам не обещано в недалёком будущем. Наше жалкое имущество станет окончательно и бесповоротно — собственностью. Грядёт приватизация. Само собой, проживание в блочных хоромах с неисправной сантехникой будет облагаться налогом, но понятие «частная собственность» согревает душу. Потом — «отпустят» цены, хотя всем, кто ходит в магазины, кажется, что их уже давно «отпустили». Следовательно, продукты питания бу-

дут стоять ещё дороже. Плюс к тому, нам обещан голод и, может быть, гражданская война. Как говорят в народе — «не слабо».

Но вот уж за что действительно большое спасибо, так это за то, что веры в нас, малоимущих, не теряют и очень надеются, что выдюжим, и станем дальше шагать по пути реформ. А что? Очень может быть! Тем более, при наличии гуманитарной помощи. Интересно, кто это слово выдумал? И какая ещё помощь бывает, корыстная, что ли?

...Ещё в 1911 году философ В. Розанов сказал, как припечатал:

«В России вся собственность выросла из «выпросил», или «подарил», или «обобрал»...

Правда, наша русская философия, как тем же Розановым подмечено, это философия «выпоротого» человека. Мы же, хоть и малоимущие, твёрдо решили, что подобных действий над собой больше не допустим. Не дадимся!

Мы приветствуем, несмотря ни на что, новую жизнь, надеемся и ведем горячие разговоры о будущем. Ведь по русскому устному у всех россиян — пять с плюсом. Ну, вот для примера:

...Слыхали, американцы в Подмоскowie два гектара под офис купили. Смехота! Огляделись — а дороги-то! Мать честная, как же к этому офису потом подъезжать, на тракторе, что ли? Решили все дороги в округе отремонтировать. Наши, не будь дураки, им тут же говорят: «Может, школу заодно почините? Она как раз у дороги стоит, и по причине её аварийного состояния детям учиться негде». Ну, американцам деваться некуда, ладно, говорят, починим и школу. Наши им опять: «А вторую не прихватите? Она чуток на отшибе, но тоже, того гляди, обвалится». Американцы опять кивают, о-кей, значит, давайте и вторую. А наши не унижаются: «А вот ещё больница совсем развалилась, больницу-то сам Бог велел»... Смехота!

...А слышали, через год обещали контакт с инопланетянами? Те, вообще-то, похитрей американцев будут, особенно не торопятся, с тарелочек нас изучают. Небось, тоже выгоду прикидывают, с карандашиком сидят.

...А на заводе, где Колька директор... Ну да, наш Колька! Конечно, живой! Жив, что ему делается, в Америку уже три раза съездил... Завод у него, правда, совсем останавливается, теперь вся надежда только на японцев. Уже приезжали, осмотрели, поулыбались... Японец — он хозяйственный!

...Слыхали, у Сергеича сын в Германию эмигрировал? По еврейской линии... Кто? Сергеич?! Не-ет, он не еврей, супруга его — тем более, а сынок у них очень оборотистый получился! Купил на Рижском рынке документы будто бы он — еврейского происхождения. Немцы как раз сейчас очень переживают из-за холокоста, совесть их заела, что в войну такое вытворяли. Короче, зовут евреев жить в Германию. Ну, Сергеичев парнишка подсуетился и махнул вместе с женой. Мать уж в гостях у них побывала. Приехала — не нахвалится. Всего, говорит, бесплатно им натащили: и холодильник, и телевизор, и одежды всякой... Языкам учат, на экскурсии возят, и всё — «за так!» Рассказывала, что немцы — до того простые, до того дурные, ну, смехота! Напротив дома, где сын живёт, целое поле капусты, и никто не охраняет! Я, говорит, качнов хороших на-таскала, нашинковала и заквасила целый бачок.

Такие вот разговоры. Такие нравы.

...Напротив огромного здания КГБ, в стенах которого в советские времена пытали детей, в 1958 году поставлен был памятник организатору и вдохновителю советской госбезопасности Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Поставили его на месте большого старинного фонтана, украшенного бронзовыми фигурами скульптора Витали. В 90-ые перестроеч-

ные годы от памятника остался не слишком эстетично смотрящийся круглый гранитный постамент. Казалось бы, как тут не радоваться! А между тем постамент этот, лишённый, в прямом смысле, железного Феликса, отчего-то леденит душу. Это уже было в России, это мы «проходили»... Вспоминается революция, 18-ый год... Тогда тоже освобождали памятники под памятники новым вождям. А ну, как и сейчас поставят кого-нибудь нового «несгибаемого»?

Разрушение — это всегда страшно. Страшно, что развалилась империя, честно признаюсь. С ней и в ней прожита жизнь. Что о том — какая!... Другой не будет. Не любить свою судьбу, клясть свою нескладёху-страну — глупо. Лучше обратиться к её руинам, как Гаев в «Вишнёвом саде» обращался к шкафу: «Дорогой многоуважаемый шкаф!...».

Дорогая, неласковая моя держава! Я родилась после того, как отец мой пошёл тебя защищать. Он пропал без вести, а мне — повезло. Я не умерла в холодном товарном вагоне с эвакуированными, в набитом людьми и болезнями эвакуопункте. Я выжила, и вместе с мамой плакала, когда умер Сталин. Меня учили гордиться тобой, держава. Я — слушалась, я — гордилась! Ты не замечала меня до того дня, когда из нереально далёкой Франции пришло письмо от моего отца. Раненым он попал в плен, жил потом, как считал нужным, мечтая, чтобы вместе с гитлеровским режимом рухнул бы и сталинский. После войны он стал «невозвращенцем». Отечественный концлагерь, Слава Богу, его миновал.

Непросто было, дорогая моя держава, отбиться тогда от твоих крепких объятий. На Лубянке, за чугунной спиной крепко ещё стоящего на постаменте Дзержинского, под пристальным взглядом его же кабинетных портретов, уговаривали нас выманить отца, заставить его приехать: ничего ему не будет, так и напишите. Отец не поехал, Господь уберёт и его, и нас.

Прошло два с лишним десятка лет, грянул 85-й, к власти пришел, чуть ли не в писании обещанный, Михаил, а я — впервые увидела отца. Трудная это была встреча... Старик, на 83-м году жизни, яростно ненавидящий советскую власть. И я, разменявшая пятый десяток и другой власти не знавшая. Он бесплатно проживал в доме для одиноких и пожилых, комфорт и льготы его жизни казались фантастикой. Это смешно, но мэр городка, где отец жил, был коммунистом.

...Да, жизнь прошла, и другой — не будет. Или, всё-таки, нет, не так! Вот она, другая, новая, нынешняя! Жизнь, в которой родные мэры решительно перестали быть коммунистами, а мы, граждане, получили законный статус «малоимущих». Количеством пенсионеров правительство наше искренне озабочено и просто не знает, что с ними делать.

Вглядываешься в лица, вслушиваешься в разговоры, и, как предписано человеку, надеешься на лучшее.

— Вчера женщина пожилая упала на улице и лежит...

— Упадёшь от жизни такой...

— Слышали, вчера по телевизору выступал один... Как его...

— Ой, трепотню их слушать уж невозможно!

— Сталина-то ещё вспомним!

— Душегуба-то? Лагерея захотелось?

— А нынешние — не душегубы?! С ними и без лагерей подохнешь...

Что ни день — тревожные вести. Стреляют, стреляют, стреляют в уже отделившихся от России, суверенных теперь государствах, и сердце болит за живущих там, и не отвыкнуть, пока жив, от мысли, что люди эти были и остались — свои. Что они — соотечественники.

Так чем же, господа хорошие, сердца наши успокоить? Как быть с каждодневным страхом, что вместо человеческого лица глянет на тебя звериный оскал? Но вдруг, мимоходом, узнаёшь, что, например, почта-

льон наш Марина... Разнесёт газеты безрадостного содержания или копеечные, невзирая на прибавки, пенсии старикам, а после работы бежит к тем, кто одинок, к убогим и беспомощным. Приберётся, в магазин сбегает. И притом, заметьте, делает это совершенно бесплатно.

Может быть для нас, малоимущих, это как раз и есть единственно возможная гуманитарная помощь друг другу, гуманитарный, то бишь, гуманный образ нашей жизни на земле. Может, именно это имел в виду и на это надеялся отец Александр, погибший страшной смертью российский священник Александр Мень, когда написал:

«Надежды мои чисто мистические... Я человек без иллюзий, но я верю, что Промысел Божий не даст нам погибнуть. И всех, у кого есть искра Божья в сердце, я призываю к тому, чтобы твёрдо стоять и не поддаваться ужасу и панике».

...Как правило, все мои статьи оканчивались именно так — надеждой на лучшее и разумное. Как и тогда, так и сейчас жить без этой веры было невозможно. Хотелось верить, что с перестройкой настал момент, когда Правда и Справедливость в стране окончили своё долгое противостояние Злу и, как в конце поэмы Лермонтова, Ангел Света говорит Демону:

...Час суда теперь настал —
И благо Божие решенье!
Дни испытания прошли...

...Но история страны продолжалась, российскому народу предстояли новые испытания.

Наступили другие времена.

ДРУГИЕ ВРЕМЕНА

Спасись сам, и вокруг спасутся тысячи.
Серафим Саровский.

Поспешность, с которой они нагрянули, лишила людей возможности осмыслить перемены, понять, что же произошло в действительности. Так называемый «дикий капитализм», вовсе не свойственный русскому мировоззрению, застал россиян врасплох. Воспитанные тоталитарным большевистским режимом, лишённые смелости думать и выбирать, они угодили «из огня да в полымя».

Душевный храм российского человека разрушался «новыми» методами.

Одиночество среди людей стало привычным ощущением. Новая ситуация оказалась хуже старой в том смысле, что именно теперь наступило время торжествующего цинизма и бездуховности.

...История жизни, душевных потерь и обретений у всех разная. Уверена, что были и есть люди, у которых нет причин недобрым словом вспоминать советское прошлое. Россия — страна большая, всех не перестреляешь и не отправишь ГУЛАГ. Многие счастливо воевали и в Гражданскую, и в Отечественную, вернулись живыми, с наградами, на радость детям и внукам. И перестройка, несмотря на многие минусы, открыла для энергичных и предприимчивых людей большие возможности для процветания. Всё так. Что ж, в ледяном океане, где затонул «Титаник», тоже ведь были счастливицы, которые спаслись. Так что, я рада за всех в России, кому повезло, рада, что исключения всё-таки существуют. Моё повествование — вовсе не «истина в последней инстанции». И я знаю, что в России по-прежнему поют по весне соловьи, есть счастливые люди,

родятся и подрастают дети. Я бы только хотела, чтобы судьба этих российских детей не была похожа на судьбу Камилла Икрамова или Алексея Шадринова. Поэтому я пишу эту книгу.

А дальше пусть за меня скажут стихи поэтессы Татьяны Бек, задушевной и ныне покойной моей подруги:

Мою судьбу из несуровых ниток,
Где серых и коричневых избыток
И лишь один узор, до боли ал, —
Наполовину ткач уже соткал.
Разглаживать её рукой не стану
И засмеюсь:

Ну, наработал спьяну!
Пускай, пускай он дурень и кустарь —
Изделие единственно, как встарь.
Я, — слышите? — не сетую нимало
На то, что мне такое перепало.
Не половик, не скатерть, не платок,
А этот —
Мой, и только, лоскуток...

...Жизнь, к счастью, любит перемены. Особенно женская — она может измениться за полчаса. Я всегда часто повторяла это приятно-обнадеживающее выражение. Лично у меня, в моей жизни, перемен случилось предостаточно, и в результате мы стали жить вдвоём: Крош и я.

В памятке собаководу настоятельно рекомендуется отводить пекинесу всегда и во всём только первое место. Пекинес — пёс императорский, упаси бог это забыть. Я и не забывала. Мне нравилось это уверенное в себе рыженькое курносое существо, пять килограммов отваги, высоко-

мерия и царственной неторопливости. Моя соседка называла Кроша «кусочек вреда» и, в общем, она была права.

Через годы и перемены случилось так, что утром мы с Крошем просыпались вдвоём. Я — на двухспальной кровати всегда с правой стороны, а левая оставалась свободной. Несмотря на безграничную вседозволенность, мой император на кровать не посягал, хотя собаки это любят. Во-первых, мой красавец имел короткие и кривые ноги, на кровать самостоятельно ему было не запрыгнуть, а во-вторых, Крош пушист был до чрезвычайности и любил спать, где попрохладней. Так у нас и шло: утром вместе вставали, а вечером укладывались: я — на свою правую половину, Крош — рядом на коврике. Ну, а днём мы старались, жили...

Самыми приятными для Кроша моментами были, конечно, прогулки. Утром и вечером, в любую погоду, в снег, дождь, гололёд и мороз мы шли гулять! Бывало, тьма — непроглядная, холод — невыносимый, но мы дерзали и возвращались оба абсолютно счастливые.

Владельцы собак из близлежащих домов, в той или другой степени, обязательно знакомы. Их знакомят собаки. Они бегут навстречу друг другу, а мы, естественно, — следом. Встретимся, пообщаемся, каждый на своём уровне, а потом или разойдёмся, или пойдём рядом. Сколько у нас с Крошем было замечательных встреч!

...Московскую сторожевую, мощную, плохо управляемую собаку, часто выгуливала сухонькая пожилая старушка. Однажды собака дёрнула поводок чуть сильнее, и хозяйка упала. Но тут же резво поднялась на ноги, на собаку не раздражилась, а мне, присутствующей при этом, объяснила:

— Разве может собака быть другой, когда они так мало с ней гуляют! Им, видите ли, лень!

Имелись в виду, вероятно, дети или внуки.

— А мне её жаль... Иногда она ведёт себя вполне корректно!

Крош отвлек внимание огромной собаченции, и нам удалось поговорить.

Старушка оказалась баронессой де Ливрон. Дальнего её предка принял на службу в российский флот Пётр Первый. И пошли в России моряки Деливроны.

В тридцатые годы отец моей собеседницы получил сообщение, что унаследовал во Франции родовой замок.

— Конечно, отец отказался, более того, — он отрёкся. Как-то всё благополучно уладилось, как говорят, пронесло. А могло-то быть такое! Со слани бы, «куда Макар телят не гонял», и притом — всех без исключения. Ну, что я Вам рассказываю. Вы, вероятно, и сами это всё знаете...

Под ногами вода, лёд, огромная собака тащит прочь от нас грациозно балансирующую старушку. А где-то во Франции пред старинным замком стелется ровный травяной ковёр... Барон Сильвестр не предполагал, что так задержится в России. Ох, не просто здесь худенькой баронессе, а в общем, не так уж долго остаётся до весны, до тепла... Ещё немного, и... Бог даст — доживём.

...Тотошка моему императору всегда не очень нравился, — он нас облаивает. Этот черненький хрипатый шпиц достался Марии Васильевне в наследство от умершего брата. В прошлом Мария Васильевна библио-текарь, она любит приветствовать нас стихами:

...Ах, в дохе медвежьей
Мне узнать Вас трудно,
Если бы не губы Ваши,
Дон Жуан...

И сейчас же кричит:

— Тотошка! Перестань! Эгоист — страшный. Хочет, чтобы я исключительно с ним общалась.

И, как обычно, зовёт в гости:

— Заходите, попьём чаю. Я ребят позову. Чудные ребята, мои соседи. Познакомитесь...

В гости меня Мария Васильевна звала не раз, а я всё «спасибо», да «как-нибудь». Они с Тотошкой тоже вдвоём живут.

А недавно у них случилась беда: Тотошку сильно погрызла злая собака «нового русского». Он выпустил её из машины, и она сразу бросилась. Перекусила Тотошке переднюю лапку, порвала бок.

На руках, общественным транспортом, Мария Васильевна отвезла его в клинику. Мы их встретили, когда они возвращались обратно. Сил у Марии Васильевны вовсе уже не было, как-никак, ей семьдесят пять. Она присела на лавочку возле дома, Тотошку с повисшей лапой, перебинтованного, усадила рядом. Кровь всё ещё проступала на свежих бинтах. Чёрненькая с проседью мордочка ещё больше заострилась, он смотрел на хозяйку, не отрываясь.

— Каждый день велели привозить на перевязку, — сказала Мария Васильевна безжизненным голосом.

...И вот в первый раз после выздоровления Тотошки Мария Васильевна снова зовёт меня в гости.

— А то ведь скоро весна, дачи начнутся. Тогда опять до осени.

Пожалуй, зайду вечерком. Крош один посидит, иначе «страшный эгоист» Тотошка просто не закроет рта, если мы придём вместе.

...А вот пудель по имени Никита Кроша просто обожает. Он кипенно-белый, но с вызывающим чёрным пятном прямо под хвостиком-шариком. Если бы не этот явный для породистого пёсика недостаток, то имел бы Никита совсем другую судьбу: выставки, поездки... А сейчас он ведёт за собой на поводке счастливую Оленьку. За ними бредёт Андрюша, муж. Скорее всего, тоже счастливый, но лицо скрыто капюшоном.

Прошлым летом они поженились, теперь вот ждут, не дождутся прибавления семейства. Оленька — прелесть, и абсолютно лишена всяких положенных суеверий. Нисколько не мнительная, она всему свету готова поведать про своё несказанное счастье.

— Не знаю, стоит ли Андрюше присутствовать при родах, — озабоченно говорит она мне сразу. — Выдержит ли он? Я за него волнуюсь ...

Сегодня ещё февраль, рожать Оле, Бог даст, в октябре, но мы принимаемся горячо обсуждать участие мужа в предстоящих родах.

— Пусть подготовится морально, — советую я.

На Андрюшу мы внимания не обращаем, он делает вид, что занят собаками.

— Когда мама меня родила, — звенит Оленька, — я не сразу закричала. Меня шлёпают, а я молчу! Представляете, как она испугалась!

— Меня мама в бомбёжку рожала. Очень сильно грохотало, и она беспokoилась, что я глухой буду. Но, слава Богу, обошлось... А моя дочка, когда родилась, сама заорала так громко, что у акушерки в ушах зазвенело.

Это событие сорокалетней давности видится мне так отчётливо, как будто произошло вчера.

— Акушерка её подняла, показывает мне, а она кричит, руками-ногами двигает активно так, нетерпеливо. Я сразу поняла, какой у неё будет характер. Так и вышло. Она человек группы «А», берётся за все дела сразу, и вечно ей времени не хватает. Когда свою дочку ждала, сидела за компьютером до последней минуты. Схватки — всю, муж — как на иголках, спрашивает: «Ну, что, поехали?» А она: «Можно ещё подождать, не волнуйся. Я мама опытная, всё-таки второго рожаю». Он её едва довёз. В клинике прямо в лифте рожать начала. Джинсы снять успели, а свитер — нет.

Андрюша смеётся, вероятно, вообразил всю эту картину. А я так рада поговорить про дочку и внуков. Так далеко они от меня. Так редко их вижу...

— Не разлюбит он меня, как думаете? — шепчет Оля. — Толстая буду, ужас!

— Что ты! Гордиться будет. Мужчины, знаешь, в это время какие гордые ходят!

Я говорю убеждённо и скрываю, что лично мне восторгов по этому поводу испытать не пришлось. Знаю понаслышке, что так бывает. Но у Оли и Андрея, уверена, всё пойдёт, как надо. Будет Андрюша гордиться Олиным большим животом, будет, никуда не денется.

Он ведёт её под руку по скользкой дороге, опасаясь Никиты, который разыгрался и крутится под ногами.

Я слышу, как Оля говорит:

— Главное, дождаться весны, а там время быстро пройдёт.

Со своей неповторимой жизнью и любовью они идут, уходят, и мы ещё какое-то время смотрим им вслед...

Теперь Кроша домой, а сама — на чаепитие.

Мария Васильевна разрешила торт «Птичье молоко», открыла коробку конфет, «ещё с Нового года осталась...». Пришли соседи, — «чуждые ребята». Марк Давыдович совсем уже ничего не видит и не слышит, но улыбается так, что всё это не кажется трагедией. Жена Майя Борисовна изящная и сдержанная, — костюм и блузка. Улыбка немного загадочная и тоже светящаяся, как у мужа.

Пьём чай, разговариваем. Слуховой аппарат вполне позволяет нашему единственному мужчине участвовать в беседе и даже задавать тон. Лукаво и молодо Марк Давыдович читает стихи, посвященные жене:

Любовь — костёр! Чтоб он пылал
И горячо, и долго,
Чтоб не чадил, не затухал
С ним обращайся с толком.
Бросай палешки, не жалея,
И в меру, и без меры.
Будь повнимательней, нежней,
Будь вечно кавалером!

Жена делит ему торт на маленькие кусочки.

— Вы такая счастливая женщина! — говорю я ей тихонько.

Она кивает. Улыбка на её губах нежная, задумчивая...

— Знаете, когда мы встретились, мне исполнилось сорок девять, а ему — на восемь лет больше. Я пришла в гости, и он там был. Не помню, как, но мы начали разговаривать, и, кажется, забыли про всех остальных. Он фронтовик, воевал, дошёл до Берлина, и всю войну писал стихи. И сразу начал мне их читать. Больше мы не расставались.

Чтобы не показаться любопытной, я очень осторожно говорю:

— Ну, Вы, вероятно, не были и до этого обделены мужским вниманием...

— Ошибаетесь, — смеётся счастливая моя собеседница. — Я типичный «синий чулок». Виолончелистка, играла в оркестре... И ещё была старенькая мама. Мне казалось, что время моё прошло, но вот мы уже двадцать пять лет вместе. Рады каждому дню.

Как положено, немного обсуждаем российские проблемы. Жить на наши пенсии, безусловно, очень и очень трудно. К тому же заявлять открытым текстом и с трибуны, что бюджет страны не выдерживает такого количества пенсионеров форменное свинство! Ну, вот никакого вообще такта!

— А помните, совсем недавно ещё говорили, будто мяса в России от того не стало, что хозяева своих собак мясом кормят! Это же просто чистый Сатыков-Щедрин, — смеется Мария Васильевна, — «Господа ташкентцы»...

Ну, в общем, рядом с любовью и счастьем «чудных ребят» все эти проблемы кажутся пустяковыми...

... Распрощавшись, я брела домой... Господи, как скользко и ветрено! Ничего, осталось немного потерпеть и — весна! В городе все быстро зеленеет, можно будет отдохнуть от долгой зимы. Мы все отдохнем! Наши прогулки с Крошем станут сплошным удовольствием, Марья Васильевна встретит нас стихами Бунина:

— И цветы, и шмели... Да напомните же мне, как там дальше! Совсем глупой старухой становлюсь!

А дальше и не надо. Просто: и цветы, и шмели! Ах, как это хорошо! Крош, я знаю, сидит у двери, прислушивается, ждет. Сейчас обрадуемся друг другу несказанно! Вот только в почтовый ящик загляну...

... А в почтовом ящике меня ожидал сюрприз: письмо от Юры. От моего дорогого друга Юры!

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной.

Срок настанет, — Господь сына блудного спросит:

Был ли счастлив ты в жизни земной?

Вот и весна. Здравствуй, весна!

ДЕТИ РОССИИ

— Где лебеди? — А лебеди ушли...
М. Цветаева

... Мы познакомились с ним, когда приезжали хоронить папу. Он был в числе детей первой русской эмиграции, которые заботливо нас опекали.

Надо было куда-то нас везти, и распорядившаяся всем Вера Дегтярёва решила:

— Попросим Юру Вербицкого.

Так мы познакомились, и только потом узнали, что Юра — это Георгий Всеволодович, инженер, как он сам выражался, «в отставке».

Он возил нас по делам и выступал в качестве переводчика. Потом просто так, погулять, посмотреть места, где в двадцатых годах образовались русские колонии. И — пригласил в гости.

К тому времени он остался один в своём доме, и мы поняли, что попали в очень грустный период его жизни. Хотя держался он очень любезно, старался нас развлекать, и, угостив кофе, достал фотоальбомы. Эти альбомы прибыли когда-то во Францию, а точнее сказать — в изгнание, вместе с его родными. Когда генерал Николай Павлович Никушкин в сентябре 17-го года срочно вывез жену и дочерей из родового имения, наскоро собранный багаж Шуры, Муси и младшей Верочки, будущей Юриной мамы, в большей степени состоял из альбомов фотографий и стихов.

Снимки повествовали об усадебной жизни, лица обитателей выглядели нездешними.

Иногда изображения оказывались размытыми временем, но длинные юбки, зонтики, прогулки в лодке или на лошадях атмосферу той жизни вполне передавали. Видно было, что Юра делится с нами самым главным и сокровенным в своей жизни, и, поняв это, мы пообещали ему найти в России место, где находилось имение Ровно.

Прошло более десяти лет, как говорят, много воды утекло, и судьба свела нас с Юрой снова... И вот теперь настала пора перейти к роману.

Надо найти начало, от которого поведу рассказ. Мы с Юрой были очень немолоды, дети и внуки у одного и у другого, но роман наш был по всем правилам жанра и без скидок на возраст. Были мы в жизни оба ещё движимы энергией и жаждой красоты. Оттого и хочется начать историю издалека, рассказать, от кого он получил эти качества, мой Юра.

Я поведу рассказ о его родных и близких, ведь они теперь и мои родственники, и уже появлялись в моём повествовании. К тому же, мне важно рассказать о людях, которых Россия потеряла, об их жизни и делах. Мы не встретились, но знакомство наше — состоялось. Оно равноценно перемещению во времени, это путешествие в навсегда утраченную, неповторимую Россию. Их письма свидетельствуют о нравах ушедшей эпохи, о тех забытых временах, когда были «в моде» чистота, нравственность и нежность.

Много грустных историй хранит моя память, много страшных эпизодов вошло и в это моё повествование. Оттого с особенным удовольствием окунаюсь теперь в иной мир.

...Верочка Никушкина окончила гимназию весной 1917 года. За год до этого умер брат Ника, ему было четырнадцать, они с Верочкой были младшими в семье. На похороны приехал вызванный с фронта Николай Павлович, и его состояние усилило тяжесть случившегося.

В первый раз Вера поняла, что отец состарился и устал. Как она любила его всегдашнюю силу духа, задор, готовность участвовать во всех их детских проказах. Теперь он казался меньше ростом и, что было особенно пугающим, — молчал. Смерть Коли будто отдалила их всех друг от друга, каждый хотел грустить в одиночку. Со всеми, даже с ней, а Верочка знала, что — любимица, Николаю Павловичу было трудно, он уходил из дома и говорил, что к друзьям. В Петербурге у него было много знакомых семей, хотя мужчины, в основном, находились на фронте.

На Страстной неделе они всей семьёй несколько раз побывали в церкви, поплакали на Двенадцати Евангелиях, и это как-то вдруг всех снова соединило. Десятого апреля, в Светлое Христово Воскресенье им было хорошо, как раньше, Верочка увидела отца прежним, таким, каким он бывал чаще всего в Ровно, в любимом их имени.

Генерала Никушкина ждала война. Перед возвращением на фронт они посидели, как когда-то, рядышком. Верочка рассказывала о своих успехах. Она училась в женской гимназии с художественными классами, и большое время уделяла игре на рояле. Николай Павлович очень серьёзно относился к этим её занятиям и ещё — к изучению языков. Но, главное, Верочке хотелось узнать мнение отца относительно слухов, которым не хотелось верить, так как касались они святого в их семье имени, — имени Государя. Как возможно связывать августейшую семью с этим ужасным Гришкой Распутиным?

Николай Павлович слушая, думал, что вот и выросла самая младшая, самая близкая доченька. Он скрывал, до какой степени тяжелой казалась в последнее время жизнь, иногда кончались силы, и овладевало незнакомое ранее отчаяние. В семье — горе, Россия — на грани гибели. Для чего прожита жизнь?

Он взял в руки Верочкин альбом, полистал. Что ж, молодость, жажда счастья. Стихи о любви, это понятно. Он хотел тоже оставить что-нибудь дочке на память, и не придумал ничего. Написал безутешные, из глубины души идущие слова:

Бедна, как нищая, и как рабыня лжива,
В лохмотья яркие пестро наряжена —
Жизнь только издали нарядна и красива,
И только издали влечёт к себе она.

Горячо любящий тебя папочка 11.4.1916. С-Петербург.

...В следующий раз они увиделись в сентябре 1917 года, когда Николай Павлович чудом осуществил свой план: прибыл в Боровичи поездом и за один вечер увёз семью, он знал, чувствовал, что время исчисляется минутами, не просто — время, но — сама жизнь.

Большой, красивый дом на берегу реки Мсты всегда казался надёжным. Но теперь, покидая его и оглядываясь с дороги назад, Николай Павлович кожей и опытом военного чувствовал, что они уезжают, а точнее — бегут, от смертельной опасности.

Генерал Никушкин не был новичком на войне. Он разменял пятый десяток, и всё сознательное время было им отдано военному поприщу и служению в этом качестве Великой России. Он помнил японскую войну, поражение России, смятение, происшедшее в обществе, и, как следствие, — революцию 1905 года. Тогда он не чувствовал, что ситуация вышла из-под контроля, он верил, что есть силы, способные привести в порядок разлаженные системы. Но теперь — другое. Из-за этой внезапной, навязанной войны в России совершились ужасные процессы полного одичания, потери ориентиров. Из этой войны вышла революция, безжалостная, кровавая и неуправляемая. Русский солдат, которого Николай

Павлович знал и любил, из защитника отечества превратился в его разрушителя.

Он переправил семью на юг.

Местом жительства стали часто сменяемые город: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки... Жизнь стала кардинально другой. Верочке казалось, что все они постепенно теряют друг друга, это вгоняло её в тоску. Отца с ними не было, он воевал на южном фронте. Заметно было, что мама сердита, но о причинах не говорит. Старшая сестра Шура вернулась в Москву, к родителям мужа, а Мария-Муся на глазах бледнела и худела. Причину все знали, князь Чегодаев постоянно у них бывал, их роман с Мусей был противоестественно запутанным и тяжким. Чегодаев писал стихи, и, казалось, счастьем и определённости предпочитал терзания и муки.

Добровольческая армия, теснимая большевиками, отступала, в начале 20-го года семья Никушкиных оказалась в Севастополе. Речь уже шла о возможной эвакуации, Верочка воспринимала всё, как во сне. Ей исполнилось двадцать лет, и в первый раз в жизни она чувствовала себя по-настоящему одинокой и несчастной. Очень тосковала по Ровно, по родному их имению. Ей не хватало быстрой, порожистой Мсты, простора, любимых прогулок в ромашковых полях или заснеженном лесу. Отец отдалился от них, сомнения в этом не было, но почему? Вера пыталась поговорить об этом с мамой, но та уклонялась. Муся была занята своими отношениями с князем Чегодаевым, часто плакала, но делиться своими проблемами ни с кем не хотела. В этом настроении Верочка делала всё машинально, и даже плохо запомнила погрузку на пароход «Святой Николай».

Всю жизнь Вера знала, как значителен и уважаем её отец. В детстве он иногда брал детей с собой на службу. Они выезжали из имения в удоб-

ной коляске, лошади бежали резво, преодолевая холмистую дорогу до Боровичей. Там находилась воинская часть, и Верочка была уверена, что её отец там — самый главный. Это детское ощущение не оставляло её никогда, так же, как и другое: Вера твёрдо знала, что для Николая Павловича на первом месте существует она, младшая и любимая дочка.

В первый раз она увидела, что всё изменилось, когда пароход отчалил.

Генерал-майор Никушкин получил на семью две каюты. Не от него, а от мамы Вера узнала, что вторую займёт Артёмушкина Ксения Александровна с маленькой дочкой и больным мужем. Даму эту Верочка заметила ещё в Крыму, знала, что отец принимает в ней участие. До неё доходили обрывки сведений о давнем знакомстве Николая Павловича с семьёй Ксении Александровны. Отец её, генерал Харитонов, когда-то был наставником Николая Павловича, который бывал у Харитоновых и младшую, Ксению, помнил девочкой.

Теперь она действительно испытывала большие трудности, имея на руках четырёхлетнюю дочь Натусю и больного мужа, Ивана Георгиевича. Уже в пути, от Муси, Верочка в подробностях начала узнавать запутанную и, увы, имеющую к ней отношение историю.

...Иван Георгиевич Артёмушкин был талантливым петербургским архитектором. Призванный на войну в 14-м году, он вскоре был ранен и попал в плен. Там состояние его ухудшилось, он потерял способность передвигаться, и сведения о нём в Россию не приходили. Он пропал без вести.

Жена его, Ксения Александровна, ничего не знала о его судьбе, несмотря на запросы в разных инстанциях. В начале 1916-го, будучи в Петербурге, принял в ней участие Николай Павлович, он навёл справки и помог Ксении Александровне составить несколько запросов...

Встреча двух этих людей оказалась для них спасительной. Оба они в то время нуждались в поддержке. Николай Павлович потерял сына Нику, предчувствовал гибель России. Ксения Александровна была в отчаянии, предполагая, что Иван Георгиевич погиб. Для нее, беспомощной и бездетной, потеря мужа значила крах жизни.

Но судьба непредсказуема, женская — особенно. В конце октября 1916-го, на два месяца раньше срока, у Ксении Артёмушкиной родилась дочь, названная Натальей, в декабре того же года она покинула Петербург и поселилась на юге России, в городе Пириятин. В тех местах, неподалёку, воевал Николай Павлович... А вскоре, в начале 1917 года, на носилках туда доставили мужа Ксении — Ивана Георгиевича Артёмушкина, которого никто уже не чаял увидеть живым.

Ксения Александровна справилась с выпавшими на долю трудностями, тем более, — она имела поддержку. Иван Георгиевич выздоравливал, Натуся росла, но внешние обстоятельства стремительно ухудшались. Из Пириятина они перебрались в Севастополь, а вскоре поднялись на борт парохода «Святой Николай», чтобы отправиться в неведомое будущее.

Николай Павлович не скрывал своего отношения к Артёмушкиной, а главное — к маленькой Наташе. Верочка с болью в сердце видела в его внимании к девочке привычное и знакомое, то, что когда-то было адресовано только Шуре, Мусе, Нике и, особенно, — ей.

Маленькая Наташа и внешне не могла успокоить Верочкиных подозрений. Она несколько не была похожа ни на Ксению Александровну, ни, тем более, на Ивана Георгиевича. Её большие тёмные глаза навывкате и характерной формы нос напоминали черты лица Николая Павловича. Если они оказывались рядом, — это было очевидно для всех.

Смятение чувств и мыслей овладело Верой, она не замечала неудобств пути, всё проходило мимо её сознания. К её удивлению, ни мать, ни се-

стра отчаяния её не разделяли. Александру Александровну занимали тяготы кочевой жизни, с мужем отношения её были ровные и спокойные. Муся неожиданно сдружилась с Ксенией Александровной, находила утешение в разговорах с ней и с удовольствием занималась Натусей.

Вокруг шла жизнь, многие молодые офицеры пытались завязать знакомство, но, заметив полное Верочкино безразличие, отходили. Однажды она, правда, разговорилась с одним попутчиком. Ей не спалось, она вышла на палубу, смотрела в тёмную и грозную морскую даль. Вдруг услышала сдавленные звуки, неподалёку плакал высокий офицер. Они

проговорили до рассвета. Его отчаяние было так же велико, как и её. Он потерял Россию, не мог представить жизни на чужбине и клял себя за то, что оставил Родину.

На следующий день он написал в Верочкин альбом стихи, а затем — исчез...

Всё погибло, Россия, прощай!
Мы — обломки отжившего строя.
Пароход наш «Святой Николай»
Переполен утрюмой толпою.

Боевых офицеров не счесть,
Инвалиды бредут, генералы.
С ними теплилась Родины честь,
С ними вместе она умирала...

*Бобрищев-Пушкин
Пароход «Св. Николай»*

Приближались к берегам Сербии. Маленькая Наташа заболела в дороге, решено было выйти на ближайшей стоянке в городе Скопье. Негласным было решение, но пароход покинули обе семьи. Проблемы бу-

дущего устройства и проживания сейчас были на втором месте. Всех волновало только Натусино здоровье.

СКОПЬЕ

Боже, какими мы были наивными,
Как же мы молоды были тогда...
Романс

Маленький сербский город встретил русских более чем приветливо. Они почувствовали себя, как дома. Быстро устроились с жильём. Николай Павлович остался сразу с Ксенией Александровной, так как болезнь девочки и слабое ещё здоровье Ивана Георгиевича предполагали его участие. Но Верочка знала, что это — навсегда. Отец покинул их и не вернётся.

И опять горя её никто не разделял, включая мать, Александру Александровну. Все были заняты устройством на новом месте, поисками работы, а всё остальное считали второстепенным. Иван Георгиевич тоже казался спокойным, дружески относился к Николаю Павловичу и Ксении Александровне, на первых порах жил с ними в комнате по соседству, и обожал Натусю, звавшую его — папой.

Муся и князь Чегодаев как-то очень тихо и безрадостно поженились, но счастливой Муся не выглядела, по-прежнему часто плакала, много времени проводила с Артёмушкиной и маленькой Наташей. Создавшееся положение абсолютно её не смущало, казалось, что в новой семье отца она чувствовала себя явно лучше, чем с матерью и сестрой.

Шура жила в Москве, писала редко, было понятно, что жизнь её тяжела и неблагоустроена. Однажды сообщила, что имение Ровно разгра-

блено. В Боровичах — новая власть, многие знакомые арестованы или вовсе пропали...

Вера понимала, что прежняя жизнь ушла навсегда, надо смириться со всеми выпавшими на долю трудностями, и — главное — с одиночеством. Она занялась поисками работы, и сразу нашла несколько уроков музыки и французского языка в многочисленных, продолжавших прибывать, русских семьях.

Но судьба готовила новый удар, в декабре 1920 умерла Муся, дорогая сестрёнка Мария, Муханчик... Горе окончательно отдалило Веру от Николая Павловича. Почему-то она была уверена, что именно его уход стал причиной Мусиной смерти. Ей казалось, будь они все вместе, — ничего бы не случилось! Спасала загруженность работой. Мать Александра Александровна была теперь целиком на Вере. Учеников становилось больше, и к тому же прибавилась работа тапёром в кинотеатре. Вечера бывали заняты, фильмы кончались поздно. Вера возвращалась домой в темноте, с фонариком, иногда её провожал игравший в паре с ней скрипач.

Там, в кинотеатре и познакомилась она однажды с молодым русским офицером. Он был в форме, так как состоял в частях, охранявших по найму сербскую границу. В Скопье он был в увольнении, в кино зашёл с товарищами случайно. Вопреки обыкновению, Верочка разговорилась с ним и сразу почувствовала к нему необычайное доверие.

...Поручику Всеволоду Вербицкому к началу войны 14-го года исполнилось двадцать лет. Он был выпущен первым ускоренным выпуском Елисаветградского кавалерийского училища и находился в составе 12-й Ахтырской гусарской дивизии, которой командовал его дядя, родной брат матери, полковник Владимир Михайлович Лермонтов, герой, кавалер золотого Георгиевского оружия.

Война сразу обрушила на Всеволода тяжкие испытания. Поздней осенью 16-го года дивизия получила приказ перейти в Румынию и по совершенно разбитым дорогам совершила тяжелейший 700-километровый переход. Всеволод, несмотря на молодость, перенёс все пути трудности не хуже других офицеров. Терпение досталось ему изрядное — от новгородских и шотландских пращуров. К слову сказать, военная профессия в роду Лермонтовых была наследственной. Шотландский рыцарь Георг Лермонт в 1613 году перешёл от польского короля сперва в войско Дмитрия Пожарского, а позднее на службу к русскому государю, Михаилу Фёдоровичу Романову, чтобы обучать русских солдат рейтарскому, то есть, военному делу. Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, тоже был, как известно, лейб-гвардии гусаром...

Ахтырский гусарский полк, в котором служил Всеволод, эвакуировался осенью 1920-го из Севастополя, какое-то время находился в этом составе в Галлиполи, а затем в 1921 году был расформирован. Одновременно из Севастополя эвакуировалась вся семья Вербицких: младшие сёстры Всеволода Инна и Тамара, отец Николай Васильевич, полковник, и мать, Елена Михайловна, сестра милосердия. Они оба воевали в Добровольческой армии. В Севастополе Вербицкие соединились с родственниками по линии Елены Михайловны, многочисленными Лермонтовыми, тоже отступившими с Белой армией в Крым.

Эвакуацию семья пережила трудно, они были в числе последних, покидавших родные берега. Елена Михайловна тянула время, так как ее мать и сестра Алла с двумя мальчиками решили остаться. Они успели взойти на последний отплывающий пароход, но младшую, Тамару, поднимали из лодки на сброшенном канате.

В пути молодые гусары, товарищи Всеволода, были учтивы и внимательны к его сёстрам. Юные Инна и Тамара, необычайно хорошенькие,

черноволосые и черноглазые, как большинство Лермонтовых, пользовались успехом. Сойдя на берег в Болгарии, и та, и другая вышли замуж, Инна за ахтырца-гусара Владимира Харченко, а Тамара — за Игоря Значковского, офицера белорусского полка.

...А Всеволод Вербицкий оставил свой подробный «послужной список», и перед тем, как перейти к описанию его жизни на чужбине, хочется немного задержаться на его российской биографии, которую приведу в подлиннике, с графическими особенностями написания:

«Ротмистр 12-го Гусарского Ахтырского Генерала Дениса Давыдова, ныне Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полка Всеволод Николаевич Вербицкий.

Последний полковой Адьютант при расформировании, командир 4-го эскадрона (1917 год)

Родился 29 октября 1896 года в г. Черкессы Киевской губернии.

Из дворян Киевской губернии.

Отец — Полковник Николай Васильевич Вербицкий.

Мать — Елена Михайловна, урождённая Лермонтова.

В 1907 году поступил в Петровский Полтавский корпус, который и кончил в 1914 году.

1 августа 1914 года поступил в Елисаветградское Кавалерийское училище, которое кончил в первом ускоренном выпуске 1 декабря 1914 года.

Высочайшим приказом произведён в прапорщики в 12-й Гусарский Ахтырский полк и участвовал в военных действиях против Австро — Германцев в войне 1914 — 1918 г.

Высочайшим Приказом по Армии и Флоту произведён:

В Корнеты,

В Поручики,

В Штаб-Ротмистра и в Ротмистра — приказом Главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России Генерала Врангеля.

После большевистского переворота 1917 года и заключения Брест-Литовского мира с Германцами принимал участие в Гражданской войне против большевиков до 1 ноября 1920 года, когда Белая Армия, отходя до Крымского побережья, была вынуждена оставить последнюю русскую землю. В составе Русского Корпуса прибыл в г. Галлиполи, Греция, где оставался до расформирования его в 1921 году...»

ВЕРА И ВСЕВОЛОД

...Твой голос для меня и ласковый, и томный.
Романс

Так началась любовь Веры и Всеволода. Оба были молоды, одиноки в заботе о родных, оба тяготились жизнью на чужбине. Их встреча дала им возможность счастья и надежды. Они словно ушли в далёкий от всего и всех собственный мир, как две перелётные птицы тянулись друг другу, цenia драгоценную возможность — не быть в одиночестве.

Многочисленная родня узнала о помолвке, все принимали горячее участие в будущем их устройстве. К тому времени отец Всеволода, Николай Васильевич, скоропостижно скончался. Елена Михайловна, с присущей ей энергией, взялась помогать замужним дочерям и сыну. Перед Всеволодом стоял вопрос, где они с Верочкой будут жить после свадьбы. Он отправился на поиски работы. Каждый день Верочка писала ему письма, которые — сохранились. И хоть они часто носят интимный оттенок, явно не предназначены для чужих глаз, но, в то же время, напоминают птички трели, летящие прямо в вечность...

Вера — Всеволоду. 16 сентября 1922 года. Скопье.

«Спокойной ночи, моё далёкое ясное солнышко, думаю, что Севунок спит уже, т.к. уже 12 часов, а девочка его только что вернулась, уж очень длинная была картина.

Что-то подустала сегодня немного и никак не могу собрать своих мыслей, скачут и скачут.

У меня сегодня почему-то скверные мыслишки мелькали, как-то не верилось, родной, что может быть счастье. Сейчас всё прошло, ведь я — с тобой. А когда я с тобой, я забываю всё тёмное, и так становится спокойно на душе. Хочется прижаться к моей звёздочке, поцеловать лобик, глазки...

Знаешь, родненький, когда я читала в твоём письме о том, как будем сидеть вечерами вместе, как ты будешь днём работать, — ты мне показался таким большим, большим и серьёзным, что мне стало немного страшно. Стало страшно потому, что скоро жизнь моя изменится, начнётся новая, совершенно незнакомая, и я должна буду стать другой. А вдруг я не смогу? Что если я останусь глупой, как сейчас, и Севуну будет тяжело с девочкой?

Я вчера как раз читала в Анне Карениной то место, где происходит венчание Кити, ты вероятно не помнишь. Там так верно сказано, что она переживала, — страх и радость нового и неизвестного. Это так верно, родной, это как раз то, что сейчас чувствует твоя маленькая девочка.

Живу я по-прежнему, бегаю, работаю, всё та же обстановка, но в душе какой-то неуловимый переворот. Ты, родной, стал смыслом всей моей маленькой жизни, всех моих глупеньких переживаний. Если бы тебя вдруг отняли от меня и оставили в моей прежней жизни, — мне стало бы совсем пусто и незачем мыслить и жить.

Хороший мой, родной! Хочу близко подойти к тебе, хочу жить с тобой одной жизнью, мыслями и желаниями.

Неужели это возможно, маленький? Неужели может быть исполнена хоть капелька, хоть искорка этого светлого счастья? Надежда на это даёт и бодрость, и энергию, но хочется — скорее, скорее...

Жизнь бежит вовсю, день проходит, как минутка и времени ни на что не хватает.

Прости, родной за каракули, рука что-то скачет, а глаза чуточку закрываются. От Шуры нет ничего, но получили письмо из Польши, где её ждут каждый день, и, когда она приедет, пошлют телеграмму.

Иду спать, родной, завтра с 9 часов уроки до 12, боюсь проспать.

Спи спокойно, мой хороший, Христос с тобой. Горячо целую, моё солнышко.

Вера — Всеволоду. 20 сентября 1922 года. Скопье.

«...Ну, вот, наконец, отыграла, дала все уроки, все заботы и обязанности кончены. Хорошо, свободно и можно поболтать.

Севунок, родной, горячо любимый, поди поближе, дай увидеть тебя и вспомнить все чёрточки твоего лица. С каждым днём ты превращаешься для меня в мечту, светлую и далёкую.

Неужели ещё недавно ты был со мной, мы бродили с тобой вечерами и петушки гнали нас домой. Как мало я ценила все эти прошедшие минуты и как плохо сознавала, какое солнышко вошло для меня.

Ты знаешь, миленький, я только сегодня, в первый раз за долгое время, попав в церковь на службу, словно очнулась от какого-то сна и так ясно всё почувствовала и поняла. Так стало светло и до боли хорошо — жутко.

По случаю приезда митрополита Антония была русская служба, торжественно, по-нашему.

Я давно уже не была в церкви, и потому сегодняшняя служба произвела на меня много хорошего впечатления. Мне хотелось забыться, хоте-

лось молиться, но о чём? Я никак не могла связать своих мыслей, и вышло, что я только думаю о своём счастье. И вся была полна только тобой, мой родной Севун.

Почему мы не у себя, не в России, где я так любила ходить ко всеобщей и в тёмном уголку забыться совсем? Вспомнилась мне сестрёнка, вот кто умел молиться. Я часто наблюдала за ней в такие минуты и старалась понять хоть капельку той горечи, которая была у неё тогда на душе.

Вечером игралось так хорошо, хотелось вложить всю душу в каждую нотку, и два часа прошли, как минутки.

Твоё длинное родное письмецо приютилось в моём кармане, я его перечитываю и от каждого ласкового словечка улыбаюсь, со стороны наблюдать, вероятно, смешно.

С продажей кольца ничего не выходит, но думаю, что понемножку всё наладится. Всё противный презренный металл! Просили сегодня взять ещё урок, но приходится отказаться, не хватает времени. А следовало бы взять, потому что девочка твоя страшно растолстела, приедешь — не узнаешь.

Ах, ты мой славный, любимый, не сердись за глупости. То мне кажется, что я серьёзная, то хочется глупости болтать и смеяться.

Завтра большой праздник, что будет делать Севун? Девочка его — всё то же: кино и два урока.

Всеволод — Вере. 10 сентября 1922 года. Белград.

Дорогая моя девочка! Пишу тебе в русской столовой, куда пришёл поужинать. Уже около 10 часов вечера, а потому никого почти нет, сидит небольшая компания русских и беседует о душе.

Впечатление от Белграда хорошее, благодаря дождю город мало оживлён. Кое с кем познакомился, завтра иду к представителю колонии и начну действовать.

Приехал почти с наступлением темноты и занял первый попавшийся номер: кровать, диванчик, стол, умывальник и зеркало. Размер небольшой, в смысле клопов, думаю, не благополучен. Хотя можно утешаться тем, что не только в России, но и здесь они тоже водятся. Всё это удовольствие стоит 11 динар — очень скромно! Остальных цен пока ещё не усвоил, за ужин сейчас плачу 5 динар.

Котлета очень больших размеров, капусты много, и не очень вкусно, но ведь не в этом счастье. Видишь, родная, о какой «прозе» я тебе пишу...

Ну, покойной ночи, спи, детка, хорошо. Целую твои глазки. Твой Севун.

Вера — Всеволоду. 10 сентября 1922 года. 12 часов ночи. Скопье.

Севунок, радость моя, солнышко моё светлое, не волнуйся, девочка твоя жива и здорова, и думает о своём Севуне по-прежнему. Всё время мысленно я с тобой, а особенно вечерами, когда только трещит мой кузнечик. Сейчас так дивно, такая спокойная ночь... Когда шла домой, то затосковала по тебе, мой родной, так захотелось быть вместе, — близко, близко. Посидеть на балкончике и без слов понимать друг друга.

Что ты делаешь сейчас, миленький, спишь ли уже или сидишь с кем-нибудь, или думаешь о далёком Скопье и грустное облачко набегаёт на твои глазки? Нет нигде щёлочки, чтобы заглянуть к тебе, чтобы прибежать и приласкать свою звёздочку...

Ах, миленький, вспомнила прекомичную вещь! Сегодня был папа и спрашивал у мамы, когда наша свадьба? Он страшно обеспокоен, что вдруг она расстроится, а между тем — неудобно, т.к. мы уже обручены. Вот комично, правда?

Ну, разве я могу забыть моего Севуна, разве я способна потушить солнышко, которое согрело и осветило мою маленькую глупенькую жизнь?

Папа выкупил два маминых кольца, и одно она хочет теперь продать. Слава Богу, она совершенно воспрянула духом и сразу стала бодрой, строит бесконечные планы, и я воображаю, что же у неё от этой суммы, в конце концов, останется. Положим, меня это очень мало интересует, но лично я всегда против продажи своих вещей, особенно, когда они последние.

...Ходили вечером с мамой на Мусину могилку, зажгли лампадочку. Так хорошо там, тихо, не хотелось уходить. Мне казалось, что мы там — вместе, и что Муханчик радуется нашему маленькому счастью.

Когда я бываю в сумерках у неё на могилке, у меня так светло и покойно становится на душе, и, вместе с тем, грустно безумно. Не могу я понять, зачем она так долго страдала и не видела счастья? А другие, не заслуживая, получают и мало его ценят. Как много несправедливости, милый, и как трудно понять тайну жизни. А, между тем, жизнь до ужаса проста.

А кузнечик мой всё трещит и трещит: «Севунок, Севунок...». Люби свою девочку — скверную, гадкую, люби хоть капельку. Почему тебя нет здесь, мой хороший?!

Прощай, родной мой. Спи спокойно. Всё будет хорошо.

P.S. А я тебя, родной, всю прошлую ночь во сне видела. Но были мы, конечно, не здесь, а в России, в нашем родном имении.

Вера — Всеволоду. 18 октября 1922 года. Скопье.

Ну, вот, Севунок мой, теперь я свободна, сижу на диванчике и улетаю мысленно к тебе. Даже помыслась и наполовину разделась, чтобы не шуметь потом.

...Вот странно, только что проснулась мама и говорит мне, что сейчас к ней подходила Шура и поцеловала её. Это было так реально, она испу-

галась и проснулась. На минуту и мне стало жутко. Мало ли что может случиться с сестрёнкой... Может быть, скоро получим что-нибудь от Шуры, хоть бы она приехала поскорей!

...Говорили сегодня с мамой о многих вопросах жизни, таких откровенных, о которых я никогда не решалась говорить. Многое поняла я, Севунок, и безумная простота испугала меня, и стало противно от того, что я поняла.

Севун, неужели и я должна стать как все, и мои туманные сказочки станут яркой действительностью? Миленький, страшно! Если б ты знал, как многого не надо ещё твоей девочке. Я хочу, чтобы ты хорошо понял меня и тихонечко любил. Я хочу рассудка и души...

Мама смеялась над моими глупыми вопросами и не хотела верить, как я во многом мало сведуща. Лягу спать, миленький, и буду думать, как бы мне сразу жить так, как живут все другие, — стать простым маленьким насекомым.

Не знаю, понимаешь ли ты что-нибудь из моей болтовни, да, правда, понять твою девочку трудно.

Холодно, родной. На улице тихо, но грязно, напоминает прошлогоднюю зиму и осень. Котишко — и то, всё укладывается под лампой и мешает мне писать. Мама спит всюю и даже похрапывает. Последние дни она так трогает меня своей лаской и заботами. Всё время шьёт, вышивает мне передники. Как я подумаю, что надо будет венчаться в церкви, и будут кругом чужие, так мне жутко становится, Севунок... Как страшно будет, когда придёт эта минутка в действительности. Заранее приготовим себе наше гнёздышко, и чтоб было тепло.

Когда ты уезжал — было солнышко, а сейчас — осень, и грязь, грязь... А знаешь, о чём я думаю? О том, что Севуну надо бросать все поиски и мчаться в Скопье. Довольно ты пожил один, всё говорит за то, чтобы пе-

резимовать здесь. В Скопье всё знакомо, все помогут, а потом решим, что делать дальше.

Сегодня был папа, спрашивал про тебя, и тоже советует устраиваться пока здесь. Говорил, что поможет, и даже достанет какую-нибудь частную работу после службы. Скорее всего, он прав, надо быть вместе в такое тяжёлое время. К тому же, мне тяжело оставлять маму. Вчера её пришлось утешать и отпаивать валерьянкой. Папа сильно изменился, стал очень далёк. И сестрёнку надо подождать. А там — распустим крылышки и улетим.

...Сегодня, после дневного кино потянуло меня на знакомые тропинки. Пошла, побродила, вспомнила, как ходили мы там весной. Тогда ты был мне незнакомым и немного чужим. А сейчас, хоть мы и не вместе, но какие-то перегородки упали и наши письма сблизили нас. Неужели скоро будем вместе?

Буду ложиться спать и ждать от тебя ответа. Не забывай и люби немножко.

И ЕЩЁ НЕМНОГО О ЛЮБВИ...

Наши встречи — минутны,
Наши встречи — случайны,
Но я жду их, люблю их
А Вы?..

Стихи из альбома

...Российские изгнанники, генерал-майор инженерных войск Николай Павлович Никушкин и дипломированный архитектор Иван Георгиевич Артёмушкин были схожи не только мило звучащими русскими фа-

миллиями, превратностями судеб и любовью к одной женщине. Кроме этого, они были прекрасными специалистами-профессионалами и оба довольно быстро нашли себе применение на чужбине.

Один взялся за устройство канализации в Скопье и организовал для этого целое производство — завод цементных труб. Другой построил в Сербии и Болгарии более трёхсот замечательных по архитектуре зданий. Впоследствии именно Иван Георгиевич выстроил дом для своего друга Николая Павловича, Ксении Александровны и общей любимицы Натуси.

В доме этом царили сердечные, нежные отношения, обрушившееся на двух людей внезапное чувство — не умирало, оставалось молодым. Но официально отношения были не оформлены. Двойственность положения огорчала Ксению Александровну, но её чувство к Николаю Павловичу осталось неизменно, это видно из её дневниковых записей:

... И упали в сердце льдинки,
Но никто не должен знать,
Как две маленьких слезинки
Трудно было удержать...

Взрослые постарались смягчить ситуацию для подрастающей Наташи. Она была — Артёмушкина, называла Ивана Георгиевича папой, а Николая Павловича — дедушкой, и всю последующую свою долгую жизнь старалась не думать о том, как всё было в действительности.

...О любви рассказывать всегда приятно, и эта история отчего-то трогает сердце, особенно когда смотришь на старые фотографии. Каждое лицо необыкновенно, целая повесть. Вот дочери генерала Харитонова, модные и милые, интеллигентные петербургские барышни. Генерал скончался рано, младшей, Ксении, было тогда десять лет, но на фото все

говорит о пребывании барышень Харитоновых в атмосфере галантно-рыцарской, об учтивом офицерском окружении.

Ксения — самая наивная, мечтательница и фантазёрка, на фотографиях выглядит то нездешней, то роковой, но всегда трогательной и беззащитной. Мужа Ивана Георгиевича Бог ей послал прекрасного, он так же добр, благороден и простодушен, как и она. Но война всякому счастью помеха.

Николай Павлович всегда казался Ксении похожим на отца, которого она рано лишилась. Строгий, чёткий, суровый на вид, — настоящий военный. Она помнила его молодым, на военных парадах, прогулках, балах. Все любовалась его необычной, скульптурной красотой. Когда они встретились в 16-м году в холодном военном Петрограде, ей было 25, а ему — 46 лет... Он спас её от отчаяния.

Все стихи, написанные в дневнике Ксенией Александровной, — о любви. Ей они принадлежат или нет — не имеет значения. Важно, что именно этими словами говорило её сердце:

Ненужная встреча, прогулка, свиданье...
Зимнее небо, снег и мороз...
А после недетская горечь страданья,
Целая сказка смеха и грёз.
На улицах шумных мечтаешь о встрече,
В каждом прохожем ищешь его.
И помнишь улыбку, спокойные речи,
Видишь лицо, печали полно...

...И вот они трое оказались в изгнании, а меж ними растёт маленькая прелестная Наташа. На фотографиях запечатлены лица спокойные, достойное выражение которых не даёт возможности ни единым подозрением опознать эту по воле судьбы созданную необычную семью: женщина

с королевской осанкой, большеглазая девочка и два мужественных рыцаря-защитника по бокам.

ПАРИЖ

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной —
Темна твоя дорога, странник,
Польною пахнет хлеб чужой.
А. Ахматова

...В конце января 1923 года Вера и Всеволод обвенчались:

«Александра Александровна и Николай Павлович Никушкины просят Вас пожаловать на бракосочетание дочери их Веры Николаевны с Ротмистром 12-го Гусарского Ахтырского полка Всеволодом Николаевичем Вербицким в церкви св. Димитрия 28 января 1923 года н.стиля, в 11.30 дня. Поздравление молодым — в церкви».

Скоро приехала долгожданная Шура. Самая старшая, она всегда была и самой яркой из сестёр. Очень артистичная, наполненная каким-то постоянным поэтическим порывом, она осталась такой на многочисленных фотографиях. В Шуриных альбомах сохранились, переписанные её рукой, стихи известных поэтов и стихи собственного сочинения, отрывки чудной прозы, скорее всего тоже ей принадлежащие. Как-то удалось вырваться ей из Страны Советов к родным в Сербию, и вначале она казалась очень уставшей, а затем выяснилось, что тяжело больна и нуждается в лечении. Николай Павлович отправил дочь в Швейцарию, в са-

наторий, где она и прожила последние годы своей одухотворённой, но недолгой и грустной жизни.

...Верочка и Всеволод, как и мечтали, покинули Скопье. Деятельная Елена Михайловна помогла всем своим детям перебраться во Францию, в Париж. Мать Александру Александровну Верочка забрала с собой.

У каждого была своя семья, у Инны и Тамары, к тому же, маленькие сыновья. В Париже все устроились отдельно, находили работу, выжидали и не теряли связи, которую опять-таки осуществляла неутомимая Елена Михайловна.

Всеволод, окончив курсы, стал работать шофёром, Верочка устроилась в пошивочную мастерскую. Труднее всех, было, пожалуй, Александре Александровне. Дочка богатых помещиков, она с детства привыкла жить на положении барыни, и перестроиться ей было невозможно. Верочка самоотверженно делала для матери, что могла, принося в жертву свои интересы. Всеволод всё терпеливо принимал и помогал жене.

Вместе они справлялись с тяготами эмигрантской жизни гораздо лучше, чем семьи Инны и Тамары. Их мужья, такие же, как и Всеволод, молодые офицеры, труднее приживались и хуже ориентировались в чужой, незнакомой обстановке. Особенно это не давалось мужу Инны — Владимиру Харченко. Он часто впадал в депрессию, Всеволод и Вера, как могли, поддерживали его.

В феврале 1927 года Всеволод получил длительную работу. Его наняла богатая дама-француженка для поездки на юг Франции. Дама была откровенно эксцентричная, из писем Всеволода было видно, что ему не легко. Верочка, как всегда, тосковала без мужа, но в этот раз как-то особенно болезненно. Они ещё не знали, что в их жизни готовятся перемены...

Всеволод — Вере. 5 февраля 1927 года. Канны.

Дорогая моя, любимая девочка!

Сижу сейчас в кафе. Как писал тебе вчера, сегодня должен был ехать в Монте-Карло, но у моей «патронши» семь пятниц на неделе. Поездка оставлена, под предлогом, что сегодня должна освободиться комната в другом отеле, где она надеется продавать более удачно. На самом деле, она вчера опять играла в казино и, вернувшись поздно, проспала время отъезда. В 9 часов, когда я подал машину, она «дрыхла» и передала, что поедем после обеда. Думаю, что и это не состоится.

Просила подать машину к 11 часам, а потому я имею свободный час. Вчера я заметил ей, что с её распорядком дня у меня не остаётся времени для сна и ухода за машиной. По этому случаю вчера кончил в 5 часов вечера и выспался вдоволь.

Начинаю прибираться к рукам. Она сначала решила, что на мне можно ездить верхом и эксплуатировать, как русского. Кроме того, по свойственной ей расчётливости, она входит во все мелочи расходов по гаражу и позавчера, когда я ей дал счёт, придралась к тому, что дважды помечены 4 франка за мытьё машины. Раскудаhtалась страшно, и тут я взбесился и наговорил ей кучу всяких вещей, так что у неё даже, как у нервной дамы, начались подёргивания на роже. Но зато перемена — полная!

На мои слова, что если я подаю ей счёт, то знаю, сколько раз мыл машину, — она ответила, что имеет ко мне массу доверия и т.д... Кончила тем, что по приезде в Париж обязательно сделает тебе подарок. Впрочем, это мелочи, которые я научился пропускать мимо ушей.

Её мать — очень славная старушка, её держат в чёрном теле, и потому она всегда делится со мной своими текущими делами. Нашли ей простую комнату, и она живёт своей жизнью. Иногда катаю её, отвожу и привожу.

Утречком получил твоё письмецо, спасибо, моя крошка. Ещё неделька-две, и опять будем вместе. Будь здоровенькой, пиши. Нужно собираться в дорогу. Пойду за машиной, оботру пыль и покачу.

Поцелуй маму и всех, кого увидишь. До свиданья, моя родная. Твой Севун всё время тебя вспоминает.

Вера — Всеволоду. 10 февраля 1927 года. Париж.

Солнышко моё любимое и единственное, если б ты знал, какая тоска у твоей девочки, как мрачно на душе! Ничего не хочется делать, ничем не могу заняться. Сегодня ужасный день, — воскресенье!. В будни хоть занята в мастерской, время проходит незаметно, а в воскресенье прямо не знаешь, куда себя девать.

Уже не верится, что осталось ждать немножко и что ты скоро приедешь, кажется, что дни будут тянуться без конца. Кутаюсь в шаль и мёрзну страшно, прямо всё дрожит внутри, и не знаешь, как согреться.

Вчера посчастливилось, была работа, я работала до 7 часов, потом «без пересадки» пошла с мамой в кино. Думала, что пойдёт и Елена Михайловна, но она уехала, т.к. с утра Инна и Тамара работают. В кино еле высидела, так мне всё показалось отвратным, — и картина, и какой-то дурацкий певец. Накурено было страшно, жарко, в общем, с вечера уже началось скверное настроение.

Сегодня с утра стирала, мыла голову, тянула, как могла, чтобы скорей проходило время. Мама всё звала гулять, часа в три вышли. Добрались до Sacre-Coeur, побывали в самом костёле, — там шла служба. Вернулись домой другой дорогой.

Сегодня первый день немного теплее, солнце, пахнет весной, масса народа на улицах, суета, толкотня. От этого только тоскливее, без тебя

всё меня раздражает, не знаешь, о чём говорить и чего хочется. Не живёшь, а просто прозябаешь.

С шести часов в комнатах снова холодно и неудобно. Прочитала обе газеты, ничего интересного. Еле-еле дождалась чая, три раза разложила пасьянс и села за письмо.

Солнышко родное, прозябаю без тебя, просто не хочется жить и всё делается безразличным. Вот уже два дня нет от тебя письма, думаю-гадаю, — где ты, что делаешь и как живёшь.

Скорее бы твоя патронша захотела прикатить в Париж, довольно уж ей околачиваться по казино.

Золотко любимое, приди и разгони мою тоску!

Не сердись, мой родненький, что письмо такое мрачное. Когда ты его получишь, это настроение уже пройдёт у меня, буду занята работой и некогда будет скучать.

Только ещё десять часов, а хочется лечь, зеваю буквально до слёз. Возьму в кровать горячую бутылку, и буду согревать конечности.

Как-то ты, моё далёкое солнышко, не легко ведь тебе и тоже — одиноко. Но видно нужно ещё запастись терпением. Спи, мой любимый, отдохай хорошенько, замаялся, наверное, за день.

Да хранит тебя Господь. Не забывай свою девочку.

Всеволод — Вере. 12 февраля 1927 года, Канны.

Любимая моя девочка!

Снова пишу тебе, сидя в машине у казино. Сейчас ещё рано, 6 часов. Это дообеденное посещение казино. После обеда, в 10.30, наверное, снова прикачу сюда. Сегодня имел бой с моей «подругой». Сказал, что 30 франков не достаточно, а потому предлагаю ей что-либо решать с моим пита-

нием. Или пусть берёт меня в свой отель с пансионом, или рассчитывает по 35 франков.

Сегодня суббота, и она обещала посмотреть, но прибавлять до 35 франков не соглашается. В общем, скотина большая. Пичкает меня «завтраками», суля всякие блага в будущем и для меня, и для тебя. Решил теперь с ней не церемониться, и на своём настою. Она теперь в другом отеле, уже с неделю.

Был у меня курьёзный случай. Когда я привёз вещи, то меня встретил швейцар в шапке с галунами и т. д. В течение четырёх дней мы с ним раскланивались и приветствовали друг друга папиросами. На пятый день я подкатываю на машине и по обыкновению вытаскиваю газету. В это время подходит мой знакомый и вдруг, видя газету, говорит: «Так Вы — русский? И я — тоже...» Так это было потешно, что я расхохотался. Оказывается, был с Армией в Галлиполи, но, кажется, из вольноопределяющихся. Уже четыре года служит в этом отеле. Кроме него лакеями — ещё шестеро русских. Говорит, что и в Каннах теперь русских очень много.

...9 часов вечера.

Только что вернулся в отель и получил твоё письмо, моя родненькая. Не скучай, моя девочка. Уже не больше недели осталось. Поднадоело мне здесь, особенно эти постоянные денежные разговоры, такая дрянь в этом отношении... За деньги готова повеситься, и годна на всё. Говорит, что в казино играет на деньги знакомых, на этом наживается и считает это в порядке вещей. Чаевые для меня требует со своих знакомых, и большую их часть просит меня употреблять на бензин.

Так было с одним графом, которого я возил в Ницу. Она выторговала 50 франков и 30 из них пошла на бензин. Ни в коем случае, моя девонька,

ничего мне не посылай. Сейчас у меня деньги есть, я тебе писал, что получил от неё 150 франков. Хочется немного послать маме, но никак не могу. По приезде, даст Бог, наладится.

Между прочим, она заключила, (вернее, написала), наши условия и оба мы подписались. В Париже она предлагает шофёрствовать у неё за 800 франков. Ну, это поживём — увидим. Я так и сказал.

До скорого свидания, моя любимая крошка. Я тоже живу только твоими письменами... Пиши, моя девочка. Целую, будь здоровенькая. Любящий тебя крепко Севун.

Всеволод — Вере. 21 февраля 1927 года — Канны.

Родная моя девочка, получил сегодня твоё письмецо, надеюсь получить ещё одно, а затем уже — ехать. Завтра будем складывать чемоданы, а послезавтра, в среду, надеюсь, выедем... Скоро расцелую мою крошку.

Завтра ещё раз еду в Ницу с одним графом и вечером — обратно. Скоро поболтаем обо всём и заживём по-прежнему. Обнимаю тебя, моя родненькая, и крепко целую.

Любящий твой Севун. Поцелуй мам и — всех.

...По возвращении Всеволод узнал, что Верочка ждёт ребёнка.

ЮРА

Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало...

А. Фет

Он родился 13 октября 1927 года в 16-м округе Парижа, а вырос в Медоне, близком пригороде. Жизнь там была дешевле, вот и осели в нём многие русские семьи, и городок назывался у них на русский лад — Медонск.

Матерью крёстной всех первенцев ахтырских офицеров по традиции становилась великая княгиня Ольга, шеф полка, сестра государя Николая Второго. В эмиграции она проживала в Канаде, была преклонных лет и чаще всего становилась крёстной заочно. Так было и в случае с Юрой. 21 февраля 1928 года от Ольги пришло письмо:

«Милый Всеволод Николаевич, очень рада быть Крёстной матерью у вашего маленького сына Юрия!

Вот трудно будет такого большого человека крестить. Интересно, кто вместо меня должен бороться с ним?

Желаю всего самого светлого маленькому человеку и его родителям. Будьте здоровы и счастливы.

Ещё вам шлёт привет Александра Мих. Искра. Она здесь, бедная, работает 7 лет в подвале винного склада...

Любящая вас Ольга.

Пришлите карточку его, когда будет. Любительскую, пожалуйста».

Великая княгиня Ольга Александровна была так же проста в обращении, как и брат её, государь Николай Александрович. Она продолжала

любить всех своих ахтырцев, приезжала для встречи с ними в Париж. Многие офицеры её полка поселились в Канаде, чтобы быть с ней рядом. Это была большая и, несмотря на отдалённое проживание, тесно спаянная военная семья русских легендарных гусар, во главе которой по-прежнему стояла великая княгиня Ольга, шеф полка и последняя из царской семьи.

Гусарам праздник небывалый,
Пирует дружная семья,
Гремит ахтырцев хор удалый
Сестру приветствуя Царя.

Три века мы непобедимы,
Повсюду нас боялся враг.
И Богородицей хранимы
Мы гордо держим славный стяг.

Сегодня пир! Гремите своды
Во славу Руси и Царя,
Княгине нашей многи годы
И их Высочествам — ура!..

31 августа 1951 года.

«Милый Крестник Юрий,

Только что получила... от тебя красивый платок, шёлковый, наверное, собственной работы. Спасибо тебе сердечно! Я помню твою карточку, (показал мне твой папа), когда мы были в Париже, — и я всё ещё представляла себе вас маленькими красивыми детишками! Оказывается, вы все теперь уже взрослые... Время бежит. Всем вам шлю сердечный привет.

Храни тебя Господь.
Любящая тебя Крёстная
Ольга».

Ольга Александровна была талантливым художником, одна из написанных ею картин хранится у Юры в доме. На ней — заснеженный лес, просека и, едва различимая сквозь снежное марево, одинокая лесная избушка. Сюжет русский, а затерянность выглядит даже привлекательной и желанной.

...В 1930 году родились близнецы Нина и Николай, и Вербицкие зажили большой семьёй. Раннее детство было «русское», до школы Юра не знал французского языка и каждое воскресенье бывал с родителями в русской православной церкви. Они шли пешком по холмистым медонским улицам в Клямар. При маленькой деревянной церкви Константина и Елены была устроена для детей «четверговая» школа. Занятия по русскому языку, праздники Рождества, Пасхи, исповеди у священника, перед которыми Юра волновался и плакал, — всё это создавало особенность характера, типичную почти для всех детей первой, — белой эмиграции.

У них, рождённых на чужбине, ощущение сиротства, оторванности было острее, чем у родителей. Настоящими эмигрантами были именно они, — никогда не видавшие Родины. Может быть, родительский стресс сформировал в детях всегдашнее, непреходящее чувство потери её навсегда. Всё, что было связано с Россией, возрастало до символа и ощущения Промысла, а Юре, как никому, была дана возможность творческого возвращения души.

Всё способствовало этому, всё, — вплоть до чуда.

...Юре было лет восемь, когда родители устроились на лето в маленькой французской деревушке километров за двести от Парижа. С детьми жила Верочка, а Всеволод работал и наезжал изредка. Место было живописное: мощные пологие холмы, покрытые ярко-зеленой травой, небольшие, сделанные из камня дома, коровы, овцы, но главное — ощущение широты и свободы, напоминавшее Вере родное имение Ровно...

Целые дни дети бегали по холмам, было много солнца, пили парное молоко и — пришло время отъезда. Накануне вечером пошли прощаться с молочницей Бланш, молодой и крепкой крестьянкой. Она спросила у Юры, хорошо ли ему отдыхалось в их местах. Мальчик ответил, что всё бы хорошо, да, к несчастью, бегая, он выронил где-то перочинный ножичек, подарок отца. Сколько они с мамой ни искали, не нашли. Бланш сочувственно покачала головой, и вдруг посоветовала:

— Ты бы попросил нашу Мадонну...

Юра знал, что в стороне от деревни, если идти дорогой и обогнуть самый большой холм, начнётся низина, поросшая деревьями. Затем, густая и превращаясь постепенно в бездорожный запутанный лес, деревья круто поднимутся на большую высоту и закроют низину от солнца, сохраняя в ней прохладу. А там, в сумраке, бьёт из-под земли холодный, чистый родник, и над ним с незапамятных времён стоит, высеченная из камня, фигура Мадонны с младенцем.

— Я думаю, что Она может помочь, — сказала Бланш. — Попроси...

Большой риск — такой разговор с ребёнком, но речь, в данном случае, идёт о Промысле.

Уже темнело, Юра воспользовался тем, что мать занялась с малышами, и припустил в сторону от деревни. Он был абсолютно один на всём этом огромном пространстве, между высоким летним небом и землей, отдающей тепло, полученное за день. Низина, к которой Юра направлялся, чернела вдали. Там уже наступили густые сумерки, фигура Мадонны была не видна, но Юра приближал её к себе мысленно, вдохновением надежды, чувствуя готовность разрыдаться.

Он решил сократить путь, свернул с дороги и побежал прямо через холм по влажной от росы траве. Сбегая вниз, Юра почувствовал идущую от низины прохладу, и в тот же миг наступил ногой на свой потерянный ножик...

Впоследствии Юра прошёл испытание, сходное, пожалуй, по тяжести с испытаниями многострадального библейского Иова, — и Юра тоже не усомнился. Ему в жизни выпало свидетельствовать о единственно возможном для человека: сознательно принять Дар жизни, осмыслить его и, созидая самого себя, идти трудным путём Любви.

В нём от рождения были заложены качества, которые считаются типичными для русского человека: терпение, щедрость, способность прощать и — «очарованность» жизнью, умение радоваться каждому её моменту. И ощущать неповторимость своего присутствия на этой земле, святость труда и созидания. Всё, что выходило из-под рук человеческих, было для Юры всегда драгоценно и всё составило его оригинальную коллекцию всего, что «рукотворно». Особенно — старые рабочие инструменты: молотки, пилы, топоры, — всё это он собирал, любовно берёг и до сих пор пользуется, испытывая радость от соприкосновения с прошлым.

Но главной темой его жизни, можно сказать его миссией, было сберечь на чужбине русское, сберечь и передать дальше: книги, фотографии, ноты, записи, разные сентиментальные мелочи, всё то, что когда-то многочисленные изгнанники привезли из России. Но, — прежде всего, — Юра хранил полученную от родителей Православную веру. В тех местах, где он оказывался по жизни и работе — в Медоне, Париже, Марселе, С-т. Женевьев де Буа, там, где были русские приходы, Юра обязательно пел в церковном хоре и участвовал в «русской» жизни, особенно если это касалось детей. Устройство для них праздников Рождества и Пасхи, изучение русского языка и закона Божьего, — всё его касалось, и времени своего он на это не жалел.

В сегодняшней жизни на этом пути — одни разочарования, внуки первой русской эмиграции все уже, в основном, французы, но Юра не отчаивается, он — верит и хранит. Идею Православия он определяет од-

ним словом: — Свидетельство, христианин должен Свидетельствовать... После этого слова возможно только многоточие, дальше — Великое таинство, и, чтобы его понять, нужна индивидуальная работа души каждого.

...Живущий рядом человек — всегда загадка, Юра не любит рассказывать, как видит окружающий мир. Об этом можно догадаться по тому, как ему хорошо в горах. Там он счастлив.

В самую разную погоду оказывались мы в Альпах: в тёплую и солнечную, под дождём, в грозу. Случалось, шли по глубокому снегу. Мне не всегда бывало уютно, альпинист я не опытный. Иногда, признаюсь, я откровенно боялась. Вид вечного снега на вершине Монблана, молчаливые льды веками ползущих вниз ледников вызвали у меня желание оказаться где-нибудь внизу на зелёной равнине. А Юра был «у себя». Помню, в Альпах, в конце ноября, лезли мы наверх в сплошной снежной белой мгле, нам встречались только дикие козы, которые смотрели на нас с удивлением. Или в яркий солнечный день мы шли в скалистых горах на перевал, за которым была Италия. Миновали горное озеро, нестерпимо синее и холодное даже на вид, и потом, поднимаясь, долго видели, как блещет оно, превращаясь в точку. Устраивали ночёвки в палатке и ночью смотрели на огромные удивительные звёзды, в горах они виделись совсем по-другому, нежели с земли. Другим там становился и мой Юра, он наслаждался высочайшим искусством, — поэзией и музыкой неповторимой природы, в которой так отчётливо и близко угадывается Творец...

Они друг друга всегда понимали, Юра и горы, у них много общего: непостижимы и одиноки. Те же самые чувства испытывал, вероятно, в горах и поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, дальний Юрин родич, который написал в «Герое нашего времени»:

«...Мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к при-

роде, мы невольно становимся детьми; всё приобретённое отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять».

РУССКИЙ СОКОЛ

Как же хотелось им в Первопрестольную
Въехать однажды на белом коне....

Р. Рождественский

Таким Юру воспитали не только родители, его взрастили «сокола», — общество, членом которого он стал с восьми лет и остался на всю жизнь. Высокие жизненные идеалы Юра с детства угадывал безошибочно, «сокола» соответствовали этому определению полностью.

Хочется остановиться на самом понятии эмигрантских «организаций». Слухи о них в Советской стране носили оттенок явно насмешливый. Несомненно, бывшие офицеры русской армии хотели видеть в детях своё, то есть, российское продолжение. Им казалось, что если не они, то дети их, быть может, возвратятся на Родину, и пусть будут подготовлены, возвращены лучшим образом. Были «Витязи», «Скауты», «Разведчики», но идея Сокольства, по моему мнению, как нельзя лучше отвечала чаяниям русских изгнанников.

Исторически движение это возникло в Чехии в девятнадцатом веке, в период порабощения этой страны Австрией, с целью объединения национальных сил. В Россию пришло в конце XIX века и впервые, по понятным причинам, возникло на национальных окраинах — в Тифлисе и в Ташкенте. Затем, по инициативе П.А. Столыпина, оно нашло примене-

ние в Русской армии. А потом, начиная с 1900 года, Сокола распространились, «разлетелись» по всей России.

Недоверчивое первоначальное отношение царского правительства сменилось интересом к сокольству, как к системе воспитания выносливости и национального самосознания. «Отцы» России в лице государя Николая Второго и его первого министра заботились о будущем страны, о молодом поколении. Гимнастика, конечно, всегда существовала, но в русском обществе долго отсутствовало понимание того, что без закрепления вековых традиций России невозможно будет сохранить своё место среди других народов. Идеи соколов объединяли обе проблемы — физическое и патриотическое воспитание.

Война 1914-го года пришлась на самый расцвет сокольства в России. Она началась накануне первого всероссийского слёта соколов в Москве, который не состоялся: почти все члены общества отправились на фронт. Затем — революция и Гражданская война. В 1923 году сокольство в России было объявлено нелегальным в русле борьбы большевиков с национальными организациями.

Но русские эмигранты взяли сокольство в изгнание, как важную часть православного воспитания и национальной культуры. Они создавали общества в Чехии, Сербии... К слову, сербский король Александр I и наследник были соколами.

Во Франции русские сокола появились в 1927 году — в Медоне. В Париже они стали печатать журнал и ежемесячную газету «Россия за рубежом». В ней сотрудничали известные писатели-эмигранты — Шмелёв, Зайцев, Мережковский, Гиппиус. Но идеи «сокольства» были враждебны всем тоталитарным режимам, поэтому во Франции в годы немецкой оккупации деятельность общества была запрещена.

...Юра, Николай и Нина Вербицкие стали членами «медонского сокола» в середине тридцатых. С самого раннего детства — занятия гимнастикой и духовное воспитание. Малышам повезло, их воспитатели были прекрасными людьми, — образованные, любящие детей русские патриоты. У них хватало сил и желания передавать «эстафету».

Стараниями старосты медонского общества В.А. Петрова и краевого воспитателя профессора П.Е. Ковалевского, в Париже устраивались Дни русской культуры для детей и юношества. Надо сказать, что особенное внимание обращалось на молодёжь из малообеспеченных русских семей, чтобы дать им возможность расти в атмосфере православной культуры.

«В мышцах — сила, в сердце — отвага, в мыслях — Родина», таков был девиз.

Всё, чем жил «медонский сокол», что формировало мировоззрение детей и воспитало Юру Вербицкого, становится понятным из письма его основателя, Владимира Антоновича Петрова, своим воспитанникам:

«...Соколам и соколкам, принявшим сокольский завет, трудно, конечно, вдали от Родины выполнить свой сокольский долг. Особенно, когда с течением прожитых лет в приютивших нас странах приходится принимать на себя разные обязательства, вплоть до подданства или вступления в ряды армий этих стран.

Однако русские сокола не теряют веру в Россию и, духовно укрепляемые Церковью, вдохновляются прекрасными заветами русского Сокольства, следуя дружно нога в ногу, душа в душу по его пути.

Каждый человек избирает себе жизненный путь. Этот выбор обычно добровольно, но должен быть ясен и продуман до конца. Не решаться вступить на него, оставаться на распутье, это — гибель для человека, а в лучшем случае — прозябание.

Но путей много, они расходятся, и можно пойти по пути к личному благополучию, благополучию своей собственной семьи, к личному материальному успеху. К сожалению, этот путь приводит к наживе, в ущерб своей и всех русских людей чести и даже против своей совести. Другие пути ведут к личной славе, личному счастью, личной победе, торжеству, успеху, награде и, к сожалению, тоже иногда за счёт других, может быть, более скромных и честных тружеников.

Остаётся ещё путь — прямо вперёд. Это путь — к общему благу, через свою семью — к общему благополучию, к общему счастью. Это — жизнь для других, часто только для других, во имя общих интересов, жизнь до самозабвения, самоотрицания, до самопожертвования.

Вот это и есть наш путь — истинный сокольский путь. Путь этот тернистый, на нём много встречается труднопреодолимых препятствий, он требует многих жертв, часто незаметных, неблагодарных. Но это путь интересный, радостный, так как он ведёт нас к желанной цели, к осуществлению нашей мечты, наших надежд и упований.

Зоркими сокольскими глазами нужно хорошо отличить этот наш путь от других путей...

Двигаться по нашему пути без веры в Бога, без веры в Россию, это значит не дойти до его конца. Кто вздумает сокращать дорогу — сойдёт с пути, а возвращение назад — это разочарование, озлобление и даже предательство.

Чтобы хорошо увидеть этот наш единственный путь, надо, прежде всего, каждому стать лучше, чем он есть, надо в своих моральных качествах подняться над житейской суетой.

С чистыми, просветлёнными мыслями, с возвышенной, одухотворённой лучшими порывами душой, будем зорко всматриваться в даль. И тогда мы увидим страдающий лик нашей общей матери-родины России.

Вот тогда только мы услышим стоны русских людей, погибающих от непосильных принудительных работ, заточённых в тюрьмы и лагеря.

Кто услышит эти стоны, у кого содрогнется при этом сердце, тот поймёт и наши цели, и наши заветные устремления.

«Не в силе Бог, а в Правде», а Правда Божья — в любви к человечеству, в любви к своему народу, в любви друг к другу.

Вот русские сокола и несут с собою, от души и сердца, этот горячий призыв к братству и, прежде всего, во имя своей Родины — России.

Облагородить свою душу, смягчить своё сердце, стать рыцарем своего слова, своих мыслей, желаний, поступков, своих действий — вот наша сокольская задача духовного и нравственного совершенствования.

А вместе с этим, укрепляя своё тело, развиваясь физически в условиях здоровой братской семьи, сокола становятся крепкими, сильными и твёрдыми, защитниками чести и достоинства России и русского народа.

Сокольство — это рыцарский орден, братский союз соколов-крестоносцев.

С нами Бог!

Помни Россию!»

На многих фотографиях я видела запечатлённую Юрой сокольскую жизнь. Построения у флага, гимнастические соревнования высокого уровня спортивной подготовленности, спектакли, концерты, лекции, танцы, «вылеты» в лагеря. Таким был лагерь на Женевском озере, где сокола штурмовали Альпы, и где Юра на всю жизнь обрёл горы. В лагерях всегда существовала походная церковь и священник, день сокола начинали и кончали молитвой...

В то время они принимали участие почти во всех спортивных соревнованиях французов и завоевали большое количество призов. Волей-

больная команда Ники Вербицкого не раз побивала на встречах французские команды.

В 1977 году сокола устроили пятидесятилетний юбилей своего «Медона». Собралось более 250 человек. Последний старейшина, Константин Фёдорович Плахов, так описал строй соколов:

«...Торжественный вынос знамён. Под звуки Преображенского марша, Юра Вербицкий выводит знамёна. Первое знамя — МЕДОНСКОЕ, выносит Ника Вербицкий...

Глядя на Юру и Нику со знамёнами, незабываемое радостное чувство охватывает сердце. Оба брата, два солидных «чудо-богатыря» времён Суворова, Кутузова, времён покорения Кавказа с наших старых гравюр. Нужно иметь в виду, что братья Вербицкие во время основания Медонского Сокола общества ещё не родились на свет...»

(«Выводить» знамёна — идти впереди знаменосцев).

Гимн русских соколов звучал как клятва России, которую они пронесли через всю свою жизнь:

Боже сильный, Боже правый,
Ты всемилостив и благ:
Пусть над русскою Державой
Реет снова русский флаг.
В теле — сила, в сердце — пламя,
В мыслях — Родина у нас;
И хранит родное знамя
Сокол даже в смертный час.
О, услыши, Боже правый,
Ты молитву соколов
Дай узреть России славу,
Русь избавить от врагов.

...К сожалению, мне достались только воспоминания о соколах. В Медоне Юра показал маленький особняк, где бывала «русская ёлка», и огромную площадку возле Обсерватории, где сокола устраивали свои праздники. Это, должно быть, было прекрасное зрелище! Одетые по форме, которая делала их и впрямь похожими на рыцарей, выходили они, неся своё знамя, строились, после молитвы и поднятия русского флага пели гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» и — начинались показательные выступления. С каким восторгом и удивлением смотрели зрители-французы на то, что выделявали русские: вольные упражнения малышней, гимнастические выступления на снарядах юношей и девушек.

А ещё все они были прекрасными танцорами, и всё этим всегда заканчивалось.

До сих пор каждый год в Париже устраивают зимний бал чешские сокола, я побывала с Юрой на таком балу. Ах, как там танцевали вальс! В большом зале в бальных нарядах кружились пары всех возрастов. Я увидела весь набор русских бальных танцев, о которых знала только из литературы. Именно — увидела, так как, увы, принять участие не могла. И в момент, когда Юра, подпрыгнув и, лихо щёлкнув в воздухе каблучками, пригласил меня на мазурку, я в который раз с грустью подумала, что он, родившийся во Франции, принадлежит русской культуре в большей степени, чем я.

... Вот таких людей потеряла наша Россия. Вообще большевистский режим за восемьдесят лет истребил почти сто миллионов россиян. Сто миллионов лучших, нравственных, способных и энергичных людей были выброшены, кто из жизни, кто в изгнание, именно за эти их качества. Потери перестройки — это уже другой счёт, но и он — следствие того же режима. Как осложнение после тяжёлой болезни.

Уникальнейшее мировое явление — русская православная культура, духовный потенциал страны, накопленный веками, были или уничтожены, или развеяны по всему миру.

Теперь постсоветская Россия занялась «археологией», начались «раскопки» утраченных сокровищ. Словно открылся пред ней старинный бабушкин сундук, а там богатства русские неисчислимы: философы да богословы, исконные воинские, армейские традиции, великое искусство! И, — главное — над всем этим русским миром, бережно хранимым эмигрантами за рубежом, стоит вывезенная из России и таким образом спасённая святая русская церковь, не иссякавший ни на минуту родник истинного православия. Она объединила изгнанников и укрепила их на торном пути. Трудно переоценить подвижнический труд православных священнослужителей особенно в первые, тяжёлые и беспросветные годы жизни эмиграции.

Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн в своей книге «Бизерта. Последняя стоянка» вспоминает детство, проведённое на старом броненосце «Георгий Победоносец», который в 1920 году навсегда встал на причал в тунисском порту и превратился в убежище для русских моряков и их семей:

«...Достоинство, людское уважение — все чувствовали в них необходимость, чтобы переносить трудности тесного общежития в исключительно трудных условиях. Несколько сотен человек разного социального происхождения, разного воспитания, образования и возраста годами жили в ограниченном пространстве корабля. И всё же мы, дети, от этого не страдали. Детство наше было исключительно богато, несмотря на материальные трудности... Полнота нашего детского мира во многом была обязана нашему религиозному воспитанию, определявшему повседневно-

ную жизнь. Воспоминания о наших тихих всеобщих на «Георгии» — одно из богатств нашего исключительного детства.

Полутёмная церковная палуба старого броненосца, золото икон в колышущемся мерцании свечей и чистая красота в обрётённом покое вечерней молитвы «Свете тихий»!..

Несмотря на потерю родной страны, церковь продолжала жить на кораблях, в лагерях, в казематах, в частных квартирах...»

Но, к сожалению, стране нашей пока не всё «впору» из «бабушкиного сундука». Многие факты российской истории так и не становятся официальным достоянием, не доходят до россиян, не попадают в справочники и учебники, а отмечаются лишь «походя», из «приличия» и желания произвести на бывших соотечественников хорошее впечатление. Старый советский приём, — «фигура умолчания», — с успехом использован в так называемой «новой» России. Истина осталась информацией для узкого круга. А жаль! Ведь Патриотизм — привилегия только той страны, где история подробна и правдива.

Знают ли, к примеру, российские дети тунисский город Бизерта, где окончил своё существование Русский флот, детище Петра Первого?

Вспоминает ли сегодняшняя Россия хоть на каком-нибудь своём торжестве, сколько её сыночков, не успевших стать ни «белыми», ни «красными» полегло в Первую мировую? Убитые до 17-го года, они даже не узнали об октябрьском перевороте. В чём их вина перед родиной и куда делась память о них?

История антисталинского движения времён Второй мировой войны, история Русской освободительной армии генерала Власова уже полвека покрыта в России «густым туманом». По-прежнему используются лживые советские штампы. Расправу над русскими пленными «без суда и

следствия», зверскую репатриацию 1945—1946 года Россия «наследовать» не хочет. Эти русские могилы ей не нужны, гнушается она памятью своих сынов в Лиенце и Платтлинге, и хотела бы забыть о них вовсе.

Многое ещё предстоит вписать в русскую историю!

...Есть у нас с Юрой знаменательный день в году, — по весне мы отправляемся в маленький Мурмелон, что неподалёку от Реймса, на панихиду по русским воинам. Экспедиционный корпус, посланный во Францию в 1916-м году, — это наша история и русская слава. В 1917 году из дивизий экспедиционного корпуса был создан Русский легион чести, который спас репутацию России, смыл позор Брест-Литовского мира. Пятьсот человек сдержали слово, данное союзникам в 1914-ом году Государем и Россией.

«...Я счастлив довести до сведения всех русских, находящихся на территории Франции, о геройском поведении на поле битвы солдат Русского легиона. Слава этим храбрецам, которые проливают свою кровь, отдавая жизнь за общее дело.

Это истинные герои, которыми будут гордиться все будущие поколения.

Генерал Брюляр. 1918 год».

Благодаря солдатам и офицерам Легиона чести на Триумфальной арке Парижа развевается Русский флаг. Сынам России, в числе других, зажжён вечный огонь, в памятный день Франция и пред ними благодарно склоняет свои знамёна.

Одетый по форме, в малиновой рубашке, проносит Юра, как много лет подряд, сокольское знамя мимо могил Русского экспедиционного корпуса. Стройными, как на марше, рядами, высятся белые кресты с именами. Среди них — могила Поликарпа Ляпичева из подмосковного го-

родка Реутово, погибшего за Францию солдата 1-й особой бригады генерала Лохвицкого. Он не вернулся домой, в Россию, остался лежать в чужой земле. На панихиде я мысленно передаю дорогому Поликарпу поклон от родных и Отечества...

...Я стою у родных могил в чужих краях, зная твёрдо и готовая поручиться, что близкие мне люди дорогую свою Россию всегда несли в душе и, не жалея жизни, при всех обстоятельствах выбирали свободу ей в удел.

Я надеюсь и жду того момента, когда христоролюбивая Родина-мать скажет всем своим забытым сынам тихие слова: «...Буди вам всем братия и дружи, Православнии христиане, вечная память! И помолитесь о нас, вы бо вязостесь нетленными венцы от Христа Бога».

Я вижу этот день ясным, солнечным и по-осеннему прохладным, каким, быть может, был сентябрьский день 1380 года, когда в селе Монастырщина хоронили воинов, павших на поле Куликовом. И пропоют священники «надгробныя песни над избиенными» по всей земле, над всеми неисчислимыми полями, где полегли русские люди, русские воины. И будет музыка. Ласково и грустно, как светлое воспоминание, полетит над могилами старинный военный марш «Прощание славянки».

Бог весть, когда это произойдёт... Не следует упрекать в забывчивости и бессердечии нынешнюю Россию, после десятилетий мрака и оглушительных человеческих потерь это ведь уже не Святая Русь, а совсем другая страна...

СЮЖЕТ ДЛЯ РОМАНА

Я здесь был рождён, но нездешний душой...
М. Лермонтов

Так совпало, что дорогие, близкие мне люди и мои герои, — Камилл Икрамов и Юрий Вербицкий оказались ровесникам. Их родители — тоже. И те, и другие — истинные дети России, но какие судьбы, какой сюжет для приключенческого романа! Особенно, если проследить корни этих семей. У одного мальчика арабская ветвь родословной восходила к одному из создателей Корана. У другого — к шотландскому поэту XIII века Томасу Лермонту, известному как Томас Стихотворец из Эрсильдауна. Ему, будто, принадлежала одна из версий истории Тристана и Изольды. По легенде, он не умер, а ушёл в страну троллей, откуда возвращается каждые сто лет...

Вот бы, начав издалека, воссоздать эти семейные линии! Рассказать о том, как оказались они в России, которая всегда манила чужеземцев, как достойно прошли через её немыслимую историю и явили миру прекрасных, дорогих мне людей, — Камилла и Георгия-Юру...

Но это уже другая книга, достойная пера Александра Дюма, последняя глава которой могла быть посвящена их внукам. Волею судьбы были занесены в Россию деды, и не вина внуков, что они родились за её пределами.

Матвей и Камилла живут в Германии. В их доме висит портрет прапрабабушки Людмилы Александровны Монастырёвой и портрет деда Камилла Икрамова. Бывая у нас в Ste Genevieve des Bois, они приходят на русское кладбище, на могилу прадеда Ростислава Сидельникова. Им и в голову не приходит, что среди их друзей, может быть, есть по-

томок светловолосого немца, раненого в России под деревней Мясной Бор, которого когда-то спас их русский прадед. Они не знают, что такое война и ненависть. Матвей — пацифист. Вместо армии он выбрал «альтернативную» службу. Будет работать в больнице или доме для престарелых. А потом, может быть, станет биологом. Камилла-Женя всерьёз интересуется театром, играет на виолончели и любит лошадей.

Дочь Наталью и сына Александра Юра воспитывал в «русском» духе: они учили язык, бывали на воскресных и праздничных службах в церкви, ездили в сокольские лагеря. А внуки — милые француженки Александра и Марина, из уважения приходят к бабушке на праздники русской Пасхи и Рождества, рассматривают старые фотографии, но Россия для них словно далёкая планета, стихи предка Михаила Лермонтова — неведомы... В память о русской прабабушке они прилежно занимаются музыкой. И однажды расплакались, когда Юра рассказал, как их родные покидали Россию, как стали беженцами.

Мир устал противостоять, и, похоже, новому поколению всё меньше хочется его делить. Порой кажется, что на прошлое у молодых времени нет. Но вот живёт в Москве Алёша, внук моей дорогой сестры Инны, он — музыкант, много читает и всерьёз интересуется историей России, историей Православия. Так что, — жизнь длинна и непредсказуема...

ДОМ НА РЕКЕ МСТА

...Состояние всего края... было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые...

*А. С. Пушкин Черновая, «пропущенная» глава
из «Капитанской дочери»*

... Встреча с Юрой была для меня в полном смысле слова — целебной. Когда я начинала вспоминать тяжёлые жизненные сюжеты, он выслушивал с выражением всегдашнего своего дружелюбного внимания, а потом говорил: «Не болей... Вспоминать можно, а вот болеть — нет».

Поначалу я думала, что Юра не точно выбирает слова, имея в виду, что не надо переживать, вспоминая прошлое. И только спустя время я поняла, насколько точнее для того, что я чувствую определение «болезнь». Юра учил меня необходимой мудрости, чтобы жить, не разрушая себя: «Судья — один Бог...»

— Как бы то ни было, — говорил он мне, — ответственность бывает только личная.

В результате этой встречи каждый из нас удвоил в себе желание жить, радоваться и действовать. Мы поделились сокровенным: много путешествовали, разыскивали «прошлое», и, наконец, отправились в российскую глубинку, которой Юра никогда не видел. Мы отправились на поиски дома, где родилась и выросла его мама, Вера Николаевна. Так же, как и я, Юра должен был, наконец, обрести свои законные корни, заполнить «белые пятна» своей родословной.

...Мы ехали по шоссейной дороге, что вела нас вначале на Ленинград — Петербург, затем на Валдай, а уж потом, миновав его мягкие подъёмы и впадины, мы повернули на озеро Пирос.

Навстречу нашей машине бежала жизнь стабильно-утлая, бедность и неприглядность которой привычно трогали душу. Я старалась понять, испытывает ли то же самое Юра, видя такую вот любимую мной Россию первый раз в жизни.

За окном машины мелькали мёртвые, но величественные остатки храмов, черные деревенские дома с кривыми заборами, новые, непременно красного кирпича, особняки, выскакивающие вдруг неожиданно и нарушающие стиль пространства. И всё это размещалось на огромных свободных для будущих человеческих дерзаний площадях.

Озеро Пирос должно было увенчать наши поиски. Название это не один раз было отмечено на старых фотографиях в Юриных альбомах: лодки и дамы на вёслах — на озере Пирос, будто из пьесы Чехова чаепитие на воздухе — на берегу озера Пирос...

Нас вёз Андрей, очень славный человек и опытный шофёр. Он впервые видел так близко живого француза, да ещё говорящего по-русски, и старательно развлекал зарубежного гостя — знакомил его с отечественными анекдотами, байками и русским фольклорным пением в современной обработке. Из окна нашей машины громко несло «На закате ходит парень возле дома моего...», когда мы достигли, наконец, желанных берегов Пироса.

Бескрайность озера поразила нас. Спокойная его вода простиралась до самой кромки горизонта, едва заметной глазу. Казалось, что там она остановлена начинающимся лесом, а потому, насколько возможно, разлилась вширь.

Красота природы искупала, как всегда, бестолковщину человеческих усилий. Какие-то «невлад» торчащие домишки, — или развалюхи, или краснокирпичные выскочки-особняки, словом, наспех сложенный российский быт последних лет.

Следов старины видно не было, если не считать остатков сильно разрушенной церкви на пригорке, над самым озером. Степень разрушения была бы даже пугающей, если бы не куры и козы, которые в большом количестве бродили возле храма, заходили внутрь и успокаивали взгляд своей непринуждённостью.

Оглядевшись, мы увидели торчащие из земли куски старой кирпичной кладки, и Андрей радостно, что называется, предъявил их Юре.

— Вот и Ваше имение! С прибытием!

Юра задумчиво изучал окрестность и, в конце концов, сказал, что мы ошиблись, это не то место. Андрей был огорчён: человек первый раз в России и, пожалуйста, — со своим мнением.

— Вот озеро, а вот тут — был дом. Конечно, по развалинам понять трудно. Но у меня глаз верный. И церковь рядом, как на Ваших фотографиях. Ну, не совсем такая... Что и говорить, всё это немного изменилось после того, как родные ваши отсюда уехали...

Мы пошли искать «старожилов», нам указали, где живёт самая старая жительница села. Девяностолетняя, но крепкая бабушка, выслушав нас, Юру поддержала:

— Не-ет, таких господ у нас не было, наши — другие...

Она старалась рассмотреть бледное изображение на фотоснимке, и — узнала, обрадовалась.

— А-а! Так это — Ровно! Вот тама ваши были. Это — не тут, это дальше, туды, к Боровичам! А наши господа, они — другие.

Мы поехали дальше, и, больше ни разу не сбившись с дороги, подъехали к имению. Сразу бросились в глаза развалины флигелей по бокам основного, большого двухэтажного дома. Но сам он из-за высоких деревьев в первый момент показался сохранившимся и живым. И только приблизившись, увидели мы, что это не дом, а «скелет» дома. Двухсотлетней давности постройка сопротивлялась гибели, и внешние стены сохраняли ещё давний облик. Не было окон, дверей, за их проёмами сгущалась таинственная тьма, и мы вступили в неё...

Внутри был только битый кирпич, но дом умирал достойно и не пугал «мерзостью запустения». Когда глаза наши привыкли к темноте, проступили черты былого — остатки лепнины на потолке, следы угловых печей.

Юра оглядывался, смотрел куда-то вверх, пытаясь удержать слёзы, и не веря, что он — у себя. Что он вернулся, наконец, в родной дом.

Андрей, пряча лицо, пробормотал:

— Пойду, покурю...

Я вышла следом, солнечный осенний день обступил, пытаясь отвлечь от грустного впечатления. Дом стоял на самом берегу порожистой Мсты. Когда-то на обращённой к реке стороне были балконы и террасы, сейчас только ровная травяная поляна перед домом напоминала о былом порядке. Она кончалась кромкой высокого обрывистого берега, и на этой черте я остановилась. Подошёл Юра, встал молча рядом. Вместе мы смотрели на знакомую уже, повторяющуюся картину российской глубинки: — раскиданные за рекой домишки, печальные остатки какого-то храма... Шумела на дальних порогах речная вода, её запах напомнил мне милый дом моего детства под старыми липами.

— Спасибо за этот день, — сказал Юра.

...Очарованию этой земли противиться было невозможно.
Кончался двадцатый век.

...И прошло семь лет. Наша с Юрой жизнь продолжается, наступило время полного осмысления прожитого, время подведения итогов. Для нас этот процесс по-прежнему тесно связывается с судьбой нашей незабвенной родины. Как можем, мы стараемся быть полезными в России, делать то, что в наших силах. За прошедшие годы Юра многое увидел на своей исторической родине, но взгляд у него был не сторонний, с оценкой и критикой, а родственный, снисходительный к многочисленным её огрехам и недостаткам.

Посмотреть есть на что, она, наша Россия, живёт-выживает. Правда, жизнь медленно меняется к лучшему, проблемы остаются те же, что и в девяностых, не говоря о новых и тяжёлых. Живя в своей стране, российский гражданин всё ещё не чувствует себя «дома». Право и Защищённость в России так и не свили гнезда. Список жертв за это время возрос непомерно, он тянет уже не на мирное, а на военное время. Тут и «разборки» с бывшими братьями по гимну «Союз нерушимый республик свободных...», и вошедшие в моду заказные убийства, и непрекращающийся бандитский «беспредел». Гибнут по-прежнему лучшие...

Слава Богу, магазины не пустые, импортными продуктами страну просто завалили. Покупай, не ленись и вина, и сыры французские, и фрукты испанские. Так-то вот! Чем мы не европейцы? Всё есть, чего душа ни пожелает. Правда, «душа» сегодняшнего россиянина должна быть при деньгах, и желательно не при рублях российских, а при американских долларах. Одним словом, имущим — хорошо, ну, а неимущим — Бог подаст.

От увиденного я, чаще всего, бываю в отчаянии, а Юра — нет, он уверяет, что со временем всё изменится.

Количество особняков выросло, внешний вид многих по красоте и богатству давно превзошёл западные образцы, но Юрино внимание привлекают не сами дома. Он рассматривает трёхметровой высоты ограды, толстого металла пуленепробиваемые ворота и решётки на окнах. Не особняк, а крепость, готовая к осаде и защите, — это уж и вовсе не на западный манер, а родное, отечественное новшество. Людям при деньгах страшно жить: кроме очень богатых в России проживают очень бедные, обделённые минимумом, а этот ненормальный перепад всегда грозит неприятностями.

Конечно, земной шар — один, беспроблемной райской жизни на нём нигде не найти, но демократическая страна не та, где прекрасно богатым и бодрым, а та, где стараются создать достойные условия жизни старым, слабым и нуждающимся. Где закон — один для всех, без исключения.

Количество импортных продуктов питания в магазинах Юру обескураживает, это возмущает его хозяйственную, на генетическом уровне, «жилку». Он правнук помещицы, которая имела огромное, хорошо налаженное хозяйство. Её свиноводческий комплекс растил свиней на мясо и на редкий для России деликатес — бекон. Рыбный промысел на озере Пиррос давал много рыбы, Юрина прабабушка отправляла её в Петербург, Боровичи и Новгород. Туда же подводами отсылались сыры, яйца, зерно, мёд и многое другое. Христина Антоновна выращивала племенных лошадей, породистых охотничьих собак, и всё это приносило прибыль хозяйке, качественные продукты питания горожанам и рабочую занятость крестьянам окрестных деревень. Так и велось до 17-го года, ну, а потом:

Чем хуже моя Нина?
Барыни сами!
Таць в хату пианино,
Граммофон с часами!

В. Маяковский

Образовавшийся колхоз долго ещё эксплуатировал оставленное в образцовом порядке хозяйство, но чужое всё равно в прок не идёт. И даже Перестройка мало, что изменила в русской деревне, разве что в худшую сторону. А потому имение растаскивали, ломали, зачем-то снова строили, но потом, как в бессмысленном тягостном сне, опять ломали и разворывали. Как пелось в советскую пору: «всё вокруг народное, всё вокруг моё». Вот и громили уже не помещичье, а — своё. И теперь имение Ровно — просто груда битого кирпича, поля вокруг давно заросли травой. Большой, с умом, грамотно распланированный когда-то скотоводческий комплекс, каменные его свинарники и коровники пустуют, сквозь дырявые крыши прорастают могучие зонтичные травы. Это всё уже годится только для съёмки фильма о погибшей планете.

Не надо обвинять русского крестьянина, не он виноват, что живёт «без царя в голове». После долгих лет советского рабства, которое можно сравнить только с татарским игмом, сельскому жителю очнуться трудно. Человека можно свести с ума, примеров тому — предостаточно. В соседнем с Ровно селе Железкове в 30-ых годах сломали монастырь Иоанна Предтечи, святые мощи Апостола Луки выбросили, а на этом месте сделали свинарник. А в нашем Ровно маленькая приусадебная церковь Святой Великомученицы Екатерины, лишённая купола и колокольни, служила для сельской молодёжи местом отдыха и развлечений. Последнего священника двухсотлетней церкви, о. Петра Минецкого, расстреляли в 30-х годах, иконы были переданы в музей Новгородского кремля. Церковь сначала служила овощехранилищем, а потом стала деревенским клубом. Когда мы первый раз приехали в Ровно, в церкви были танцы. В алтарной части гремела цветомузыка, а там, где раньше пел хор, виден был уютный бар. Стены украшали изображения американских флагов, а также рисунки игриво-фривольного содержания. Тяжело было это видеть. Юре — особенно. Мы взялись за дело...

Спешу сразу сказать, что к этому моменту церковь снова стала местом молитв. Многие наши друзья и в России, и во Франции, способствовали этому. К нашему счастью, в Боровичах мы встретили замечательных людей и единомышленников. Все мы стараемся, чтобы внешний вид церкви стал прежним, потихоньку строится купол, надеемся, с Божьей помощью, восстановим и колокольню. И тогда наша «Екатериноушка» вновь глянет в российское небо своими нерушимыми и вечными крестами. Как память о наших родных, живых и ушедших героях этой книги,

Чтобы дети знали, что в действительности случилось в России, и почему они растут среди «мерзости запустения», мы написали историю дома и тех, кто жил в нём до 1917-го. Получилась книга с большим количеством фотографий.

Летом 2004 году в нашей церкви пел прекрасный женский хор боровического Святодухова монастыря, священник о. Валерий Дьячков отслужил молебен. Собралось много народа, были гости из Москвы, Новгорода, Боровичей. После молебна на большой поляне, возле живописных и грустных развалин усадьбы, представили мы нашу книгу. Цены у неё не было, и она не продавалась, но каждый мог пожертвовать в церковную кассу на восстановление храма Святой Великомученицы Екатерины.

Были выступления, говорили, пели, пили на берегу Мсты чай с пирогами. На стендах разместили увеличенные фотографии прежних обитателей усадьбы, Юриных родственников. Целая повесть, рассказанная любительскими снимками. Сияли навстречу всем чудесные улыбки детей, их бабушки Христины Антоновны, их родителей Александры Александровны и Николая Павловича. Все они были запечатлены на фоне русской природы и разнообразной усадебной жизни: жара и сенокос, молебен на берегу Мсты, прогулки, работа, ромашковые венки и святочные гадания под могучими ветвями заснеженных ёлок. Время на фотографи-

ях не стояло на месте, лица менялись, дети выросли. Девочки стали барышнями, вот они сняты в русских нарядах, а смешливый младший Ника в вышитой рубашке. У каждого из них на лице молодая уверенность в бесконечно долгой и доброй к ним жизни. Это 1915-й... Идёт война, но они уверены, что всё, как всегда, окончится хорошо. Россия непобедима и осилит всех своих врагов, Как может быть иначе? Ведь её защищает русская армия и их отец, храбрый и опытный генерал Николай Павлович Никушкин. Они не предвидят ещё своей трагической судьбы. А между тем она «стучится в дверь», скоро придёт страшный 1917-ый год. Нике осталось жить меньше года. Мария — Муся не знает, что в двадцать лет похоронят её в далёкой Сербии, на могиле напишут, что она «родилась в селе Ровно»... Застенчивый милый взгляд Верочки, будущей Юриной мамы, доверчиво и открыто смотрел со старого фото, вглядывался в родные ровенские просторы, навек родимые места. На фотографии она не предполагает ещё, что совсем скоро покинет Россию навсегда и, до конца своих дней, будет тосковать на чужбине. И старшая из сестёр, Александра-Шура, русская царевна — лебедь, в белом, наброшенном на голову шарфе. На фотографии она, как мечта, как душа прошлой, ушедшей в небытие России. Александра-Шура, восторженными стихами певшая жизнь, но прожившая так мало и так мучительно. Она, как и сёстры, похоронена в чужой земле, в Женеве, на её могиле тоже написали: «родилась в Ровно»... Но кто в далёкой Сербии или в Швейцарии знает, где находится село Ровно? Кто в тех далёких странах мог вообразить несказанную красоту маленького русского села, что расположилось близ города Боровичи на высоком берегу Мсты?

... Казалось, время повернуло вспять, изгнанники вернулись под родной кров и были тут, со всеми нашими гостями, среди безудержно-яркого летнего дня. Я читала собравшимся стихотворение из альбома Шуры:

...Радостно и ясно
Завтра будет утро.
Эта жизнь прекрасна,
Сердце, будь же мудро.

Ты совсем устало,
Бьёшься тише, глуше...
Знаешь, я читала,
Что бессмертны души.

Анна Ахматова.

... Юре поднесли хлеб-соль, низко, по-русски, поклонилась ему душевная Татьяна свет-Александровна:
— Простите нас, Юрий Всеволодович...

ЭПИЛОГ. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ СВЕТЫ

В страхе перед Господом — надежда твердая,
и сынам своим Он прибежище.

Книга Притчей Соломоновых

...Ясным августовским днём мы сидели на открытом крыльце дома моего прапрадеда, священника Николая Елевферьевича Монастырёва. Как положено, дом находился вблизи церкви. Оттого почти над самыми нашими головами уходила в синее небо высокая колокольня Михайло-Архангельского храма. Дом выглядел усталым, двести лет жизни угадывались во всём его облике: серых, словно седых, растрескавшихся дощатых стенах, косых, но хранящих древнее изящество, оконных рамах.

Прямо у крыльца ярко горела на солнце рябина, а за её пламенной радостью, по ярко-зеленому лугу, взгляд спускался к неширокой ленте реки Богтюга.

Хозяева дома, пара ещё молодых пенсионеров, внимательно слушали невесть откуда свалившихся им на голову гостей. А я рассказывала им о доме на Потылихе, о Севастополе и эвакуации. О Бизерте и русских могилах во Франции, под Парижем и Реймсом... И о том, как чудесным образом оказалась здесь, добралась до Богтюги, до родного мне дома, который не чаяла найти.

— ... Вот такой путь я проделала. Как в русской сказке, шла за волшебным клубочком, а он катился через поля, леса и болота, через горы и моря... И сейчас я чувствую, что круг моих поисков замкнулся. Я вернулась к себе.

Такими словами окончила я, наконец, длинный свой рассказ.

Хозяева с видимым облегчением вздохнули. Их внимание постоянно отвлекалось на внучку Свету, девочку лет двенадцати, которая всё время рвалась куда-то бежать. Личико её не меняло бессмысленно-упорного выражения, на происходящее вокруг она никак не реагировала.

— Все дети отца Николая родились в этом доме, — сказала я. — В этом храме их крестили, в том числе моего прадеда, Александра Николаевича.

— Церковь давно не действует, — сказала Светина бабушка, — при нас уж тут служб не было. Использовали только как подсобное помещение. Хорошо, что теперь хоть снаружи побелили...

Место вокруг выглядело пустынным, — луга, поля, дальний лес...

— Странно, — заметил Юра, — такой большой храм, а домов вокруг почти нет.

Хозяин явно обрадовался, что теперь и у него есть, что нам рассказать.

— Тут богатое село было, купеческое, восемь тысяч жителей. А церковный приход — шесть тысяч человек. Это я прочитал. Там вон, против

храма, каменные амбары стояли, по Богтюге баржи шли с товарами, хлебом. Так что, оживлённое было место.

Он с тревогой смотрел, как жена пытается изловить беспокойную внучку, встал и ушёл за дом, откуда слышались их голоса. Вернувшись, подал мне тяжёлый кованый топор, явно ручного изделия.

— В земле недавно нашли, когда грядки копали. Наверное, ваших прадедов... Покажете молодёжи своей, на память им будет.

Изделия далёкого кузнеца даже на вид внушали уверенность и надёжность.

— Чехов сказал, что русские любят вспоминать, но не любят жить... Может, это потому, что самое лучшее у России- в прошлом? В XIII веке было написано «Слово о погибели земли русской», это даже не воспоминания, это плач по той России, какой она была до татарского нашествия...

— Да, ... всякое бывало, — вздохнул устало хозяин дома.

Железо холодило руки, прохлада начинала подниматься и от реки. Перевалило далеко за полдень. Надо было прощаться, чтобы успеть побывать в храме, который нам обещали открыть. Хозяева пошли нас провожать. Шли мы, вероятно, тем самым путём, каким ходил когда-то в храм отец Николай.

Храм был могуч, величав и нетороплив. Казалось, он снисходительно и равнодушно взирает на окружающее запустение, терпеливо и мудро ожидая одному ему известного часа. Приблизиться к нему было невозможно, подступы защищали высокие, ветвистые, как кустарник, травы. Дедушка Светы задержал нас напротив выпуклой алтарной части.

— Я вот к тому, что вспоминать мы, русские, любим... Тут кладбище было. Видите, место, где самые заросли. Я мальчишкой был, мы тут бега-

ли. А народ, конечно, рылся вокруг, всё какие-то клады искали, помнили, что когда-то село богатым было. Рассчитывали, значит, что-нибудь найти... И вот бежит мальчишка, я его знал. Здешний, тут, недалеко жил. Бежит он и тащит крест, не маленький, основательный, на толстой цепи. Где взял? А там, говорит, возле церкви яма открылась, могила значит. Лежит старик с белой бородой, покрыт материей, а на груди этот крест. Люди в крик, да за ним, он — от них. Добежал до этого места, да и швырнул крест в заросли. Стали потом искать — не нашли. И никакой могилы не увидели. Одна трава, как сейчас... Некоторые наши мужики мечтали с миноискателем пройтись, да где его возьмёшь!

Беспокойная Света помчалась по дороге прочь от нас. Дедушка поспешил за ней. Его усталая супруга смотрела им вслед.

— Света, куда ты несёшься? Я тебе песню твою сейчас включу! — крикнула она и объяснила, — только когда песни слушает — успокаивается. Вот ведь горе какое у нас! На лето к себе берём, а зимой она в интернате специальном. И сколько же их там таких! Господи! Пока по врачам с ней ездили, — такого насмотрелись, кажется и сердце не выдержит. Что за напасть, какие дети нынче в России нашей рождаются!

Густая зелень мешала подойти к тому месту, где лежал мой прапрадед, но мысленно я попросила его ходатайства перед небесными силами за несчастную безумную Свету, за всех российских детей...

... Купола храма словно рвались к белым облакам. Узкая тропинка привела к открытым его дверям.

...Архангельские оперения
Лазурную узорят твердь.
В таком пленительном горении
Легка и незаметна смерть.
Покинет птица клетку узкую,

Растает тело... всё забудь:
И милую природу русскую,
И милый тягостный твой путь.
Что мне приснится, что вспомнится
В последнем блеске бытия?
На что душа моя оглянется,
Идя в нездешние края?..

Вот я и вернулась к себе после длинного пути через века и годы. Я вернулась домой, туда, где было моё начало, но не колокольный перезвон встретил меня, а молчаливый, заросший травой храм. Внутри него, огромного и двухэтажного, было не светло, молитвенно и благостно, а пусто, сыро, сумрачно и неряшливо. Стены были ободраны, облуплены. Кое-где ещё проступала роспись, особенно хороша была сохранившаяся на куполе фреска — «Торжество Саваофа», — неожиданно яркая и красочная. В центре её выделялась фигура Михаила Архангела, светловолосого и юного, с лучистым и детски-радостным взглядом голубых глаз.

Я подумала, что состояние храма напоминает сегодняшнюю Россию: её тоже пока немного «побелили» снаружи, но внутри она всё ещё искорёжена долгим владычеством Зла. Духовная связь с прежней Россией, которая взращивалась бережно, веками и, не спеша, шла к своему расцвету, оборвалась октябрьским переворотом 1917-го года. Можно, конечно, покрасить ободранные стены в этом древнем храме, но ведь никогда уже не восстановит в подлинности уникальные фрески середины XIX века местного художника Платона Тюрина. Подлинное — оно всегда единственно и неповторимо, и подделка ему — не замена.

...Луч уходящего солнца через окно упал в холодный сумрак храма. Светловолосый Архангел Михаил в сияющих латах летел с копьём над

нашими головами. Казалось, он видит что-то недоступное нашему взору, туда устремлён его небесной голубизны взгляд.

По узкой и долгой лестнице мы поднялись на высокую колокольню. Колокола давно были сняты, с пустой просторной площадки открывался чудный вид во все стороны. Всё, что в 1863 году видел в моём прологе прапрадед Николай Елевфертьевич Монастырёв, размышляя об истории России, о будущем её и потомков своих, — было сейчас перед глазами. Я попыталась представить, что понимал мой предок под словом «история».

В 1863 году Россия взяла старт на победное и славное шествие к своим вершинам, наметились демократизация общества и ростки конституции.

Освобождение крестьян от крепостной зависимости.

19 февраля 1861 г.

Осени себя крестным знаменем, православный народ,
и призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд,
залог твоего домашнего благополучия и блага общественного...

Александр

Как ликовал, как надеялся, должно быть, о. Николай, что потомки будут жить в век свободный и просвещенный! Дожил ли он до момента ужасного, рокового для России покушения на Александра Второго, стал ли печальный конец реформ и начало консервативного правления Александра Третьего? Мог ли предвидеть в будущем падение самодержавия, попрание Православия и печальный закат Российского государства? В любом случае, он надеялся, что промысел Божий не даст нам погибнуть... Надеялся и молился за Россию, как надо теперь молиться нам, всем русским, живущим «во отечестве и в рассеянии». Библейский про-

рок Иеремия во времена величайшего опустошения говорил своему народу, чтобы каждый покупал в своей несчастной земле дом и поле, как знак доверия к будущему. Надо надеяться, надо идти навстречу, надо помнить предков своих и подлинную, а не ложную историю своей великой страны.

... Чувство единства и вечности наполняло пространство вокруг. Даль казалась бесконечной и обещающей. Где-то за ней вольно раскинулась, угадываемая сердцем, единственная Русь. Скрытая от глаз, как волшебный град Китеж, она таилась там до поры и ждала добрых вестей, готовая двинуться навстречу с чудными своими дарами. Пока же она только говорила на прекрасном языке древних и вечных своих преданий, протяжных и песенных, как «Слово о погибели земли русской»:

«...О, светло-светлая и украсно-украшенная земля Русская!

И многими красотами удивлена еси, реками и кладязьми месточестными, горами крутыми, полями дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, города великими, селы дивными, дома церковными, и князьями грозными, бояры честными, вельможами многими! Всего еси исполнена земля Русская, о, правоверная вера христианская!»

Дом о. Николая виделся сверху отчётливо, как на ладони. Там гитарным перебором началась и зазвучала обещанная девочке песня. Женский голос душевным речитативом вспоминал-рассказывал про злодейское убийство июльской ночью в далёком 1918 году.

... Положили жизни для России новой,
Страшно распрощавшись с жизнью во Христе
Екатеринбургской русскою Голгофой, —
Семеро вас было на одном кресте.
Слова песни звучали, как просьба о прощении:
...Мученики Царские, вымолите нас!

Припев песни снова и снова повторял незабвенные для русского сердца имена:

Николай, Александра,
Алексей, Мария,
Ольга, Татьяна,
Анастасия,
Николай, Александра,
Алексей, Мария,
Ольга, Татьяна,
Анастасия...

Москва, Ste Genevieve des Bois, 2007 год.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. 5

Часть первая. ПРИБЛИЖЕНИЕ

На реке Богтюге.1863 год	7
Время и место моего рождения	11
Моей сестре Инночке	18
Монастырёвы	21
Последние времена	34
«Они — за Россию, и мы — за Россию»	37
Эвакуация	41
Последний причал	44
Встреча	50
Потылиха	55
Военный лётчик	62
На Воробьёвых горах	70
Моя семья.	73
Продолжение родословной. Ляпичевы	74
Смело мы в бой пойдём...	89
Бабушка	96
Прощание	99
Мы — Сидельниковы	101
Мама	104

Часть вторая. ОБРЕТЕНИЕ

Моё детство	118
Первые воспоминания	124
Замоскворецкое солнце	128
Школа	133
«Дух дышет, где хочет...»	137
Благодать	142
Папа	148
Волховская трагедия	158
Ещё немного детства	166
Жизнь вокруг	168
Дети России	171
«Я остался жив...»	168
Уроки гармонии	188
Семь праздников	197
Сон мамы	203
Плен	205
Всем смертям назло	209
Камилл	216
Прозрение	222
Папины письма	230

Часть третья. ОСМЫСЛЕНИЕ...

Новые времена	245
Старинные фотографии	256
Репатрианты	257
Надо жить долго	261
Это «сладкое» слово свобода	266
«Расшумелась белая береза...»	273
Генерал и его армия	278
Жизнь прожить — не поле перейти	285
Другие времена	293
Дети России	302
Скопье	310
Вера и Всеволод	314
Ещё немного о любви	321
Париж	324
Юра	331
Русский сокол	337
Сюжет для романа	348
Дом на реке Мста	350
ЭПИЛОГ. Колыбельная для Светы	359
ЛИТЕРАТУРА	370

ЛИТЕРАТУРА

1. Полное собрание русских летописей, том XI, СПб., 1897.
2. Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имён, «Русский путь», 2004. (переиздание 1903 года. Подг. текста В. М. Воробьёва.)
3. Краеведческий альманах «Белозерье», 2-й том, Вологда «Легия», 1998.
4. Журнал «Невское время», 24 июня 1997, статья А. Пуговкина «В поисках правды».
5. Иоахим Гофман «Власов против Сталина», пер. с нем. «Астрель» 2005.
6. «В угоду Сталину», изд-во СБОНР, Канада, 1967.
7. Сергей Фрелих «Генерал Власов», пер. с нем. Кёльн, 1991.
8. «Лермонтовы», С-Пб.: «Просвещение», 1998.
9. Н. А. Монастырёв «Гибель царского флота», пер. с немецкого, С-Пб.: «Облик», 1995.
10. «Бизертинский морской сборник», М., «Согласие», 2003.
11. «Генерал А. П. Кутепов», Минск «Харвест», 2004.
12. «Макс Бирштейн, жизнь и картины». М., «Галарт», 2000.
13. Камилл Икрамов «Дело моего отца». Москва «Советский писатель», 1991.
14. Материал о Любанской операции взят из Интернета в середине 90-х. Автор не указан.
15. Образцова И. М., Образцова Н.Ю. «Мусоргский на Псковщине». Ленинград, 1985.
16. Статья П. Боженко «Белые подводные лодки на Чёрном море», «Московский журнал» № 8, 1994.
17. О. А. Кудинов. История России. Учебное пособие. М., изд-во «Ось-89», 2005.
18. В. А. Гиляровский «Москва и москвичи», Минск, изд-во «Высшая школа», 1981. (вступительная статья К. Паустовского).
19. Манштейн Христофор Герман, Записки о России. Лейпциг, изд-во М. Хубера, 1771.

В названии книги использованы строки из стихотворения М. Кузмина. В конце книги — строчки из исполняемой Жанной Бичевской песни «Царственные мученики», слова Г. Пономарёва и Иеромонаха Романа.

Книга послужит к восстановлению храма Святой Великомученицы Екатерины в селе Ровное Боровичского Района Новгородской области.

Ольга Сидельникова-Вербицкая

Ольга Ростиславовна Сидельникова-Вербицкая
(Франция)

Посвящается моему мужу Юрию Вербицкому

«На что душа моя оглянется...»

Судьба семьи в судьбе страны

Вёрстка Е. П. Фокина

Гарнитура Book Antiqua.

Формат 65x94/12. Печ. л. 31.